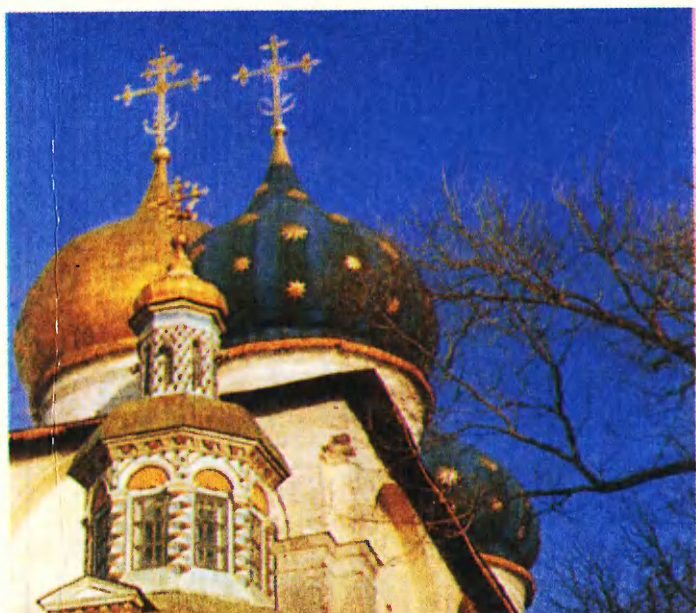




СЛОВА РОССИИ

АО «СЛОВО ТЮМЕНИ»

1993

СЛАВА РОССИИ

СОБРАНИЕ РОМАНОВ

АО «СЛОВО ТЮМЕНИ»

В. ИВАНОВ

РУСЬ ВЕЛИКАЯ

Роман

Книга вторая



ББК 84 Р7
И 20

Иванов В. Д.

И 20 Русь великая: Роман в 2 кн. Книга вторая. —
Тюмень: АО «Слово Тюмени», 1993.—304 с.

Время действия романа — XI век, период активного выхода восточного славянства и его государственного объединения — Киевской Руси на европейскую политическую сцену. В книге представлено множество событий и лиц, исторических и вымышленных, сюжетные повороты позволяют читателю перенестись из княжеского терема в хижину лесоруба, из дворца византийского императора в юрту кочевника и понять глубинную взаимосвязь разрозненных на первый взгляд фактов.

И 4703010600—033 без объявл.

ББК 84 Р7



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ



ЗОЛОЧЕНЫЙ ШЛЕМ

Гребные лодки тянули от причалов шесть кораблей, которые шли с Гитой на Русь. В порту было тесно, что на торгу. Больше недели прошло, как датчане наложили запрет на выход, но прибывать новым кораблям они не могли запретить. Будет война. С кем — вот вопрос. Моряки бились об заклад. Нормандцы пытались бежать ночью. Их вернули. Они злобно грозились: «Наш герцог выместит на ваших, дай срок!»

Тайное открылось: эльсинорскую затворницу с Гарольдовой казной отдали на Русь. Эх, знать бы!.. За эту девку герцог-король отвалил бы золота, сколько она весит сама! Мечтатели!..

Кто-то возразит, что неуместно называть мечтой желание ограбить. Кто-то поправит: есть грабеж и грабеж, об одном грешно и думать, о другом позволительно грезить. Впрочем, больше чем за тысячу лет до проводов Гиты былые римляне сказали, как отрезали: каждому свое.

Велегласно возвеличив насилие, похоть, жадность, старые римляне утвердились на том, что Добро — это польза Риму, а убыток — Зло, и Рим открыто жил со своей истинной, в законе: не таясь ничьих глаз, днем убивал, днем растлял.

Роясь в заросших землей руинах римских пожарищ, наследники, отводя глаза от язв позорных болезней, просвещенных черные кости, отбирали, мыли, терли, исправляли, белили. И останки Людоеда-Чудовища преобразились в богатство: вынь Рим — и рухнет все европейское здание. А те, кто жил пятикратно дольше Рима и, говорят, добродетельно, оставили горку пепла: дунь — и рассыплется, и нищие наследники побираются, воруют — занимают чужого ума. Да разве пойдет впрок чужое!..

Так ли, иначе ли, но и всесильность Судьбы-Фатума, греческая аксиома, пошла в широкий мир, получив утверждение Рима. Римский диктатор Сулла; победитель в гражданских войнах, владыка империи, которую при нем еще называли Республикой, возвел в закон свои прихоти. Ему было позволено все. Но он затыкал рты льстецам. Сулла гений! Молчать! Сулла провидец! Молчать! Отец народа! Молчать!

Отказавшись от истасканных словесных венков, Сулла потребовал другого: прибавлять к его имени второе, всеобъясняющее — Феликс. Не уставая, внушали: успехом Сулла обязан не воле, не уму, не настойчивости. Проще и значительнее: Сулла — любимец Судьбы. Не упуская и малого случая, Сулла стал неповторимым Феликсом. И пожал богатейшие плоды.

Он лично и открыто был виновником десятков тысяч убийств, которыми он последовательно, беспощадно выравнивал бывшую Республику, как пахарь корчует яни и вывозит с поля камни. Этого человека имели право и обязанность ненавидеть сотни тысяч людей, непосредственно раненных им: родственники казненных, их лишённые имущества потомки, друзья пострадавших. Длинная цепь обвивала все римские владенья. Все знали всё. Вырастали дети. Рождались внуки.

Объевшись властью до пресыщения, Сулла встал из-за стола, не скрывая тошноты. Довольно! Он ушел в частную

жизнь, оставив себе привычную роскошь — личную ответственность. Жил вольно, с открытой дверью, без охраны. Беспечно проводил время, чередуя сельские развлечения на собственных виллах с морскими купаньями, с жизнью в городе. Не боялся спать в буйном, жестоком, мстительном Риме не в крепости, а в обычном доме богатого человека. Ни явно, ни тайно на Суллу не поднялась ни одна рука. Ни одного процесса в сенате, в судах. Могущество Судьбы усыпило, обессилело Мечь.

С помощью латинского языка Гита нашла собеседника в Андрее, русском после. Сын, услышав от учителя что-то, не поминавшееся в доме, становится несправедлив к отцу, до того дня всеведущему. Так и Гита согрешила против Иана Гоаннека. Ученый бретонец не обязан был знать все, но и зная, не мог передать семнадцатилетней ученице достаточно много. Но Гита сочла, что наставник напрасно пренебрег Русью. Большая страна на востоке. И только? Впрочем, ученики несправедливы, пока не научатся учить себя сами.

Для начала — несколько русских слов, самых простых. На дороге через Русь Гиту будут встречать. Немного русской грамоты, если можно. С азбуки Гоаннек научил Гиту главному — уметь учиться. Такое, как обычно, она поняла очень поздно: трудней всего научиться справедливости, многим для этого не хватает всей жизни.

Успехи Гиты удивляли нового наставника. Ее ум не уставал, встречаясь с новым.

Немногим старше князя Владимира Мономаха, Андрей был избран для датского сватовства за молодость. Князь Всеволод Ярославич, будущий тесть Гиты, порешил-де не пугать невесту сивобородым посольством. Слова Андрея были шутливы, но глядел он серьезно, как молодые умеют. Сам женат; бог дал сына ему. А князь Владимир запоздал, все-то он в делах да в походах.

Вначале шли на веслах, на второй день взялся западный ветер, корабли шли ходко, полными парусами ловя подарок благоприятной Судьбы. С Судьбы началось для Гиты познание русских.

В речи — душа народа, души различны, как в разных реках разна вода, и нет прямого перевода с одной речи на другую, как только слово поднимется над вещью. Феликс по-русски — счастливый, удачливый. Правильней будет — любимец Судьбы. Два русских слова, но смысл нерусский. Русь не знала всемогущего Фатума, непреоборимой Судьбы других народов. Поэтому перевести не смогла, берет либо

несколько слов, ибо по-настоящему и двух не хватает, либо усыновляет, по необходимости обойдась без перевода. Как же быть, коль Русь без помощников, без чужой милости свои дела совершала сама, не ссылаясь на Фатум и его двойников!

Так ли, иначе ли, но жизнь тирана Суллы, завершившаяся одиннадцать веков тому назад, хорошо послужила Гите с Андреем. Рассуждая о ней, англичанка и русский сошлись как равные. Заслуга Плутарха. Его не раз попрекали: не понимая бега времени, писатель вольно уравнивал героев, разделенных столетиями, в течение которых жизнь будто бы совсем изменилась. Как видно, преувеличивали значение бега веков. Переменялись одежды, зданья, дороги, науки, даже язык, но не сущность человеческого рода.

Гите хватало древней, окостеневшей латыни, чтобы узнавать русские слова для вещей внешнего мира и для других.

— Середина лета — золотые дни севера, — говорила она.

— Да, — соглашался Андрей, — но в том смысле, что золото мы с тобой понимаем как ценное. Но по цвету эти дни скорее серебряные. Оттенки беловатые, а не желтые.

— Солнце западает на севере.

— А ночи и нет, и сумрак прозрачен.

— У нас в Эльсиноре об окончании вечерней стражи оповещали ударами в бронзовый круг.

— Но почему не в колокол? — спрашивал Андрей.

— Колокола принадлежат Церкви. Как же ты не знаешь!

— У нас другая Церковь, — возражал Андрей.

— Да, да, Гоаннек говорил мне, я позабыла. Красиво пела эльсинорская бронза. Потом ворота закрывали, и ночью их могли отворить только по приказу короля.

— И бывали такие приказы? — спрашивал Андрей.

— Нет. Не помню. После звона нужно было сразу гасить свет везде. От пожара.

— И спать? Даже зимой, когда день так короток?

— И зимой. Но у нас были лампы. А у вас они есть?

— Конечно.

— В Эльсиноре моему Гоаннеку разрешали жечь свечи, — вспомнила Гита и вздохнула: — Где он, учитель? Дав срок минуте печали, Андрей напомнил:

— Для чего же горели свечи?

— Мы читали, разговаривали, писали. А как на Руси? Можно зажигать ночью огонь без разрешения королей?

— У нас можно, не спрашивая князя, всем.

— А пожары? — пугалась Гита.

— Разве в Дании не бывает пожаров?

— Бывают, увы! — Гита вздохнула притворно, и оба смеялись и возвращались к загадкам летнего солнца.

— Но где оно сейчас? — спрашивала Гита.

— На севере. Очень близко. Ты ж видишь, как светло, но тени почти нет.

— Говорят, что потерявшие душу теряют и тень, — сказала Гита. — Так сделал бог, чтоб люди узнавали — этот человек очень опасен. У колдунов и ведьм нет тени.

— Ты встречала таких, без тени?

— Нет. У нас в Эльсиноре живет старая Бригитта, ее считают колдуньей. Я подсмотрела — у нее была тень.

— На Руси у каждого есть тень, у всех.

— Даже у сов и летучих мышей? — удивлялась Гита.

— И у них. У нас свои совы и летучие мыши; русские.

— Русские? И говорят они по-русски?

И смех, и опять и опять повторяют, как по-русски сказать одно, как другое. Учиться легко.

Под прозрачным небом, светлым, без звезд и без солнца, морской окоем, днем голубовато-зеленый, делался дымно-синим. Хорошо кормить глаза и тешиться словом, одевая им мир.

— Взгляни туда, — показывал Андрей, — там юг. Эта низкая тень — край ночи. В это время отсюда ночь уходит на юг. Потому что земля — шар.

— Ты тоже знаешь это! — радовалась Гита.

— Знаю, ведь это не тайна.

— А как по-русски «тайна»? И море сейчас на что похоже?

— На оловянный начищенный щит. Или на блюдо.

— Повторим еще раз: т а й н а , щ и т , б л ю д о... Эти слова легкие, — говорила Гита. — Трудное слово — о л о в я н н ы й. Очень трудное — н а ч и щ е н н ы й. Я запомнила. Гоаннек говорил, что младенцы всех племен самое первое слово произносят по-латыни — амо, я люблю. Как по-русски л ю б и т ь? Л ю б о в ь? — И Гита прилежно спрягала и склоняла заветные слова.

Осбер, начальник датских кораблей, беглец-англичанин на датской службе, хмуро спросил Андрея:

— Ты знаешь, посол, песнь о Тристане и прекрасной Изольде?

— Знаю. И понимаю, что ты хочешь сказать, — ответил Андрей. — Твои слова, твои опасенья напрасны.

В английском Нортумберленде слилась кровь саксов, англов, скандинавов. В Осбере пересилила Скандинавия. Широкий, глубокий от груди к спине, длиннорук, светловолос, голубоглаз — истинный викинг.

Осбер положил руку на костлявую рукоять тяжелого ножа, подвешенного к поясу.

— Не грози. Это непристойно тебе. И успокойся, — тихо приказал посол.

— Я не грожу, — возразил Осбер, — привычка. Я служил ее отцу, — объяснил он, и в его голосе была угроза.

— Продолжай служить дочери, — предложил русский. — Ты будешь беречь ее до конца дороги и на брачном пиру споешь нам английскую песнь. И останешься, если захочешь. Такому, как ты, найдется достойное место в дружине князя Мономаха.

— Я думал. Обдумал, — ответил Осбер, остывая. — Киев далеко. Датчане хитры. Внуки Гарольда станут русскими, что им будет до Англии! Я вернусь в Данию.

— Зачем?

— Я не один. Мы ждали. Гита могла стать женой другого владельца. Ближе к Англии. Датчанин говорил с Русью втайне. Я не виню его. В этом мире каждый за себя. Теперь мы, изгнанники, попробуем сами.

— Что?

— Хотя бы умереть, отомстив. По старому обычаю досыта напиться кровью Нормандца. Знаешь, лежа на враге, запустить ему зубы в горло, и пусть тебя рубят на части.

— Но к чему тебе это? Перед тобой двадцать—тридцать лет полной силы. Хотя... Ты думаешь, вам удастся изгнать Гийома?

— Нет. Тебе не понять. Сколько ни глотай латыни. Когда победитель сядет в твоём доме, возьмет твою жену, когда ты станешь рабом в месте, где родился хозяином, тогда мы с тобой сравняемся в мудрости, русский. Довольно об этом.

— Хорошо, — согласился Андрей. — Но почему ты так беспокоен сейчас? Чего ты ищешь на море, на небе? Время благоприятствует. Мы сильны. Никто не посмеет напасть.

— Ты опять не понимаешь. Коль тебе повезет, узнаешь. Чем больше тебе улыбаются, тем опасней. Я не верю ни морю, ни небу, ни людям, ни богу.

— Да, ты несчастен.

— Ха! Ты, счастливый! Я не поменяюсь с тобой. Твое счастье болталось бы в моей душе, как сухая горошина в бочке.

Но и девятый день тек под днищами кораблей так же благостно, как предыдущие восемь.

Встречные корабли, едва поднявшись над окомоем моря, бросались в сторону, спеша спрятаться от датского флота, ибо часто сильнейший обирал сильного: море общее, и мира на нем нет.

Однажды две низкие быстроходные галеры рьяно выскочили из-за лесистого острова и столь же стремительно бросились обратно. Засада. Пираты ждут одиноких кораблей, или отставших, или слишком далеко опередивших своих, так как редко кто плавает в одиночку. Морские разбойники не разглядели задних кораблей датчан.

К полудню ветер упал совсем, и гладкое дневное море можно было сравнить с оловянным щитом, каким оно казалось белой северной ночью. Впереди нечто туманное, как облака с четкими очертаниями, ограничило море. Такова издали суша.

— Видишь ли там черточки, пятна? — спрашивал Андрей Гиту, указывая на море. — Это спины отмелей, островки, которые нарастают со дна. Здесь мелко. Гляди, как мутна вода. От весел ил поднимается со дна. Входим в устье Нёво. Вот и Русь началась — наша, твоя.

Медленно, незаметно земля охватывала море. Постепенно море превращалось в реку. Темный хвойный лес справа, такие же стены слева, длинные отмели, поросшие камышами. Вода сужалась. Становилось ненужным искусство морских проводников, так как река Нёво, которой шли, глубже края Варяжского моря.

Налево от мели лежала земля Корелия, которую шведы уступили князю Ярославу в приданое за королевной Ингигердой.

Там лес, камни, зверь, вода: повсюду озера. У корелов есть свое преданье о сотворении земли. В него верят и те, кто крещен.

В начале начал вся земля была из воды. Вода шумела под ветром день и ночь, волны вздымались так высоко, что брызги попадали на небо. Богу надоело творенье. «Остановитесь!» — приказал он. Волны окаменели как были. Мелкие брызги и пена, рассыпавшись, упали и сделались почвой, покрыв камни, где им удалось; дожди налили озера между гребнями окаменевших валов. Так пошла быть корельская страна.

Берега Нёво были пустынные. Леса будто не тронуты топором, поляны не чищены под пашню от кустарника — такими их видел взгляд человека. Дым, свидетель огня,

верного человеческого спутника, терялся в сосновых и еловых вершинах. Нужно взглядеться, чтоб в кустах случайно заметить крупного зверя, и нужно внимание, чтобы, утишив охотничий порыв, узнать стадо домашних животных там, где будто бы пасутся олени. Эти просторы в первозданной простоте ждали, как разными образами у разных народов и о других просторах говорили поэты, явления человека. Велик человек в своей уверенности, что для него созданы земля, и небо, и солнце, и звезды. Мое! Наше! Какой бог, покровитель каких племен первым сказал: населяйте землю и обладайте ею? Праздный поиск, мелочное, недостойное соревнование в утверждении первенства. Земля легла подобно безмерно широкой одежде, безразличная, бесстрастная, великолепная не в себе, а для кого-то. Кому отдать? Кто овладеет! Ей всё равно, ей все равны, она подчиняется силе. Но, немая, безразличная, оживляемая только живым воображением человека, земля чутка к насилию; испытав его, она мстит бесплодием; обернувшись пустыней, осуждает на изгнание, не считаясь ни с лицами, ни с оправданиями, ни с благими пожеланиями, ибо судит по делу. Приговор ее слеп, вместе с виновными гонит невинных за попустительство, не смягчаясь их слабостью. Суд земли беспощаден, а обжаловать некому да и негде.

Земля мстит за насилие? Ответ земли насилию похож на ответ живого существа на насилие же? Конечно! Может быть, от многих таких же явных подобию родилось уподобление, очеловечение земли, воды, лесов. Без уподоблений не могут жить познание и знание. Мысль и речь очеловечивают все. И, как подлинный творец, не замечают творимого.

Из устья речушки вышла длинная лодка. Несколько гребцов сильно гнали посудину к передовому кораблю. Метко описав полукруг, лодка пошла рядом, поспевая за кораблем против течения.

Бородатый кормовой поздоровался:

— С удачей путь вам! Бог вам поможет! — и, не ожидая ответа, предложил: — Рыбу покупать будете?

Бородач носил рубаху отбеленного льна, подпоясанную красным кушаком, голова открыта, волосы длинные, почти до плеч, перевязаны по лбу тонким лычком, чтоб не падали. Пятеро на веслах были одеты так же, только одна голова была повязана платком.

— Какая рыба? — спросили с корабля.

— Вся тут! — ответил кормовой, сильным, легким голосом. — Сиг есть свежий и копченый, лох есть, земля-

ничный по-нашему, налим, угорь мерный в аршин, мирон. Матерую щуку пуда на два с половиной взяли на жерлицы. Эй, говорите быстро, бояре! Нам недосуг.

Рыбакам сбросили веревку, лодка подтянулась. Рыба, прикрытая свежей травой, заполняла лодку, гребцы сидели по колесу в ней.

— Вся нынешняя, утрснего да ночного улова, — приговаривал кормовой, покрикивая на своих: — Ладней, ладней прибирайтесь!

Копченных сивов передали в ивовой корзине с крышкой, свежую перебрасывали через борт с особой ухваткой, не высоко, чтоб не каталась, не билась о палубу, и не низко, чтоб не упустить в воду. Щука еще не совсем уснула и шевельнулась, когда за нее взялись.

— Стой! — приказал бородатый и зацепил саженную рыбину веревочной петлей ниже жабер. — Тяни! — Щука изогнулась в дугу, но поздно. — Это еще не щука, — сказал кормовой, — на Онеге-озере ловится щука больше чстырех пудов. С такой рыбак помается, коль нет припаса.

— Какого припаса? — спросил Андрей.

— Остроги покрепче на длинном древке, да глаз верный, да помощь. В одиночку дружок мой маялся не двое ль суток. И вышло пустое — крюк, видишь, мягкий.

Рассчитались. Вопреки спешке, рыбаки не спешили отдать чалку.

— Ты меня не узнаешь? — спросил бородатый Андрея.

— Нет.

— У меня же рыбу брали, когда в Данию шел. Скоро вернулся. Ужель неудача?

— Везу, — был краткий ответ, от которого бородатый рыбак подскочил.

— Эй, боярин! — воскликнул он. — Попроси-ка княгиню подойти, пусть посмотрят сыны да сноха.

Андрей подвел Гиту. Девушка сумела внятно сказать:

— Здравствуйте, люди!

— Здравствуй, здравствуй на многие лета, согласия тебе с мужем да детей добрых, — отвечал старший, отвечали его сыновья, нарушившие для такого случая молчанье; молодая женщина, которая до сих пор скромно отворачивалась, перестала стесняться.

Гита, сняв с пальца золотое колечко с зеленым камнем, потянулась к ней, что-то говоря. Андрей персвел ее слова:

— Ты первая русская женщина, которую я вижу. Дай руку и носи кольцо на память о жене князя Владимира Всеволодича.

Польщенный тесть похвалялся:

— Я ведь богат, у меня пять сынов да три дочери было, ныне стало четыре. Женил я старшего по весне, погодки все у меня, каждую весну буду женить, и скоро внуков у меня хватит на деревню целую. И сам я богатырь, и сыновья не хуже, и сноха была б с нами в ряд. Теперь поднимай, Дарья, выше! Пойдет тебе кличка — Княгиня. Отдарись, не забудь!

Не сводя глаз с Гиты, женщина освободила завязку и протянула Гите низку светлого скатного жемчуга:

— Носи и ты на счастье!

— Носи, не брезгуй, — добавил тесть, — жемчуг наш, русский, речной, здешний.

— Что это за люди? — расспрашивала Гита Андрея. — Чьи они?

— Свои. Земля не меряная, лес не считан. Садятся, где захотят, там и живут. Эти — вольница вольная. Но не беглые какие. Их знают в Ладоге, знают в Новгороде. Без городов не прожить. Придя в город, такие платят дань, сколько положено, иначе город может их выгнать с земли. Им же в городе дадут и суд, и защиту. На такой-то ниточке и держатся. Прочнее железной цепи. Земли же бери сколько хочешь, делай что можешь: паши, лови зверя, рыбу. Земли у нас больше, чем людей. Начать-то только не каждому легко, не каждому удастся. С голыми руками не сядешь ни в лесу, ни на поляне. Под пашню нужно лес вырубить, выжечь огнище. Охотником, рыболовом тоже не будешь на пустом месте. Взаимы берешь — выплати долг с лихвой. Пашешь землю, которую до тебя выжгли, хозяйским плугом, на хозяйской лошади — отдай второй сноп. Получил семена — твой будет только четвертый сноп. Иначе нельзя, но ленивому да слабому придется несладко. Так у нас повелось...

Нево, озеро-море, берегов не видать, холодное, прозрачное, приняв гостей спокойно, решило позабавиться, пригласив северный ветер. Вскоре в левую скулу принялась бить частая и высокая волна, засыпая палубу мелким дождем брызг. То кулаком, то ладонью, то будто плечом, как в пьяной драке, без размера и счета, не то что морская волна. И без ветра на Нево опасаются течения, которое хо-

дит с севера к южному берегу и вдоль него на восток, обманывая кормчих. Опасны туманы, немые слепцы, от них бог миловал и датчан, и русских. Паруса сбили — ветер был боковой, — и довелось почти всем сесть на весла. Из-за невской волны веслом, для которого хватало одного гребца, пришлось бить двоим, а по левому борту поставили третьего помощника. Ладожский южный берег зол мелями. Шли, держась глубины, пока не увидели настежь открытого устья Мутной реки. Повернув за поводом — русским кораблем, датчане, не теряя строя, один за другим, уходили в затишные воды, переваливая, как через порог, кипучую желтой пеной гряды устья — здесь Мутная боролась с волной, нагоняемой с Невы. Два водяных — Невской и Мутной — в этом месте ломают друг дружку третьему на забаву — северному ветру. Северный зол от творения, смех у него дурной, потехи жестокие.

Водяных хозяев не коснулось крещение. Остались, как были: человеку — свое, водяному — свое.

Христова вера здесь не помеха многим старым поверьям. Мясо медвежье не ешь: медведи повелись от людей, на которых старые боги некогда за тяжкие вины надели звериную шкуру. Лебедя не смей тронуть. Лебеди не зря на женщин похожи, их бог возлюбил превыше всех тварей. Лебединый плач к небу доходчивей людских молитв, и злой охотник не увернется от кары.

Ушли в реку, и ветер не то упал, не то, остановленный лесистыми холмами, рассыпался, будто развязанный сноп, и струи его, наполнив паруса, помогали гребцам гнать корабли против течения. Вскоре минули Ладогу, крепкий город на левом берегу.

Душа Гиты, увлеченная путешествием, была обманута озером Невы — оно казалось морем, таким же, как Варяжское, и уверенья русского посла в близости земли, названной им коренной Русью, невольно мнились пустым утешением. Будто бы посол старался отвлечь ее от страха перед бурей; но она не боялась. Ей все вспоминался Гоаннек, слуги, майордом замка Улвин, старый воин, которого все боялись, хотя никто не мог обвинить его в жестокости, превосходящей обычную строгость. Улвин являлся ко времени обеда. Никогда не садясь в присутствии королевны, как он называл Гиту, Улвин принимал из рук столытника блюда, сам резал мясо, заставлял етольника есть, ел сам и потом предлагал Гите. Гоаннек говорил, что Улвин, в молодости нанявшись в войско императора Востока, привез из Константинополя золото, без-

надежную любовь к императрице и страх перед отравителями.

Он строг, верен долгу, странен и безопасен — для друзей, объяснял Гоаннек. Он просто несчастен. Впрочем, его подозрительность не причиняет вреда.

В Эльсиноре жила старая Бригитта — колдунья. Она стоила сотни полностью вооруженных солдат, так как вся Дания верила во власть Бригитты. Среди других тайн она знала заклинания, которые лишают силы руки мужчины. Лучше смерть, чем такое. Еще девчонкой Гита спросила старуху, правду ли о ней говорят. «Конечно, — был ответ, — но над тобой у меня нет власти, ты не мужчина. А если ты заболеешь, я помогу тебе добрыми, божьими травами». Пришла черная болезнь. Бригитта лечила пораженных ею. Немногие умерли, у многих на лицах остались глубокие оспины, это обычно, такие встречаются на каждом шагу. У Гиты болезнь оставила две крохотные ямочки — на щеке и у правого уха. Лица других переболевших женщин тоже остались чистыми. Бригитта говорила: «У меня женские травы, мужчина годится и рябым, пусть благодарит бога, что жив». Кто-то в лицо назвал ее колдуньей. Она спросила дерзко: «Ты хочешь?..» Сам Улвин просил Бригитту простить дурака, у которого сразу онемели пальцы.

Невидимое пугало Гиту. Эльсинор, крепость-тюрьма, был ей домом, и путь мнился бесконечным, и не умелось думать о будущем.

Закрылось устье Мутной, за речкой Ладушкой встали черно-серые бревенчатые стены с башнями на земляном валу. Из-за них вылезали купола, крыши и высокая колокольня. Что это, княжеский замок? Нет, монастырь, посвященный святому Георгию — Юрию, чьим именем был крещен князь Ярослав, которого Гита звала бы дедом, доживи он до брака своего внука Владимира. Ее отец Гарольд был немногим старше русского князя, ждавшего ее в конце пути. Гита забыла лицо отца, она мало видела его и была совсем маленькой.

Мысль бежала вперед, в пустоту, которую еще нечем было населить. Сзади осталась жизнь, начало которой никто не умеет заметить, которую нельзя повторить, которую никто еще не сумел оценить и понять. Ибо это никому не нужно, кроме тех, кто живет продажей занимательных рассказов. Но и такой продает не действительное, а воображенное им о себе: то, чего не было. От сегодняшнего не уйдешь, зато прошлое беззащитно, покорно, как труп в ру-

ках обмывающего. Прошлого, как утверждают, нет. Но в какую же емкость помещают любую правду, любую ложь, утверждая, что так было? Содержимое не может обойтись без содержащего.

Будущее явилось для Гиты неожиданно среди высоких берегов реки Мутной безликим, бесплотным и поэтому страшным. Гита спряталась в своем убежище — шатре или домике, прочно вделанном в палубу, обтянутом снаружи кожей, изнутри обитом красной тканью. Здесь едва можно было стоять. Зато постель была одинаково удобна для сна и для слез.

Висби, молоденькая служанка Гиты, крепилась, ее хватило ненадолго: все страшное сделалось еще страшней от горя госпожи. Третья женщина, сорокалетняя вдова по имени Маб, почти старуха в понятиях времени для женщин ее положенья, молча сидела на низком ложе, служившем постелью ей и служанке. Маб и служанка Висби были родственницами матери Гиты, очень дальними и с левой руки. В старых саксонских семьях все вместе садились за общую трапезу. Несколько десятков человек: хозяева — у конца, называвшегося верхним; чем дальше от них, тем скромнее места, и в самом конце те, кого на Руси звали закупам, холопам, а в Англии — рабами. Иногда у красивой работницы появлялся ребенок, не было зазорным для хозяина признать его своим. Таких называли детьми с левой руки. Правами рожденных в освященном браке они не пользовались, но происхождение их не считалось позорным.

Оплакивая неизвестное, Гита не заметила речных порогов, через которые с осторожным искусством русские провели корабли. Забившись в светелку, она знать ничего не хотела, пока не пришлось выйти, чтобы увидеть громаду города, рассыпанного на обоих берегах реки, венчанного крестами церквей, только угадывающихся из-за домов, высокий мост через реку, полный людей, чтобы услышать голоса, звон колоколов. С пристани на корабли были перекинуты широкие сходы, покрытые коврами. Духовенство в золотом облачении, воины в блестящих доспехах. Высокий человек — князь Глеб Святославич, в роскошной одежде, обратился к Гите с приветствием на латыни. Под торжественное пенье на чужом языке Гиту повели в город, прямо в церковь, храм Святой Софии, где она впервые слушала богослуженье на чужом языке, по чужому обряду, и все это теперь должно быть ее навсегда, и все, что осталось, должно стать чужим.

Русский епископ в русском соборе обратился к Гите с кратким словом, и она не сразу поняла, что он говорит полатыни: ей, наверное, хотелось чуда, чтоб не быть такой одинокой и понять сразу русскую речь, а епископ, назвав девушку чистой голубицей, напомнил о своем древнем римском собрате, который некогда изрек про ее соплеменников: «Не англы, а ангелы», обещал ей любовь божью и людскую, и на паперти к Гите обратились с приветствиями один, другой, третий, — она уже не помнила сколько. Важные люди с золотыми цепями на бархатных шитых кафтанах, похожие на вифлесских королей, хотя они были только альдермены — старейшины колоний иностранных купцов, и русские теснились на улицах, мощенных деревом, чистых, как пол, и никогда она не слышала столько смеха, не видела столько улыбающихся лиц, но никто не толкнул ее в тесноте, и она растерялась так, что не знала, смеяться или плакать, и ей было стыдно — неужели все из-за нее? — и шла, и шла, не чувствуя усталости, будто идет не сама, но несомая волнами их веселья, их радости, этих неисчислимых людских скопищ, не чувствуя руки князя Глеба, который бережно вел ее, и откуда-то сыпались цветы, почему так много детей, почему так радостно звонят колокола, и всего собралось слишком много, и не было сил, чтоб выдержать, и она не заметила, когда стало тихо, и почему-то плакала на груди чужой женщины, как на материнской груди, плакала не как на корабле, а просто слишком переполнилось сердце, и слышала, как ее называли беленьким цветочком чудным, росиночкой, ресничкой милой, а уж запылилась-то, и пахло полевой мятой, чабрецом, и пол был устлан белым полотном, как волнами, и Маб с Висби разували и раздевали Гиту, опять ее вели, но тут же открыли дверь, было влажно, душистый пар радостно охватывал тело, плеча, лилась вода, нежно и сладко шелестели вялые листья на тонких ветках, и был сон, проснулась она скоро, еще влажные волосы заплели в две косы и повели через двор с деревянным полом в высокую палату, где Гиту встретили громкими криками, там за длинными столами князь Глеб Святославич и Господин Великий Новгород чествовали датчан и своих русских, которые привезли из-за моря добычу краше самоцветов — жену князю Владимиру, Ярославову внуку, с родом которого новгородские люди истари были в дружбе и будут навеки, пусть молодая княгиня про то знает!

Осбер один раз глянул на Гиту и, горько покивав головой, закрыл глаза. Таким он и остался — в прошлом, ко-

торого нет, которое остается с тобой, которое увядает, рассыпаясь невидимой пылью, и без которого нет ничего.

Жена князя Глеба, двоюродного брата Гитиною суженого, покоила сестру свою три дня, проведенные не в праздности: русскую речь твердили, здесь Гита проходила науку женских слов, узнав, что — беленький цветочек, а что — аленький, почему по-русски можно любовно назвать и росиночкой, сравнив с каплей, повисшей утром на луговой травинке, почему для ласковости годится и ресничка, и ягодка, будто бы совсем непригодные, даже смешные, нелепые в жестком строе ученой латыни. Побольше бы времени! Княгиня учила сестру и русским словам, и женскому делу... Саксонская королевна, возвращенная в изгнании, в чужих домах, осталась по-детски невеждой в хозяйстве. Кому ж заниматься княжеским домом? Наемные обманут, холопы изленятся, без своего глаза люди изворуются. На ком грех? У князя большое хозяйство, под землей — погреба, над землей — кладовые, всюду запасы; у князя дружина, друзья, приезжие; всех напои, накорми, обмой, обшей, спать уложи. Не самому же князю счет вести, ключников-кладарей учесть, поварам-поварихам приказать, за ткачихами приглядеть, для того есть княгиня — мужу помощница, домашний ум да забота. Да ведь и наказать придется, не мужу каждый раз жаловаться, не любы мужьям жалобы, он ласки ждет для души, жена ему сердце на челядь распаливает, но сама ж виновата, недоглядела, распустила людей, большие что малые, родного сына набалуешь, он с тобой хуже печенег-половца поступит, и не жалуйся, поздно. Жена учена, дом неметеный, радости мало.

По дому, по кухням, погребам, кладовым, амбарам, подклетьям день-деньской водила княгиня дорогую сестрицу свою, при ней хозяйство свое правила, возила за город на отведенные князю рыбные ловли, на княжое пастбище, где город указал пасти табуны и стадо, — не приглядишь, от сотни коров молока не напьешься — и к свинопасам. С ласковыми женскими словами Гита училась многим другим — только бы память да память... Одна ль память? Смелость нужна и желанье. И месяц бы Гита охотно прожила у доброй княгини на пользу себе. Но кончился срок.

На четвертый день Господин Великий Новгород шумно, с вольной и буйной ласковостью проводил невесту старшего Всеволодича. Понравилась она новгородцам: беленькая, глаза серые, росту не велика, но статная, не гордая. Так перечисляли достоинства Гиты. Чудно и смешно — за что тут любить, и что за достоинства? Мало ль таких девушек,

найдутся получше. Другое было причиной внезапной новгородской любви.

В подробностях было известно Новгороду падение Англии. Завоеватели поделили людей, как скот, и уселись, собираясь навечно остаться. Норманны захватили было Новгород тому назад побольше двухсот лет. Событие это сохранилось в новгородской памяти больше как славное, чем несчастное. Норманны не успели уселиться, не успели укрепостить новгородцев, как были избиты, из них мало кто ушел.

Год за годом через Новгород проходили кучки английских изгнанников, направлявшихся к грскам, чтобы продать базилевсу свое единственное достояние — воинское уменье. Новгород знал судьбу Англии не только по рассказам своих купцов, ездивших в западные страны, — он слушал очевидцев, участников. Посол князя Всеволода Ярославича уплыл в Данию с целью, из которой не делали тайны. Новгородцы ждали сироту храброго короля Гарольда Несчастливца.

Из Новгорода Гиту отправили на двух лодьях, ибо нападений быть не могло, и лодьи были речные, мелководные. На одной устроили для Гиты и служанок удобный шатер, побольше, чем был на корабле, — бурь не будет, а через Ильмень-озеро пошли в добрую погоду: будь волна, переждали бы. Бури на Ильмене хуже морских: озеро мелкое, волна крутая и злая.

Князь Глеб Святославич проводил гостью до верховья Ловати — на первый волок — и отбыл, оставив королевну на попечение Андрея-посла — дивиться волокам, как легко ходят русские из реки в реку, дивиться берегам, оживленным русским многолюдьем, городам, монастырям и прочему, за что скандинавы давным-давно прозвали Русь Гардарикой — Страной богатых городов.

Останавливались раз в два дня, в три дня, чтобы отдохнуть, поразмяться на берегу. Гита осваивалась с русской речью, радуясь, что уже иной раз понимает сказанное при ней: ей очень хотелось заговорить с мужем живым языком, его языком, пусть, по словам Андрея, князь владеет латынью, как русским.

И Днепр все ширел и ширел, учащались острова, княжьи лодьи с сильными гребцами перегоняли десятки других лодей, еще больше встречали. «Всех обогнать-то нельзя», — объяснял Андрей. И с каждым днем ночь становилась темнее и темнее — шли к югу. «Это там, в Обненье, летом белые ночи, а у нас, в Переяславле, летом

ночь темно-синяя, почти черная, звезды яркие, сказал бы — золотые, но верного слова для звезд не найду... Сама, полюбив предстепную Русь, и небо над нею полюбишь, нет нигде краше наших ночей. А может быть, есть. Всяк кулик свое болото хвалит».

Ссвер еще озарял полнсеба, еще четверть, уж кончалась ночная власть летнего солнца. Днепр принял справа полноводную Березину, слева принял не меньший Сож. После города Любеча Андрей указал на восток — там Чернигов! Участились острова. Минули устье Припяти. С мыса, разделявшего Десну с Днестром, стал виден Киев.

Чуть задержавшись — час был ранний, солнце недавно поднялось, — поплыли дальше. И по берегу, и на пристанях было черным-черно, красным-красно от людей: от Любеча Андрей послал нанятую быстроходную лодью к князю Святославу Ярославичу с письмом и предупредить, когда будет и в какой час.

Подшли к княжой пристани, оттуда дали сходни. Высокий старик с длинными усами, казавшийся Гите великаном, в шитом золотом плаще, белой рубахе, красных сафьяновых сапогах, шел ей навстречу по пристани. Двое молодцов его поддерживали под руки.

Он обнял Гиту, коля жестким подбородком, поцеловал трижды и, положив руки на плечи девушке, отстранил ее, молча всматриваясь. Она же, здороваясь, назвала его порусски и отцом, и дядей.

— Добро тебе пожаловать на Русь, — медленно глубоким голосом ответил Святослав. — Умница, — похвалил он; — уж и по-нашему ты разумеешь начинаешь. Сын мне с женой о тебе писали, уж неделю, как письмо получил я. Понравилась ты моим новгородцам. Доброго ты роду, мы наслышаны о Годвине, деде твоём, о прадедах твоих. Твой отец — верю, в царствии небесном он — был взыскан несчастьем. Зато бог послал ему славную смерть. А мне, старику, все недужится. Старость, — пожаловался с досадой, оперся устало на кого-то, кто оказался под рукой, и продолжал: — О чем было-то? Да... Рад тебя повидать. Владимир, суженый твой, добрый уже воин и чист, как белый конь без порока. Иди, не буду тебя держать здесь, бог даст, увидимся.

Святослав надел на палец Гиты тяжелый перстень с сияющим камнем, молвил: «К свадьбе подарок пришлю» — и отступил, давая место митрополиту, который торжественно благословил Гиту.

Старенький, босоногий монах, просунувшись из-за митрополичьей спины, тихонько наговорил:

— Дай тебе бог счастья, касаточка, во всем добром, — и сунул Гите сверточек с чем-то мягким, приговорив: — Тебе. Пригодится, не бойсь...

Князь Святослав махнул рукой. Лодьи отчалили, произведя на берегу вящий шум, сумятицу. Десятки больших и малых лодей, стаи лодочек, челноков пустились вдогонку Гите. Киевляне, в голос кляня своего старого князя за поспешность — с ума спятил, право ж, — сами так спешили поглядеть на невесту Владимир Всеволодича, аглицкую королеву, что иные для общей потехи перевернулись у самого берега.

— Что ж тебе инок подарил? — спросил Андрей.

В сверточке оказались две пары копытец — чулок белого козьего пуха: одна — женская, другая — маленькая, детская.

— Ты береги их, княгиня, — сказал Андрей, — это ж был Антоний, святой человек. Он сам чулки, колпаки вяжет, сам продает их для своего прокормленья, а если дарит, только бедным. Тебе ж вот подарил первой из тех, кто сам купить может... — И рассказал об Антонии.

Отстали провожатые. Киев закрылся горами и лесом, острова заслонили киевские пристани. К вечеру — конец пути. Вместе с неисчислимым множеством воды плыли людские малые страхи с тревогами. Не то, так другое: как управляться с хозяйством придется, хватит ли ума, как у новгородской княгини? И еще — чулочки детские.

Благословенье русского праведника. Выдумал же кто-то безмятежный покой! Да от него убежишь на край света! Счастья каждому хочется, а какое оно? Словами его тысячи лет объясняют, трудятся. Стало быть, не объяснили еще.

От киевских пристаней до переяславльских считают немногим более ста двадцати верст. Страшно Гите. Друг-посол Андрей отвлекал, к счастью, своими рассказами; и девушка запоминала. До Переяславля от перевоза под Киевом по сухому пути будет верст восемьдесят — рукой подать. Кто едет на своем коне, может, утром выбравшись из Киева, в Переяславль попасть летом до ночи.

Есть и княжая гонцовская служба с подставами, где меняют лошадей. Гонец поспевает из Киева в Переяславль меньше, чем за четыре часа. Дорога идет через Альтское поле, где Святополк Окаянный убил брата своего Бориса. Споткнувшись, Андрей заговорил о другом.

Гита узнала: на Днепре маленькие островки, лысые затылки намытых рекой отмелей, зовутся выспами за то, что они только еще выспевают, но выспеют ли, неизвестно. Поднимется вода от ливней, или зальет полый водой, схлынет — а выпса и нет. Не удался. Если выпс продержится год, другой, третий, увеличится, станет чуть выше, по нему примутся лопухи да мать-мачеха, проклюнется ивнячок. Это помощники. Ветер уж не сносит песок, а наносит между стеблями, выпс укрепляется, и зовут его отоком: река его отекает. Оток, длиннее и ширясь, покрывается лесом, меняя название на остров, и получает особое имя: Длинный, Крутой — как придется от случая. Но почему остров зовется островом, не знал или не умел придумать сам мудрый учитель. Смеялись. Так Андрей напоследок и учил, и развлекал королевну-княгиню. «Там что?» — «Лошади». — «А еще как?» — «Табун». — «А там?» — «Коровы». — «А как вместе назвать всех?» — «Забыла. Просто: стадо!» — «Какой берег видишь?» — «Крутой». — «А этот?» — «Пологий». И — улыбка: помню, мол. Трудно выговаривалось название реки, в устье которой входили: Трубеж. И более — не до ученья. Переяславльская пристань называется кораблице.

Приставали на Альте-реке. Переяславль, древний и славный, стоял на мысу при впадении Альты в Трубеж, и Степь переяславльские крыши видать видывала, но трогала только глазом, достать же рукой, чтоб потешиться кочевой пляскою пламени в горьком дыму русского дерева, не удалось ей ни разу.

Не торопились. Как встретили летним вечером, теплым и ясным, без суматохи, без криков, без любопытства толпы, так и вели в Переяславле заморскую гостью. Не вели, не наставляли, не учили — вводили.

Отец-епископ беседовал с Гитой о православии. Преподобный нашел, по словам его, воистину добрую почву, не засоренную терниями: Гита ничего не знала о спорах между Восточной и Западной церквами, и посвяtitель мог обойтись без опровержений одного и утверждений другого. Исповедание веры, именуемое символом, она выучила на русском языке с той же охотой, с какой стремилась овладеть русской речью. Последовали несколько молитв на том же языке, и переяславльский епископ с чистым перед богом сердцем совершил над Гитой обряд крещения в старейшем из каменных переяславльских храмов — соборе Воздвиженья креста в присутствии будущей семьи присоеди-

няемой к православию и небольшого числа бояр и боярских жен.

Переяславль — не Киев, не Новгород. Жители его так же, как и везде на Руси, собирались на вече, где избирали тысяцкого, где решали общие дела, но были переяславльцы не столь шумны и куда уж не так беспокойны. И меньше их было, и дружнее были они, и больше нуждались в князьях с их дружинами. Требовали от князей большего и позволяли больше с себя взять — не дансй, а крови свосй, по зову вливаясь в дружину. Переяславль обведал ветер Степи, не чувствуя которого нельзя было понять его жителей.

На княжом дворе верховенствовала мать Владимира, княгиня Анна. Она для Гиты приехала в Переяславль из Чернигова: женить сына, соблюдая, чтобы все было по правилам.

Строили, достраивали, наращивали, крепили город. Из каменоломен тащили камень водой, разгружали на берегу, везли подводами и растили каменную стену, звено за звеном заменяя деревянную. Кирпич спускали по Альте. Пригодная глина лежала в земле верстах в семи выше Переяславля, там же ее месили, делали сырец и обжигали.

Старый город, жилое место с незапамятных лет, занял мыс при впадении Альты в Трубеж. Высокое место привыкли называть Горой. Заселенное за его стеной место звали Предгорьем. Оно было закрыто валом и рвом, которые легли перемычкой между Трубежом и Альтой. Предгорье было в несколько раз обширнее, чем Гора, его-то и укрепляли камнем. В проездах через стены устраивали верха поновому. Подведя широкие кружала из выгнутых полукругом досок, по ним сверху укладывали камни, подтесанные с боков на тупые клинья. Сводя кладку, выбивали опоры из-под кружал, кружала опускались, полукруг повисал, как выточенный из одного камня. Это называлось возвести банное строение или построить свод. Средний клин в высоте свода зовется ключом — он запирает свод. До этого времени верха над воротами, над окнами, крыши в переяславльских церквах перекрывали деревянными брусьями. Банное строение было, как чувствовал глаз, прочнее деревянной перемычки.

— Верьте глазу, княгини милые, верьте, — объяснял старший из умельцев каменного дела. — В глазу есть особое чувство, глаз — он алмаз, видит, постигает, первый

советчик уму он. Строение банное — самое сильное. Почему? Дави на него — камни с места не сходят, уйти им некуда, клин не пускает. Свод разрушится, если его так сожмут, что камни рассыплются пылью. Если сложить свод сырцовым кирпичом, он много не выдержит — в сырой глине слабая связь, будет крошиться. В жженом кирпиче глина спеклась, а про дикий камень и говорить нечего. Я как-то задумал испытать. Перекинули мы свод в каменоломне между стенками, как вырубка шла, подровняв лишь плиту под пяты. Потом стали сверху, на баню-то, камни класть. На три сажени подняли, на четыре, на пять: мы между собою поспорили, сколько выдержит. И еще клали да клали. Два дня старались, сколько раз доходило почти что до драки. Так и не удалось разрушить творенье собственных рук. Кончим с воротами, будем строить кружала для храма. Балки там одряхлели. Перекроем банным строением, и будет навечно. Но там будем делать крутой свод. В своде ведь так — сила идет на распор, пологое строение может вывалить стену наружу.

После бегства князя Изяслав Ярославича киевский князь Святослав Ярославич дал Черниговское княжение Всеволоду, а переяславльский стол достался Владимиру Мономаху. Княгиня Анна хоть самовластно распоряжалась в Переяславле на княжом дворе, но была она гостьей. Надолго ли? Как придется. Женить сына не диво — чтобы жил он с женой хорошо, таковы думы каждой матери, и княжество здесь ни при чем. Невестка ученая. И умна ты, и красавица, так сказала Гите Анна-княгиня. Хорошее хорошо и выговаривается. Дика Гита, к людям не привыкла, в себе веры нет у нее, такое княгиня про себя сохранила: в таком помогают не словом.

— Умно, дочь, что ты ниточку русского жемчуга не снимаешь с шеи. Ценю. Продолжай. — Как продолжать, не сказала.

Вторую для Гиты русскую женщину — жену князя Глеба Святославича мать-княгиня похвалила:

— Евдокия добрая мать, жена верная, хозяйка рачительная. — И только. Вскоре почему-то напомнила: — Рыбачка-то! Вместе с мужем на веслах.

Старая княгиня учила Гиту хозяйству:

— Без твоего глаза тебе первой худо будет, придется тебе и встать до света, покинув теплую постель, счесть имение, учесть людей, кто что хранит, кто что делает. Ты научишься, ученая.

А на княжом дворе не сидели весь день. Старая княгиня любила ходить по городу, разговаривать, многих знала в лицо и по имени, кого не знала, подзовет, расспросит — кто, откуда? Требовала от Гиты:

— Не гордись, эти люди — наши, а мы — ихние. Умалая себя — возвысишься, возвышая же — унизишься. Не замыкайся, не стыдно, если не знаешь чего, — объяснят. Стыдно, если, не зная, притворишься. За спиной посмеются. Спрашивай. Не считай человека плохим, пока он себя плохим не покажет. Зря не верь — такого люди не любят. Ты княгиня. Верное слово скажешь, люди скажут — умна. Умное молвишь — мудра. Зато глупого не простят, а на плохое все падки.

— Как же с людьми говорить? — пугалась Гита.

— Как я, — объясняла княгиня. — Чего не пойму, переспрошу. Не знаю? Так и говорю — не знаю. Книжники выдумали, будто все уж так-то и любят всезнаек. Книги умнее тех, кто их пишет. Книжник, из себя выписав лучшее, себе в обиход оставляет обноски. — И, утешая Гиту, рассказывала: — Когда меня привезли из Константинополя, я совсем ничего не понимала. Нужда учит, кое-как справилась. Страшно было, когда плыли. Потом еще страшнее бывало... — И не договаривала.

«И тебе было страшно!» — хотелось Гите воскликнуть. Но не смела, зато собственный ее страх утихал. Смелела. Заговаривала и, видя улыбку, вызванную неверно произнесенным русским словом, просила: «Научите!» — и повторяла, добиваясь одобренья.

В Переяславле много строили. Об устройении стольного града Переяславльского княжества старался Всеволод Ярославич, теперь его заботы перенял Владимир Мономах, найдя в епископе Ефреме и настойчивого, увлеченного помощника, и руководителя. Деятельный дух старой княгини каждый день увлекал ее на работы: «Радостно глядеть, как камень, ложась на камень, воздвигается зданием».

На стене встречали епископа Ефрема в затрапезной рясе, в камилавочке, забрызганных известью. Он щедро тратил на укрепление и украшение Переяслава церковные доходы. «Долю льва отдаю! — И, тонко улыбаясь, добавлял с деланной наивностью: — Вернется сторицей». Рассказывал как-то, не стесняясь чужих ушей:

— Владыка мой, митрополит Киевский, гневается — уберу тебя, Ефрем-расточитель, вор церковный, расхищаешь ты и долю митрополичьей казны.

Епископ рассказывал об угрозах митрополита, встретив княгиню Гиту у храма Воздвиженья креста. Здесь плотники строили замысловатые кружала, которые предстояло по частям поднять внутри храма, чтобы каменщики по ним возвели баню, своды каменной крыши, и епископ сверял вместе со старшими плотницкой дружины размеры и изгибы кружал с чертежами.

— Не дадут тебя в обиду, преподобный, — возразила княгиня.

— О-ох, — вздохнул Ефрем, — надеюсь на бога!

И пустился объяснять с подлинной страстью: по смыслу храм есть корабль, прочный в житейском море. Внешне же он собирает в себе уменье и красоту всех ремесел и искусств человеческих, ибо воздвигается не чудом, а гибкостью рук, не из духовных вещей, но из плотских и грубых. Поэтому и древние язычники, посвящая свои храмы ложным богам, могли достигать совершенства в искусствах, которым восторгается христианин.

На третий по приезде день до восхода солнца в легкой кибитке, запряженной парой лошадей, княгиня Анна увезла Гиту и свою дочь Евпраксию. Через Трубеж переехали по наплавному мосту на барках, который разводили у правого берега, когда пропускали по реке лодьи. По гладкой, укатанной по черной земле дороге легко уносились по речной низине, полузатопленной влажным туманом, пока не оказались в широких полях и солнце не брызнуло прямо в глаза, внезапно выкатившись над окоемом. Княгиня торопила возницу, тот успокаивал — не опоздаем, — но горячил лошадей, которые сбивались с рыси на скачку.

— Держитесь крепче, крепче! — приказала княгиня девушкам.

Гита держалась за сиденье и за борт кибитки только из послушанья — никогда еще она не испытывала наслаждения быстрой ездой. К сожаленью, такое не длится. Возница натянул поводья, лошади свернули с дороги, и кибитка поплыла в высокой траве к холму со срезанной вершиной. Вблизи холм оказался земляной крепостцой высотой в два человеческих роста, с узким въездом, в который едва протиснулась кибитка. Внутри трава была свежеевыкошена, а в стенке сделаны — тоже недавно — подобия ступенек. Благодаря им можно было подняться на верх вала. Как далеко уехали! Следовало знать, что там город, чтобы понять значение слившейся на окоеме в одно

неровной, многоцветной, но и бесцветно-туманной возвышенности, почти горы, с проблесками над нею. Но здесь было несравнимо ни с чем. Громада будто бы ровного пространства без края. Хотелось иметь крылья. Не для того, чтоб лететь, а так просто, от радости.

«Что ж это со мной?» — едва подумала Гита, как княгиня велела ей поглядеть левее. Там, еще далско, мелькали в траве будто бы лошади, сзади их, разбросавшись просторною цепью, спешили — не всадники ли? — всадники.

Старая княгиня, любя поглядеть на ловлю тарпанов, привезла невестку в загода подготовленное место. Подготовили и тарпанов. Между Трубежом и Супоем их мало теперь: оттеснили. От Супойского озера, которое называют Большим или Верхним, в отличие от Нижнего или Малого, к реке Трубежу насыпан вал. При Ярославе он был закончен. Всеволод его обновлял. Владимир Мономах не забывает послать поправить насыпь — оплывает. От озера Верхнего до Трубежа верст тридцать. От вала до Днепра напрямик, как птица летает, будет верст шестьдесят. Этот кусок Переяславльской земли — не замок, не крепость. Слишком велик он. Однако же половцы побили Изяслава и Всеволода Ярославичей при Альте-городке. Они прошли верховьями реки севернее вала, не решившись лезть через него в Переяславль. Тарпаны не половцы, им легче и через реку переплыть, и времени им не жаль, чтоб поискать на валу места, где бы не скользило копыто. Но к чему? Вольный зверь. Прежде из Переяславля можно было увидеть табуны тарпанов на водопое у Трубежа. Да и запашка увеличилась. Скота своего больше пасут.

Все это объясняла Гите Владимирова сестра, Евпраксия. Переяславльская княжна, с раннего детства наслушавшись, знала о воинских делах не меньше мужчин. И еще нашла бы немало чего рассказать, не останови ее мать-княгиня:

— Садитесь обе, и ты помолчи, императрица премудрая, распугаешь тарпанов.

Сели на ковер, который возница притащил из возка, и трава закрыла головы женщин. Евпраксия не оставила матери последнего слова. Медленно повернув красивую голову, с толстыми косами, уложенными короной, сказала:

— Не учуют — ветерок тянет на нас. Не услышат — тарпан не волк, он, как олень, гонят его, он старается слышать, что сзади.

На это старая княгиня погрозила пальцем, сказавши без гнева:

— Ох, дождешься ты!

Евпраксия только плечом повела и медленно отвернулась. Без обиды. Но и без шутки.

Они были похожи, как бывают порой мать с дочерью. Император Генрих, послов которого ждали для окончательных переговоров, мог бы, взглянув на княгиню Анну, узнать без гаданья, какой будет княжна Евпраксия лет через двадцать—тридцать. Конечно, если жизнь эта не наложит такого бремени, которое исказит, изломает данные богом черты от рождения. Дочь базилевса Константина Мономаха вышла в отца, который в забытые годы пленял сердца женщин чистой эллинской породой, увековеченной десятками известных и сотнями забытых скульпторов. Хороший, но не чрезмерный рост, широкие плечи — покатые, глубокая грудь, соразмерные руки и ноги, изрядная сила, но скрытая нежной кожей и плавными очертаньями, точеная шея с гордым поставом головы, округленный подбородок с чуть заметной ложбинкой, прямой нос — продолжение высокого лба, светло-русые волосы, выющиеся плавной волной.

Свои купцы из Тматорокани привозили на Русь находимые на берегах Сурожского моря и пролива статуи и статуэточки старой и новой работы — их было много. Тматорокань соперничала с таврийскими и греческими купцами. На Руси эллин не удивлял никого ни чертами, ни статью. Гита чувствовала себя маленькой между этими двумя крупными, сильными женщинами.

Встерок был, но очень слабый. Раздвинув перед собой траву рукой и тонкой тростью, княгиня Анна потянула Гиту: гляди. Евпраксия же смотрела на мать и на будущую золовку. Ловля тарпанов ее не занимала. Как мать заботится об англичанке! Пестует, учит. Конечно, Владимир — любимец, первенец. Евпраксия не ревновала. Она любила и мат и отца, и братьев в спокойную меру спокойного сердца. Так же любила книги. Так же будет любить будущего мужа. Когда отец сказал ей о прозрачных намеках германских послов, Евпраксия захотела узнать, не глуп ли Генрих, не слишком ли много пьет вина — германцы ославлены как пьяницы! И сколько лет императору? Всеволод хохотал: «Видит бог, вся в тетку пошла, в жену французского короля. Такой же кремешок! Умница, дочь, в обиду не дамшься, хвалю!» Дочь дождалась конца отцовского веселья, чтобы уверить и отца, и мать: «Если Генрих будет не таков, каков нужен, я его покину без слез. И чтоб в договоре о браке предусмотреть мои права».

Княгиня Анна радовалась силе души и сердечному покою дочери: жизнь таит неизвестное до последнего часа, таким, как дочь, легче живется, и дурного дочь не сделает. Но не могла заставить себя любить дочь, как других. И не хотела бы таких жен сыновьям. Особенно Владимиру, любимцу своему. И трепет Гиты, и ее страх, ее жестокое сиротство, больше, чем обычное, привлекало княгиню: эта будет по-настоящему своя, всей душой и во всем. Воск...

Люди ждали Гиту с любопытством, с сочувствием, русский видел в девушке беглянку из сожженного города, говорил — доброе дело совершает Всеволод Ярославич, голубя сироту горемычную: эхо падения Англии не умолкало, нормандцев сравнивали с турками, с печенегами, с половцами, духовные в проповедях обличали римского папу.

Владимир ждал невесту, как послушный сын, — жену выбирают родители, по возрасту ему уже давно пора совершить закон, а заглядываться на кого-либо по-настоящему, чтоб сердце терять, ему не приходилось. Всеволод Ярославич на дело глядел так же, как сын, только сверху, и — взвесил приданое молча. Но никто не знал твердого решения княгини Анны: взвесить невесту. Не отдаст сына, если не перетянет Гита груз материнских сомнений.

Рог прозвучал серебряным зовом. Тарпаны бежали прямо на курган, а всадники изогнулись дугой. Крайние поспевали, опережая беглецов, вот уже вырвались вперед и, оглядываясь, сближались: перед курганом сомкнутся. Крупный вороной жеребец вел табун тяжелым скоком. Могучий зверь с длинной гривой, с громадой хвоста брал то правее, то левее. Наверное, он не раз встречался с людьми, знал их уловки, но поделаться не мог ничего. Бросить своих? Может быть, но только когда замкнется кольцо загонщиков. Женщины встали — теперь они не помешают.

Загонщики остановили табун в двух сотнях шагов от кургана. Лошади сбились, пряча головы, темные от пота. Вожак, взбросив перед, будто пытаясь встать на дыбы, с визгом прыгнул к ближайшему всаднику. Тот увернулся. Пробив брешь, жеребец помчался в степь, увлекая за собой несколько лошадей. Остальным преградили путь. Всадники метали арканы. Кто-то, промахнувшись, спешил смотать волосанную веревку широкими петлями на предплечье левой руки. Удачливые затягивали петлю поворотом своего коня и останавливали тарпана, дрожащего, взъерошенного, с клочьями пены, рожденной ужасом.

Гита, прижав к груди руки, видела только одного всадника. На белом коне, сам в белом, в шитой золотом и серебром грудью рубахи, Владимир метнул аркан первым. Петля захватила шею стройной лошади. Князь не рванул аркан, как другие, а, удерживая его правой рукой, скакал вместе с добычей, будто бы она его увлекала. Но очень недолго: мгновенья, которые показались длинными только Гите. Всадник и его белый конь вместе, как одно целое, сделали что-то, и плененная лошадь почему-то побежала по кругу, а всадник в середине только поворачивался, укорачивая аркан, и пленница все больше выбрасывала круп наружу круга и бежала уже боком, ближе и ближе, пока не остановилась сама, тянула назад, пробуя вырваться, и только еще больше затягивала петлю. Владимир осаживал своего коня, вынуждая пленницу слушаться. Так оба подошли к кургану. Белый конь без порока, по словам старшего Святослава Киевского. Голос Владимира был ровен, сам он свеж, будто бы не гнал тарпанов и не справился сам с добычей.

— Тебе дарю кобылку, Гита моя, будет тебя, когда захочешь, носить, добрая будет лошадь. Берешь?

— Беру, — ответила Гита. Откуда и смелость взялась с богатырем в степи разговаривать?..

Так забавлялись ловлей, по мнению княжны Евпраксии. На самом же деле мать сына своего хотела невесте показать — и успела в своем замысле. Премудрая Евпраксия не догадалась. Молода еще против матери, и матерью еще не была. Без материнства женский ум не полон, как без отцовства черство бывает мужское сердце.

У Гиты появилось первое собственное дело в бытность ее на Руси: в конюшню ходить к своей лошади. Два дня первых степная полонянка стояла в деннике, натянув удавку так, чтобы только не лишиться жизни, с ужасом храпела, глядя на чудовище, усевшееся в кормушку, — на седло. На третий, вдруг осмелев, оттолкнула помеху и пустилась жевать пахучую траву, пересыпанную зернами овса и ячменя: нельзя сразу давать степной лошади чистое зерно — и есть его она не умеет, и вредно с привычки.

На ласковый хозяйкин голос она косилась, гневно выкатывая влажное око, и храпела, прижимая уши, но раз от разу становилась тише, спокойнее.

В кормушке к седлу добавили уздечку с железом. Привыкнув к виду седла, кобыла нашла дополнение к нему вовсе не страшным. И вскоре позволила Гите прикоснуться

к нежнейшим ноздрям, но чуть-чуть и всем видом показывая: берегись, я могу укусить, коль так вздумаю.

Лиха беда начало. Заслышав шаги Гиты и помня о сладком куске на мягкой ладони, кобыла здоровалась, нежно всхрапывая: эти два слова для нас не вяжутся, а лошадь умеет связать. Уже стала она пускать хозяйку к себе в денник, давалась обнимать за шею и позволяла Гите вести разговор за двоих.

— Ты будешь ходить под седлом? Для меня? Мы с тобой скоро обе учиться начнем. Когда? После свадьбы. Скорее бы. А, тебе скучно и хочется бегать?

Наставив уши, кобыла и впрямь будто бы спрашивала: а слезы к чему тут?..

— самого дорогого, самого близкого человека мы умеем горько теснить. И чем же? Любовью своей! Как соблюсти меру, и кем указана мера? — спрашивала княгиня Анна сына, а он молчал, зная — ответа еще не нужно.

Семь последних лет, начиная с поездки в Ростов Великий, выписались в его памяти яркой тушью, расцвелились заставками, что дорогая книга, исполненная лучшим писцом. Эти годы ковались кольцо за кольцом, в них его каждодневно теснила необходимость. Детство отошло, совсем позабылось. Недавно без явных причин, без особого случая ожили детские дни, когда был он в материнских руках. Говорят, что такое служит признаком возмужалости.

— Лелея любимого человека, берегут его как зеницу ока. Нет большей драгоценности — жизнь за него отдают. И ревнуют ко всему да ко всем, мнится что-то — и допрашивают, и томят его, — продолжала мать. — Любовное угнетенье жестче железных оков. Любимый, любимая превращены в жертвы. Свободу нужно уметь соблюдать и в любви. Любовь бежит от несвободы.

Владимир вспоминал: мать умела его не теснить любовью и в детстве. Свобода — как воздух, о котором вспоминают, когда не хватает его. Подумал он и о судах стариков. Разбирая, по обычаю, семейные ссоры, старики чаще всего винят мужа и приказывают ему: не утесняй жену, дай ей разумную волю — и будет мир в твоём доме.

А княгиня Анна вдруг рассмеялась, как молоденькая:

— Учуж тебя, сын, будто ты маленький. В словах путаюсь, как зверь в тенетах. В утешенье самой себе расскажу тебе притчу. Семь мудрецов, которые всегда сияли, как звезды, на беседах среди ученых людей, не сумели ночью

найти дороги домой. Хотя, как говорят, светила луна. И каждый, утешив себя любимой сказкой, заснул прямо в дорожной пыли...

Владимир расхохотался. Привычка делала шутки матери особенно смешными и легким смех сына.

— А все же, — сквозь смех возразил сын, — не каждый сумеет заснуть где придется. Они остались мудрецами.

— Хотела бы я, чтоб и ты был мудр. Свободу нужно беречь в любви. Видишь, я опять о своем. Гита — добрая девушка. Ты же... — княгиня замаялась, ища слов, и подняла руку, остановив сына, который готовился что-то сказать. — Подожди, послушай! Никогда я не буду между вами становиться. Брак — святое дело, в нем двое, остальные же, даже мать и отец, лишние. Сказано же: жена, оставив своих мать и отца, должна прилепиться к мужу. И муж так же. Будь с женой нетороплив, ласков. Никаких советчиков между тобой и женой не допускай. И более об этом не подобает нам с тобой говорить. Гите не скажу, что я с тобой говорила. Сам никогда не говори о жене ни с кем, ибо для женщины нет большего оскорбления, чем мужнина нескромность. — Умело сделав паузу, княгиня закончила: — Не помню когда, но уже на Руси кто-то при мне сказал: можно научить всему, а как жить — сам учись, тогда и будешь счастлив.

— Но можно ли быть счастливым? — с шутливо-деланной серьезностью спросил Владимир.

— Иногда. Не каждый день и не весь день, — ответила мать.

— Это что же? Загадка? — засмеялся сын.

— Настоящая. И нет готовой отгадки, — с веселым лукавством сказала княгиня.

Судили-рассуждали, что от чего пошло: князя от городов или города от князей? Строя стройность событий — нестройное не построишь, — летописец-геометр обязан был перед своей совестью, перед своим разумом найти изначального родовича, главу семьи, от коего, как люди от Адама, пошли все — и князь, и пахарь, поколение от поколения, делясь между собой: кому пахать, кому воевать. Прав был летописец — нету наук без поэзии, и поэт, и ученый провидят в туманах прошедшего времени явление родоначальника.

Ложился уж вечер, весенний, конечно, — весну сказитель подарил от любви, — когда за речным яром явился

человек немолодой, усталый, обносивший одежонку, но сильный и бодрый. Уходил он откуда-то, от какой-то беды, потеснившей его из дедовских мест. Заприметив чистый ключик, струившийся в яр из камней, укрепивших божьей волей обрыв, не брезгуя зверями, которые натоптали следов, пришлый напился сладкой воды, встал, влез обратно на взгорье, огляделся, ибо человеческого следа не видно. Тихо, уютно ему показалось. Замерло сердце, будто сказал кто-то: здесь! Бросив копье, пришелец пал на мать сырую землю, поцеловал и поклялся: «Беру тебя, ты моя, а я твой. Буду здесь жить, рядом с медведем, волчицей, кабаном, зато на просторе». Приложил к губам старый рог, окованный желтой медью, хрипло и гулко позвал, наслаждаясь сознанием, что первым он нарушает покой лесной чащи. И когда подошли несколько мужчин и несколько женщин с детьми, с десятком лошадей, навьюченных общим именем, пришелец приказал сыновьям, невесткам, дочерям и зятям: «Здесь быть нашему месту», чем совершил княжье дело, решив один за всех.

Переяславльцы чтут свой город за древний. Так по преданию, но есть и иные свидетельства: яму ли под погреб копают, колодец ли роют, в земле что-либо да найдется. Под заступом хрустнет желтая кость, заскрипит уголь, звякнет горшочный черепок, мягко продавится черный обломок трухлявой доски. Не диво, если в огородных грядках блеснет золотая серьга, вместе с морковкой выдернется бусина. Находят клады монет времён римских языческих императоров, со смерти которых минуло и восемь, и десять сотен лет. Попадают древние греческие. Может быть, апостол Андрей занес такую монетку. Находили и неизвестные деньги. Ни свои знатоки, ни киевские, ни греки не могут сказать, кто и где чеканил такие. В монетах ценят чистоту металла, а не место, где били их. Деньги слепые, что бы на них ни отбивали... В городах же, как в живых людях, светит нынешний день, не вчерашний.

Однако же и теперь греки, арабы, турки оставляют свое золото на Руси, а свои купцы привозят чужеземную монету: в тех землях нет столько товаров, чтобы выкупать русские. Пушных мехов на Руси много, в других местах таких нет, потому-то и все просят. Необходимости в мехах нет, так как южные земли жаркие, теплой шубы не нужно. Меха красивы, их берут за красоту. Известно, что за красивым больше гонятся, чем за нужным, больше платят. Красоту понимает и зверь.

Новгородцы считают и Киев, и Переяславль своими выселками: наречья новгородское и поднепровское одинаковы, а смоленское или хотя бы курское, волынское разнятся, и пришлых оттуда узнают по говору.

Новгородцы горласты, надменны, все умеют, все знают и разборчивы. И своенравны. Встанут, ноги азом, руки кренделем, шапки на затылок, орут свое, и спорить с ними нечего — не переспоришь. Киевляне походят на новгородцев, шумны, беспокойны. Однако же в Новгороде ни один князь не мог бы позволить себе такие дела, как Мстислав Изяславич, каравший за отца. Киевляне растерялись, и кровь отозвалась Изяславу с опозданием. Новгород встал бы сразу, и не видать бы князю его улиц как своих ушей.

Переяславль спокойнее. На вечах ссоры редки, драки случаются раз в сто лет. Тому причины — людей в городе во много раз меньше, домохозяев около двух тысяч, а если считать на живые души — наберется не более двадцати тысяч. Но главное того — Степь. К ее дыханью прислушиваются, из-за нее крепче и связь князей с землей, и княжая власть: одно от другого даже отличить трудно; свились — и не разберешь, где одни нити, где другие, как в веревке не различишь, где моя пенька, где соседская.

Жирна переяславльская земля, леса много, но пашни хватает, засушливые годы редки, хлеб издавна продают, наибольшая часть переяславльцев владеет земельными угодьями. Владеют и князья, и дружинники. Оборонять нужно от Степи. Переяславльцы нуждаются в князьях, которые умеют водить войско.

А все ж при всех будто бы различиях есть глубокая общность. Ни в Новгороде с Псковом, ни в Киеве с Переяславлем нет внутри городов княжих крепостей. В Новгороде есть кремль, в Переяславле внутреннюю крепость называют Горой: место первого города, защищенное отдельной стеной. Но это не княжие замки, хоть там и построены княжие дворы. В кремль ли, на Гору ли доступ свободен всем. Туда отойдут все жители, если не удастся отстоять наружные стены. Кремли не княжие, а общие. Так на всей Руси. Стало быть, предок-то был общий, князь великий именем Обычай! Свидетелей нет, вымерли. Но приметы остались.

Утренняя звезда, испуганная денницей, зеленым огнем дрожала над оком. Город, как обычно, оторвавшись от самого из всей ночи сладчайшего предрассветного сна, дав-

но уже бодрствовал. Хозяйки подоили, ветав до света, выгнали на улицу скотину, отстрипались и накормили своих; кому дело за городом, тот уже уехал, верхом ли, в телеге или возком; из-за города везли съестной припас — говядину, птицу, рыбу, дичь, молочные скопы, мед, дрова, разгруженные с верховых лодей, камень, кирпич, песок, жженую известь, бревна, доски, кожу, железо, поделки, посуду — всего не перечислить, что нужно городу; для себя припасти, и в запас, и для сегодняшних дел. В переяславльском Предгорье торг заполнялся; лари были открыты, на лавках раскладывались товары, и люд начинал копиться, еще по-утреннему спокойный, но по-дневному цветущий разнообразьем одежды, вольностью речи, движения: мужчины ль, женщины ли — все равно привычные быть сами собой, без поделки под чье-либо иное обличье; соблюдалось приличие в точном значении — и одеться, и вести себя по лицу, одно идет женщине, другое — девушке, иное в зрелости, чем в молодости, и свое — старикам.

Торг на Горе — в старом городе, переяславльском кремле — нынче пуст от торговли. Как в Новгороде, торг мощен деревом, его полили водой, подмели. Будут ставить столы. Нынче женится князь Владимир Всеволодич, прозвищем Мономах.

На верхний торг выходит храм Воздвиженья креста, по нему и площадь зовется Воздвиженской. По улице, что ведет от площади к стене, отделяющей Гору от Предгорья, в ряду других недавно на замену деревянного поставили каменный дом в два яруса. Верхний ярус перекрыт сводами на столбах и высок, в две косые сажени. Частые окна узки, заделаны решетками и закрываются железными ставнями. В одном углу стоит кирпичная печь, пол перед ней обит железом. Хозяин боится огня, чтоб уголек не выпал из топки, чтоб не залетели искры в окна, если поблизости случится пожар. Склад дорогой — книги. На полу и на полках разложены венички горькой полыни, которой боится тля, червь. Чистый запах степи, смешавшись с душистым запахом пергаментов, дает странный аромат, его любят книжники.

Серо-желтые громады книг собрались на ступенчатых полках, перевязанные шнурами, завитые в свитки, собранные по листам между тонкими досочками, окованными с уголков, с застежками, без застежек. Прячутся в глиняных и медных сосудах, в ящиках, в ящичках. Пергаменты. Папирусы. Толстая, шероховатая бумага из тростника. Бсре-

ста, снятая с беспорочных берез, разделенная на тонкие слои, правильно обрезанная, нетленная, вечная по сравнению с пергаментом, с папирусом, с тростниковой бумагой. У нее один недостаток — сама свивается, книгу не соберешь. А соберешь — хорошо, пока держишь под гнетом. Отпустил — листы совьются и рвутся по волокну. Для книжника в этом нестерпимый порок бересты: хоть писать хорошо, да трудно хранить и читать.

Вчера закончился последний день холостой жизни князя Владимира Мономаха. К вечеру он парился в бане вместе с друзьями, потом пришел для беседы в любимое им хранилище книг, где и заночевал вместе с Андреем, сыном отцовского боярина, Владимировым, другом от молодых ногтей, который славно справил посольство в Данию. Последнюю неделю Владимир не жил у себя на дворе. Поручив невесту заботам матери, он с ней увидится только в храме.

Дом с книгами — собственность Андрея, внизу у него — жилье, хозяйство, душа — наверху, как ей и быть полагается. Книги считаются общими с князем и другом, счетов между собой они не ведут. Что в том, что наибольшая часть получена Владимиром от отца или куплена на его деньги. Андрей содержит двух книжников для ухода за книгами, для выписок, для переписки. Переяславльские любители пользуются книгами для чтения, иное было бы грехом: уподобиться человеку, который, имея свет, прячет его в темном месте. Три школы в Переяславле черпают отсюда же.

Здесь разум старый, недавний и нынешний. И пламя, и холод. Гневный окрик рядом с вкрадчивым советом, нежные убеждения и мертвенная сила приказа.

— Недаром Тиберий, второй римский император, велел писателей искать и казнить, рассуждают-де они о делах, тогда как обязаны они слушаться, как все прочие, — говорил Андрей. — Красноречивые молчаливники! Чудо! По его призыву слетаются тучи и птицы. Как глаз. Вмещает безгранично большое, находит место и для солнца, и для муравья. Будто они равны. Спящее в книге слово пробуждается от взгляда. Нет для книги прошлого, она всегда в настоящем. Это главное чудо!

— Хорошо, — сказал Владимир. — Ты — Боян мой! А что ты мне подаришь сегодня?

Андрей подошел к столу, тронул гусельные струны, проверяя их строй. Одно созвучие, другое. И опустил обе руки, утишив звон.

— Нет! Время всему. Подожди, уж недолго. Пусть мысль легка и чиста, как туманы над озером. Плоть слов трудна для меня...

Гул колокола пришел в хранилище книг, простой, чистый, великолепный, обычный и всегда необычайный. Если бы такую плоть имела мысль!

— Вот и все, — сказал Андрей, — пора тебе отправляться. Пойдем.

— Подожди, — возразил князь Владимир. — Я хотел тебя спросить. Нет. Это я скажу тебе: странно мне. Этот колокол, который впервые звонит для меня, звучит мне по-новому. Знаю, тот же он, ударил тот же звонарь. Откуда ж явился новый звук? Слушай, сейчас ударит еще.

Опять пришел чистый звук, такой же, но почему-то сейчас слабо, но явственно отозвались гусли.

С неожиданным раздражением Владимир бросил Андрею:

— И мать, и отец, и дядя Святослав, и ты, и все вы не знаете меня. Владимир добрый, умный, чистый, храбрый... Если б ты знал!

— Что знал? Что с тобой? — вскричал Андрей. — Что ты дурного сделал?

— Сделал? Ничего! — был ответ. — Но мысли мои я знаю один! Ты похвалялся, что твои мысли легки и чисты, ты жаловался на слова. А если б я рассказал, что порою мне чудится, мне не пришлось бы далеко искать слов. И удивил бы я всех!

— Князь, брат! Успокойся! — призвал Андрей. — Ты меня было испугал, право же. Вот ты о чем! Мысли! За свои мысли мы не отвечаем. Они же как колокол — звук его пришел и прошел, в нем ты не властен. Ты думаешь, мне не приходит в голову такое, что удивляешься на себя, и скажу прямо, делаешься гадов себе же. Ты скрытен, а дело-то простое. Моих песен нет, пока я не вложу их в слова. И пока в моей душе, не найдя выхода, бьются желанья, и хочется, и не может, я еще не певец. Также, пока я не совершу дурного, я в нем неповинен и чист, сколько бы грязного мне не мнилось.

— Пусть будет так, — согласился Владимир. — Мне хочется тебе верить.

— Верь, — убеждал Андрей. — Вспомни, разве ты предал кого-либо, нарушил слово, испугался, бежал, бил в спину, казнил, мучил, бросил без помощи? Разве перечислишь!.. Признайся!

— Нет. Не помню, чтоб был грех.

— Так освободи себя в такой день. Желая тебе счастья. Невеста твоя воистину непорочна. Обменяй же любовь на любовь.

Внизу друзья, бояре, младшие дружинники и веселы и серьезны, добрые шутки, но вольных слов нет: князь Владимир не любит такого. Во дворе боярин Порей подвел своему князю коня. Был Порей на первом пути князя — тому минуло семь лет — подобьем дядьки, сегодня будет свадебным тысяцким ездить с обнаженным мечом всю ночь вокруг брачного покая. Князь сел в седло, прыгнул в свое и Порей — ему ехать первым для охраны. Еще пять тысячцких подвели пять коней женихам, еще пять князей — их княжество на один день — сели в седла. Сразу шесть свадеб справляют сегодня переяславльцы.

Такова воля княгини Анны. Четверть века жизни на Руси, сделав ее русской, не изгладили византийской тонкости, или хитрости, или расчетливости — зови как хочешь. С приезда Гиты каждый день старая княгиня добивалась, чтоб будущую жену сына хоть в лицо узнали переяславльцы, тем натягивая основы будущей приязни. С тем же намереньем старая княгиня предложила нескольким переяславльским жителям, собиравшимся женить своих, справить свадьбы вместе и быть гостями на княжом дворе. Им и честь, и выгода, кто же откажется?

Улицы полны народа, говор, и смех, и шутки встретили женихов за воротами Андреева дома. Звонили на всех храмах, отвечая Воздвиженскому, полнозвучные голоса главных колоколов сопровождались веселым перезвоном подголосков. До паперти не будет и шести сотен шагов, но едут верхом — обычай. Ста шагов не проехали, толпы стеснились, путь преградил завал. Откупайся, иначе не пустим. Пять раз останавливали, пять раз тысяцкие сыпали серебряные деньги в подставленные шапки.

Вот и в храме. С княжого двора привозят невест. Епископ Ефрем сам служит, при нем обещаются друг другу брачащиеся, он их водит вокруг налож с золотыми венцами, надетыми на головы, отсюда и название обряда, свершается союз, чтобы плоть была едина, пока не разделит смерть.

При выходе супругов осыпают зерном, маковым семенем, чьи-то руки украдкой касаются одежды молодых жен — это какая-либо девица заручается доброй приметой для себя, — осыпают хмелем, бросают под ноги пучки трав, сорванных с наговором на счастье, перевязанных с заговором на счастье же либо волоском, либо шерстинкой.

либо тряпицей, ибо каждая трава своего просит, спрыскивают водой, подкладывают чистое полотно, произносят заклятья против зла ночного, вечернего, рассветного, полуденного, призывают Сварога, Дажьбога, просят навых пожаловать к честному браку, надевают венки цветов, собранных с заклинаньями лесовика — в лесу, водяных — на берегу...

Что ж, в гривы и в хвосты коней были не зря заплетены ленточки, и косицы конские крутили по-особому — старые-престарые русские обряды, сохраненные от славянской древности, все остались, все живут и жить будут долго еще. Только б чего не забыть, не нарушить бы русскую общность! Тут же толкуют: кто первый на коврик перед налоем ступил, он иль она? Здесь примета — первый будет господствовать в семье. И не споткнулись ли, когда водили округ налоя? И как отвечали? И не упустил ли чего венчавший?

Люди довольны: певчие пели согласно, ни одна свеча не упала ни перед иконами, ни в паникадилах, ладан в кадильницах дымился сладко и в меру. Заметили также, что под новым банным строеньем, законченным за два дня до венчанья, красивей звучат и пенье, и молитвенные возгласы. Для глаза еще нет красоты, а вот высохнет известь на сводах, каменщики затрут камни, живописцы распишут, и будет Воздвиженский храм на удивление киевским!

Солнце нынче катится по небу — не поспеешь. Давно ль начался день, а солнышко уже за Днепром. Молодожены едва отдохнули, зовут садиться за стол. Сели шесть князей и княгинь за стол в большой палате-гриднице на княжьем дворе, едва хлеб преломили, едва выпили меду и съели первый кусок — вставай, иди к гостям. По двору, на котором когда-то перед молодой княгиней Анной сын-мальчик лежал, сброшенный лошадью, а мать виду не подала, что сердце остановилось, этот сын ходит с молодой женой между столами, кланяются оба, благодарят гостей, просят не обессудить хозяев, не брезговать угощеньем: чем мы богаты, тем вам и рады.

Статный, могучий мужчина вырос, его лук редко кто может согнуть, умом зрел, воин, забыл, как лежал у крыльца, забыл, а мать помнит. Гита почти на целую голову ниже мужа, нежна, не англичанка — ангел, однако такие англичанки дарят богатырей своим мужьям. Да будет так! Добрая девушка, умная жена, да будет так! Что могла, все мать сделала для жены сына. Ей самой не помогали, привезли как немую, немой она начала русскую

жизнь, первенец явился на свет, она же все была как чужая на Руси, жила, думая — здесь, как в Палатии, не умея понять, отстранялась от людей, считая своим долгом хоть как-то, хоть в чем-то ввести палатийские церемонии. А у сына — природное. Для храма разрядился, иначе осудят; вернувшись, тут же переоделся. На охоту поедет в посконной одежде — любимая у него. Вся роскошь его — холст, белый, как яблони цвет. Только затянул поясок и красуется гибкой тонкостью в поясе. Гиту же, хитрец, изукрасил самоцветами в золоте, знает — иначе его женщины осудят. Ночная кукушка денную перекукует, ей ли не знать. Гита, девочка милая, не расстается с невской ниточкой жемчуга. Талисман заветный.

Ходили, кланялись, пока не обошли всю площадь, шесть пар, шесть молодых князей со своими княгинями, шесть княгинь со своими князьями. С какого-то давна принято на Руси величать новобрачных княжеством, какого бы ни были они звания. Когда началось, с чего пошло? С того же предка, с того же явления родоначальника, с отца-матери, их поминают потомки, вступая в брак, чтоб совершить Закон.

Андрей-Боян пел славу Русской земле: реки твои глубокие, озера — как моря, ручьи ласковые, ключи чистые, а где бы ни заложил в твоём лоне хозяин колодезь, тут и открываешь ты ему молоко сладкой воды, и леса твои — города великие, дубравы в них — ясные горницы, нет счета медоносным роям, семьям звериным да птичьим, и хлеб ты родишь, и никто еще на Руси с голоду не умирал, и все слышат русскую славу, радуются германцы с франками, что далеко живут, тешатся греки дружбой, а венгры крепят железными воротами Каменные горы, чтоб через них Русь не проехала...

Звонко рокочут гулкие гусли. Не один Андрей бьет в струны — одиннадцать Бояновых подмастерий вторят Бояну-мастеру. Кончаются слова, и гусли, которые шли тихим строем, чтоб не мешать песне — говору нараспев, берут все место, расходятся полной силой и творят свою песню, выговаривают свои слова с колдовским могуществом, рождая в людских душах виденье прекрасного, усаживая за невидимые столы высокого пиршества.

Тихнет струнный звон, гусли ведут свое с глушинкой, чтобы поверху дать место человеческому голосу. Андрей-Боян спрашивает: почему же с востока идут тучи за тучами и застилают русское солнышко? Почему же из восточных горнил сажа да пепел летят на Русь черными птица-

ми? Почему твердая Степь, будто болото, шевелится ядовитыми гадами? Что за горы там пламенные, что за ямы огнедышащие, с которых на Русь катятся, от которых на Русь бегут разбойные полчища? Кто их толкает? Чья сила?

Не место на свадебных радостях поминать о таком. Нужно ласкать молодых княгинь с их князьями виденьями светлыми. Что ж, потешили их и утешили виденьями русской земли. Местом они не будут обижены. А теперь пусть подумают. Свадебный пир не гулянье разгульное. Старым стариться, жить молодым. Птицы небесные не сеют, не жнут, не собирают в житницы, однако малая пичужка и та свое гнездо защищает и за птенца жизнь отдаст, которую она проводит, неустанно трудясь, в полете, а собранное передает своим из клюва в клюв, ибо негде хранить заработанное.

Старому и правда нужно утешенье в слабости, молодым же самим утешать себя приходится не сладким словом, а делами.

Есть, наверное, за тридевять земель, за горами, за долами да за синими морями земли-острова, где круглый год лето, где круглый год деревья сразу одними ветками цветут, на других завязь дают, а на третьих предлагают спелые плоды, где нет борьбы, нет насилия, где род человеческий, живя малой единой семьей, целый век улыбается и поет веселые песни. Каждому в мире свое. Степь давит на Русь, Русь идет на Степь, ставит крепости, насыпает валы на десятки верст, а под их охраной пашет, кормит себя от земли, а не грабежом, как Степь.

Молодым брак не завершение, не развязка, брак не дверь в цветущий и прибранный сад, брак — начало жизни. Что князю, что землепашцу — одно. Мужу с женой, жене с мужем сживаться, друг о друге думать, о детях заботиться — что князю, что землепашцу, все равно. Степь между ними не разбирается, для аркана кочевника все шеи одинаковы.

Поет Андрей-Боян про страшное, а слова его принимают, будто бы дарит он. Слушают, суровые, сильные, смелые. Иноземцы удивляются, у них по-другому. В каждой земле свой обычай. Но иной бывалый купец, он же и воин — время такое, — задумавшись, вдруг понимает, почему на Руси главные города, главные княженья, от которых зависят другие города и другие княженья, не спрятаны внутри Руси, а поставлены на краю. Они — укрепленья на юге и востоке земли для защиты от Степи, за то им и честь, и первенство.

А что это? Упреки! Обильная Русь, всесильная Русь сама себя силы лишает. Города не дружны, под себя тянут, любят себя, будто они соперники, будто мало места, будто все поля распаханы, речные берега заняты, рыбы и дикие звери сосчитаны. Боян хулит князя Изяслава за гордость, за бегство, хулит Святослава с Всеволодом — изгнали они брата, заменив братское слово угрозами. Будет ли от такого на Руси добро? Не будет. О малом спорят князья, будто о великом. Дружины состязаются, какая сильнее. Сила не в споре, сила — в согласии.

Улыбается старый князь Всеволод, покинувший Чернигов, чтобы сына женить. Прав Боян, да люди-то не камни: не обтешешь на клин, чтоб свод сложить. Тесел нет таких, нет и каменщиков. Жизнь-то, ее, друг-брат, прожить — не поле перейти. Овраги, топи невидимые, метишь, как лучше сделать, получается худо. Удача без труда приходит, трудишься — руки пусты. Так-то, друг-брат. Я тебе такое могу объяснить на латыни, на греческом, на германском, по-арабски; все знают, что надобно делать, а как делать — еще не придумано.

Велел Всеволод налить братину греческим вином, взял полуведерную чашу за ручки, вышел во двор. Старый князь — так говорится по возрасту; по бороде да усам, крепко битым белым инеем, по высокому лбу, который бог придал во все темя. Память свежа, а спина хоть и ссутулилась; но в седле не мешает. Двое суток, меняя коней, шел Всеволод в Переяславль из Чернигова, прибыл третьего дня поутру свежим, после обеда в полдень лег, как все, по обычаю, и спал не долее других.

Выйдя с братиной во двор, князь Всеволод возгласил здравицу: «За Русь Великую!», отпил и передал первому, кто с краю сидел. Пошла братина по двору, со двора пошла на площадь, за братиной шли княжие виночерпии с мечами вина — пополнять. Дойдут до последнего — и пиру конец, ибо солнце уж прикидывалось к земному окоему, где ему садиться ныне положено, чтоб дать Руси ночной покой.

В гридне кончался пир. Скоро дадут знак молодым и поведут их, по русскому чину, в опочивальню, где готова постель из снопов немолоченного хлеба, с перинами, застланная льняными простынями, с подушками гагачьего или гусиного пуха, с одеялами горностаевыми или куньиими, со свежей водой, с огнем, все по-старинному, без перемен с древнейшего времени первых славян, по указу князя Обычая, от которого пошла русская земля и стала быть.

Разве что в правом от входа углу вместо светильника горит лампада перед божницей.

Зажглась вечерняя звезда, над нею белый месяц уходил вслед солнцу. Андрей-Боян под нежный звон одиннадцати гуслей спел новую песнь:

Душу в душу вложив, внук и внучка Стрибожьи жили долго, любовью любя, жили до ночи, когда, для себя незаметно, в сон вступили особенный — он вечным зовется, ибо через него люди в вечную жизнь уходят...

И где-то в выси они оба очнулись, обнявшись, и долго неслись среди облак небесных, и звезды, и воздушные звери им давали дорогу, и они поднимались, сияя, к сияющим стенам, к воротам, и были ворота нежнейшим сплетением лилий, но прочны, как камень, и гулки, как бронза. На голос ворот явился апостол-привратник, святой Симон-Петр, спокойный, как камень, и руку пред ними воздвиг, вход воспрещая, и так им сказал: «Нет, не время, нет, еще рано, до срока иного иное вам уготовлено богом».

И ветер небесный понес их в место другое, здесь ворота казались подобными райским, но странно отличными, будто бы сущность сама была опрокинута, и белое сделали черным, и черное сделалось белым, и свет стал помехой, чтоб видеть. Безликие, скучные стражи сказали: «Уйдите, не пустим,

уйдите, уйдите!» — и сдвинулись тесно, собой заслоняя печальное место, и стражи поникли, как травы в дни зноя, бездождья, и все повторяли: «Нет тайн для рая, нет тайн для ада, мы тех принимаем, кому надлежит воздаянье за злобу, за чувства ничтожные, берем мы лишь тех, кто извергнут за то, что был только тепел, за вашу любовь у нас нет

наказаний».

И вновь поднялся ветер и принес их к порогу, к узкому входу, где начиналось Чистилище душ, сотворенное из холодных молитв и хитроумных надежд папского Рима.

Тут служки встретили души с улыбкой: «Слыхали и знаем — вас в рай не пустили, все знаем, и места в аду вам не дали, чего же от нас вы хотите? Очистить вас от любви мы не можем, нам вы не нужны, мы вам не нужны, но Петр-привратник вам ничего не сказал? Ничего? Разве вы не слыхали?»

«Мы скажем...» — но ветер унес и слова, и трижды отверженных. Они же, глянув один на другого, увидели: горе, заботы, морщины, седины — все, все исчезло, смывое, будто пыль с листьев первым дождем, и стали они, какими были давно, в тот день, когда на земле обменялись кольцами.

«Вернемся на землю» — оба разом сказали. «Я женщиной буду, и буду любить я, и буду тобою любима», — она ему обещала.

«И я снова буду твоим, желанная сердца, ты краше мне лилий на райских воротах».

Не ветром, а собственной волей своей они погружались в синий, в теплый покров, в котором выются дороги с тверди небесной к тверди земной. И с вниманьем глядели, выбирая из многих путей путь один — русский. И впервые их коснулась земная тревога: как бы не ошибиться? Ибо русское сердце откажется биться, если случится очнуться на чужой стороне.

Изяслав Ярославич в своем горьком изгнании продолжал стучаться в германские двери, помощи же ни от кого не получал. Много было шума, много было угроз в беспокойном и тесном мире, и никто не мог бы с уверенностью сказать, где пустой словесный звон, а где дело. Прошел слух, что чехи собираются подкрепить притязанья Изяслава, а заодно посчитаться с поляками. Польский король Болеслав решил подкрепить свой ненадежный престол союзом со Святославом Ярославичем Киевским и просил помочь против чешского короля Вратислава, союзника Германской империи. В помощь ляхам на чехов Святослав приказал идти своему сыну Олегу и Владимиру Мономаху. Оставив молодую жену на попечение своим матери и отцу, Владимир пошел на войну.

Князья — двоюродные братья прошли со своими дружинами Польшу и вторглись в Чехию, не встречая сопротивления. Чешский король Вратислав поспешил купить мир у Болеслава за тысячу гривен серебра. Польский король послал к молодым князьям известить о прекращении войны.

Ляшские послы едва догнали русских князей на реке Мораве, у впадения в нее Быстрицы. Русское войско стояло в городе, из которого бежало все население, спрятавшееся в крепость Ольмюц. Сидя в самом большом доме около костела, молодые князья договаривались с посланными ольмюцкого воеводы о выкупе крепости. Воевода давал двести гривен, князья требовали четыреста. «Иначе обложим крепость, построим машины, а вы будете с голода умирать». Заставив поляков ждать, пока чехи, приняв условия, не отправились к себе за деньгами, Олег и Владимир занялись и с ними. Лада не получилось. Прочтя Болеславово посланье, русские говорили учтиво, дивясь быстроте перемен.

— Вы так можете, а нам не годится, — сказал князь Олег. — Отец меня и брата моего сюда послал потрясти чехов, как яблоню. Такое от него просил Болеслав и настаивал. Теперь Болеслав с Вратиславом будто бы помирились, нас на свои переговоры не звали, совета не просили. Сам Вратислав с нами не говорит, вас избрал. Мы не нанятые, вернуться не можем. Если же поступим как наемники, на Русь падет бесчестье, и князь Святослав нас не помилует. Не обессудьте, гости дорогие, на том и покончим мы с вами. Грамоту верните королю и нас более не уговаривайте, иначе быть ссоре, не заставляйте нас гостям за спину руки выламывать.

Угостили гостей и сами угостились. Проводили из чести. Зима в Чехии мягкая, добрая. Снежок снежил понемногу. Поляки ехали не спеша — не гонят ведь, — стригли глазами направо, налево, считали людей, считали коней и нашли, что едва ли двенадцать сотен найдется у русских. Но видно, люди отборные, сила большая. Считали вьючных коней, обоз, захваченный скот и вздыхали — от зависти. Попали русские к чехам, как медведь на пасеку: пока все колоды не опрокинет, в лес не уйдет.

Так и было. С вождельем комаров, летящих на запах горячего тела, к обозу присосались скупщики, дельцы из городского разноплеменного люда, германцы, евреи, вездесущие ломбардцы, свои же моравцы и богемцы, привычные брать на любой войне честную прибыль: покупали все, что предложат. Риск большой, зато на достояние, вложенное в дело, за несколько месяцев нарастает десятикратная выгода. Из этих же прибыльщиков всегда находились надлежащие проводники. Не подведут, не предадут.

За Ольмюцем расплатился город Брно, что значит «глина». По пути к Глине еще трем городкам удалось потчевать незваных гостей. Так и ходили, с легкой душой, веселясь воистину чужому несчастью. Крови лилось много — коровьей, бычачьей, овечьей. Людской почти не было. Моравцы и богемцы прятались если не в укрепленные города, то в горы и в леса. Места для бегства здесь много. «Может быть, — думал Владимир, — поэтому местный люд робок. Война — здешний пахарь привычный».

Однажды кто-то пытался напасть ночью. Ударили на занятое русскими селенье сразу с двух сторон по дорогам, и на обеих дорогах их встретили сильные заставы, готовые к бою. Вероятно, нападавшие уверили себя в беспечности противника. Ошеломленные неожиданностью отпора, они дали себя опрокинуть и оставили несколько десятков убитых: Владимир Мономах еще раз пожал плоды своей осторожности. Для него стало привычкой не только требовать, но и самому проверять и днем и ночью заставы, дозоры, охранение, на ходу ли, на отдыхе — безразлично. Он умел просыпаться ночью, ехал сам в одну сторону, надежных дружинников рассылал в другие. Сам не спал, другим не давал.

Через несколько дней после неудачного ночного нападения король Вратислав предложил русским мир на тех же условиях, что и польскому королю Болеславу. Молодые князья взяли себе тысячу гривен серебром и отправились на Русь.

Дружины называли чешский поход золотым: обогатились деньгами, вещами, отборными лошадьми. Но король Болеслав обиделся на русских. Так говорили. В действительности же, отчаявшись в чьей-либо помощи, князь Изяслав Ярославич заслал к Болеславу своего сына Святополка с новыми, а на самом деле старыми, посулами: опять Червонная Русь послужила приманкой. Опять сопредельные с Польшей города могли сменить одного князя на другого. Для жителей этих городов перемена не означала чего-либо существенного. Князь Обычай оставался во всем, чем живет человек. Бывали эти города под рукой польских королей, переходили под руку русских князей, не проигрывая ни в чем. Разве что после каждого перехода, желая укрепиться, и лях, и русский, подтверждая сохранение «старины», старались приласкаться к новому владенью. Польши не было — такой, чтобы, придя со своим, ломать и переделывать по-своему. Был король, чьим владеньем делались русские города. Король, слабый властью, ибо польские знатные люди уже заводили свой строй шляхетской вольности. Чтобы каждый пан был себе пан, чтобы каждый шляхтич был воеводой на своем огороде, чтобы без воли шляхты выбранный ею король не мог шага сделать.

Ничто задуманное не осуществлялось по воле задумавшего. Нет в природе ни одной прямой линии, треугольника, шара. Мир сложен кривыми линиями, выгнут и прогнут и весь движется.

Снаружи строй польской вольности казался будто нарочно задуманным беспорядком. На упреки поляки отвечали: Польша жива настроенем. В этом настроенье, среди других, есть и такая извилистая, но непрерывная линия: король нужен, короля выбирали всегда и всегда же ревниво следили, чтобы король не усилился. Держать войско королю разрешали, но в количестве ограниченном, иначе он своей латной конницей наступит на ногу шляхетской вольности. Осуждать или смеяться не приходится: бывшее было, вольная воля каждому дороже всего, и только пустынные свою волю отвоевывали, не попирая соседа. Но философ и их упрекнет: что за пример — отречение от жизни и спасение личное, свое, для себя...

Знатные поляки, смущенные грозными письмами папы Григория Седьмого, но также и из гордости, вернули Изяславу Ярославичу разорительные для него подарки и, прищурившись, не мешали изгнанникам сговариваться с Болеславом. Пусть король получит себе в особое владенье города, не раз менявшие если не владельца в точном смыс-

ле слова, то княжих посадников на королевских кастиелянов. Королю много силы не прибавится.

Потрепанные чехи не угрожали польскому тылу. Вести с Руси, плохие для одних, были хороши для других, как обычно бывает с вестями: кто-то плачет, кто-то песенки поет. Изяслав Ярославич, правда, не радовался тяжелой болезни своего брата Святослава. Людям не злым такие радости чужды, и к тому же они опасаются, как бы на себя не накликать беду. Так, Изяслав Ярославич искренне плакал, узнав о кончине брата. Все-то дурно получилось. Жили в ссоре, не помирились перед смертью. Правда, еще в детстве младший забивал старшего и в скачке, и на охоте, не миловал быстрым словом. Что ж с него взять, богатырь был.

Отслужив по брату панихиды до сорокового дня, Изяслав Ярославич ободрился духом. Мертвым свое, живым свое. Любимое Берестово сделалось ближе. Ничего не скажешь — Святослав не пустил бы Изяслава на Русь, отбил бы и поляков. Не раз между братьями были пересылки, не раз Изяслав богом просил брата опомниться, не рушить порядка, установленного отцом. На длинные письма с укорами, убеждениями, с наставлениями от святого писания, от подобающих делу светских книг Святослав отвечал кратко и почти одинаково: на стол не пушу, приезжай жить при мне на моей воле, тебя ни в чем не обижу; если же с войском пойдешь, поймаю и буду держать, как голубя, но лететь не позволю, довольно налетался ты по чужим дворам, пора тебе отдохнуть бы. Подписывался, как отец Ярослав: великий князь и царь.

Святослав преставился в январе 1076 года, на киевский стол киевляне посадили Всеволода, свято место пусто не бывает. С этим братом у Изяслава ссор не случалось, в изгнании своем бывший киевский князь Всеволода не винил, зная по совести, что и сам на его месте также подчинился бы Святославу. Святослав — сила, сила солому ломит. Свои ошибки Изяслав Ярославич считал не раз, не два, в чем ему с охотой помогали сыновья, как и он, утомленные жить под чужими крышами.

В сороковой день по кончине брата Изяслав Ярославич устроил по нем большие поминки — русскую тризну — и написал брату Всеволоду. Новый князь киевский ответил дружелюбно, в охотку приняв состязанье в выборе подобающих книжникам примеров. Обмен письмами продолжался. Между строк Изяслав Ярославич читал незряшные братские сомненья: как-то и киевляне, и Русь примут воз-

вращенье старшего брата и отказ младшего от киевского стола, буде такое совершится? Что скажут духовные, им известны обещанья, данные папе Григорию Седьмому?

На второе Изяславу было легко ответить: в крайности люди обещаются, чем другие пользуются. Так с ним поступил папа, обещанье вынудил, а помощи не подал, почему Изяслав чист, да и договора с папой писано не было. Над своими государями римского обряда Церкви папа не властен, а на Русь ему и вовсе нет хода.

Стараясь обратить к себе брата, Изяслав сулил ни в чем никому не вымещать изгнание, утверждал за Всеволодом Черниговское княжение. Шли письма к известным киевлянам, к боярам-дружинникам, в монастыри, к митрополиту, к епископам. С письмами спешили и дни, и недели, сошел снег не только в Киеве, но и в Новгороде, на реках сплыл лед низовой, за ним верховой, на плодовых деревьях цвет, потеряв лепестки, пошел в завязь, хлеб на полях — в колос, в лесах доцвела липа, люди повсюду справляли купальные игры в единственную в году ночь, когда для счастливец таинственным огоньком обозначит себя цветок папоротника, — тут-то и вошел в Червонную Русь Изяслав Ярославич с польским полком. Здесь же, на Волынской земле, его встретил Всеволод с русским полком. Боя не было по ненужности дела. Поляков отпустили. Ведомый Всеволодом, Изяслав без препятствий сел в Киеве и пустился молебствовать по монастырям, по церквам: простой, с открытой для просящего мощной, словом ни о чем не помянет, будто бы ничего не было. Будто до сего времени был сон, ныне же светлая явь. Иноземцы, проживавшие в Киеве по своим обычаям, для чего занимали свои части — улицы города, не удивлялись. И в германской улице, и в европейской, и в греческой, как в варяжской, в армянской, привыкли к бескровным сменам князей. Если перед первым возвращеньем Изяслава его сын Мстислав и пролил сколько-то крови, то вытекло ее ничтожно мало, особенно на посторонний глаз: едва пятьдесят русских убили — капелька.

Словом, завершилось как лучше не надо. Изяслав припал к чудесному Берестову-селу всей душой. Издали он себе мнилса подобием селезня, лишенного серой утицы в разгар весенней любви, снилась Русь, и Русь, и красота берестовских теремов манила обещаньем блаженства. На княжом берестовском дворе нашлись старые слуги, бог спас терема от пожара, от молнии. На голубятне жили дети оставленных им голубей, да и с собой Изяслав привез две

корзины — десятка три пар германских да ляхских летунов. Все будет по-старому.

Ан нет, не потекут реки вспять, не прирастут выпавшие зубы, не влезть змее в старую кожу, как ни прикидывай, все одно — нельзя жить сначала. Кому как, а русскому чужбина — отрава. Песня, петая боярином Андреем, по прозвищу Боян, на свадьбе Изяслава племянника Владимира, с тех дней стала достоянием гуслиров, Изяславу же услышалась как новинка. Не понравилась. Для молодых-то годится, быть может. Но не ему с его старой княгиней, которая без тревоги дожидалась возвращения мужа, сидя в покое и в холе за монастырской стеной. Дослушав, князь помиловал певца. Верно, ой верно, ему ли не знать. Если оттуда отпустят, вернуться бы только на Русь...

Сидел Изяслав в Берестове смирно, слишком смирно. Занялся голубями и — бросил, разве уж так, от нечего делать, через день, через два, понемногу. Мед по-старинному крепок и сладок, да горло стало не то.

Приехал старый знакомец, полоцкий боярин Бермята. Мед прежний, а пить не хочу. Оценивши в изгнание кривские хитрости, Изяслав не озлобился на полоцких, не отказал Бермяте от двора, подарил ему щедрый подарок — открытую душу.

— Там, за нашей землей, — рассказывал Изяслав, — каждый владетель каждому враг. Все у них шевелится, кто грызется от бедности, кто — от богатства, малоимущий владетель гнется послушно, как лук, но норовит, чтобы стрела отскочила в стрелка. Ты, змей лукавый и мудрый, скажи-ка, что человеку нужно? Молчишь? Я тебе объясню. Нужен покой человеку, чтоб ему не мешали, пахарю пахать, купцу торговать, ну и прочим каждому свое, чтобы в семье мир...

С помощью подсказок Бермяты старый князь высказал новые мысли, которые ему были как старые, и все толковал о покое, о счастье людском, перечислял приметы, и получалось легко. Как-то бы съехаться вместе, обсудить, порешить — и начинать по-хорошему. Легко как...

Темноволосый Бермята по привычке сминал в кулаке темную бороду — щеголяя, он недавнюю проседь скрывал краской из зеленой ореховой шкурки, — поддакивал, подсказывал: для себя. Нужно было кривским взвесить князя Изяслава — что в нем прибыли, что убыли и сколько он тянет теперь? Прост был, прост и остался — такое просилось решение. Былую игру не повторишь, кости не те, не к чему играть с Изяславом. Святослава нет, ни Изяслава на

Всеволода, ни Всеволода на Изяслава не натравишь к полоцкой выгоде. Мелки оба. Ездить в Киев — зря время тратить, что лить воду в худое ведро.

При мелкости Изяслава, прикрытой добрыми словами, было в нем что-то приятное, даже милое для Бермяты. Речи о добре редкую душу оставляют безгласной, пока слова не затаскают, как воробы брошенную за ненужностью тряпку.

— Договориться, князь, нужно между людьми? — спросил Бермята. — А как договариваться?

— Ужели не понял? — возразил Изяслав. — Будто нельзя встретиться, указать — здесь моя часть, здесь твоя — и не входить в чужое?

— Можно и встретиться, — согласился Бермята, — можно составить и условие. А кто следить будет?

— Старший.

— Стало быть, без старшего нельзя? Как в монастыре, под игуменом?

— В монастыре тишина и порядок, — признал князь Изяслав.

— Добр ты, князь. Хорошего хочешь. Но Русь не монастырь. Иноки в монастыре отказываются от своей воли, вручая ее настоятелю во спасение души. Монаху — монашеское, мы люди мирские, все мы не станем монахами, ибо тогда род людской прекратится, что противно воле божьей. Людское дело — плодиться, размножаться, возделывать землю и ею обладать. Для того человеку нужна вольная воля, без воли он инок иль евнух. В лесу деревья нсвинны и то теснят одно другое. К свету тянутся, для них свет — что человеку воля. Для чего вы, Ярославичи, тесните Полоцкую землю? Мы хотим жить по своей воле, были мы лесовиками болотными, ими хотим оставаться. Съехаться мы согласны, договориться согласны, чтоб каждому жить по своей воле. Вам — так, нам — так.

— Пусть Всеслав приезжает, встретим добром, проводим с миром, — предложил Изяслав.

— Нет, князь, не приедет он. Шумно здесь, людно, советчиков много, будут твою совесть мучить, толкать тебя будто бы на добро, нам — на зло верное. Взяли вы, Ярославичи, однажды Всеслава на слове своем, второй раз не возьмете. Вы же и у себя с племянниками не ладите. Не рука нам к вам ехать.

— Всегда вы такие, кривские, были: к вам с душой, вы с рогатиной, — укорил Изяслав.

— Нет, князь, — настаивал Бермята, — приезжай ты со Всеволодом, с сыновьями, с племянниками на полоцкую границу для встречи. Дадим заложников сколько захочешь, по твоему выбору. И сравним, что за воля нужна нам, что — вам.

Не съехались. Вместо съезда Всеволод Изяславич, взяв помощником из Смоленска старшего сына, осенью ходил в Кривскую землю под Полоцк, причинив ущерб полочанам за новое покушение Всеслава на Новгород.

Той же зимой страх перед Всеславом заставил старших Ярославичей приказать Владимиру Мономаху опять потрясти Кривскую землю. Была она жестка, не хотела никак колотиться, подобно кривому, сучковатому долготью, которое не расколешь колуном, из которого и клинья-то выскакивают. Мономах вгонял клин до самого кривского Одрьска. И был тот клин составной: своя дружина вместе с шестью сотнями наемных половцев. И как же тут было не вспомнить Всеславово страшное пророчество, чтоб не довелось молодому Владимиру познать горечь неисполнения желаемого. И десятой части желаемого не добился Мономах.

Здоров, красив, умен, начитан. Богатырь — его лук не каждый из славных силой дружинников мог натянуть до конца.

Жену взял красавицу, добрую, умную, любящую. За такую все отдай — мало! А она мужу и богатство принесла, да такое, за которое многие губили и честь, и племя свое, женись на глупых, на старых уродах.

А имя какое! Эдгита! Гита, по-русски — Ясная. Кто же надумал, провидец, так ее окрестить?

Помнишь, князь, ты уходил в чешский поход, оставив жену непраздной? Кто, вернувшись будто нечаянно, встал на пороге жениной светлицы? Она же, поднявшись навстречу с твоим сыном в руках, ждала, и ты на коленях к ней шел, к твоей Гите. И вправду стала она краше — ни с чем не сравнить! — против дня, когда вы обменялись кольцами, и любовь между вами.

Второго сына дала твоя Ясная, все так же прекрасна она. Силен будет твой род.

Святополк Окаянный водил печенегов по окраине Руси. Ты повел Степь в самую глубь Земли. Не своей волей, но ты Степи дал первый путь. Не по твоей воле сотнями лет после тебя Степь пребывала опасным, отвратительным союзником русской усобицы-смути. А руку ты приложил.

Худое первенство выпало Владимиру Мономаху. И честь тебе, что этим зельем ты не отравился насмерть, как Окаянный. Не отравился лишь потому, что сделанного не понимал.

Добро было Изяслав Ярославичу миром вернуться на Русь. Глядя на запад, русские говорили: «Положись киевский князь на папу да Генриха-императора, чахнуть было б ему до гробовой доски на чужбине. Там дела завязались железным узлом, не расплеться, не разрубишь...»

Обещав стать вассалом Церкви, нормандский герцог Вильгельм-Гийом с благословения и с помощью Рима завоевал Англию. Он обманул папу. Владельцы юга Италии и Сицилии, норманны-завоеватели, были верными вассалами папы: им трудно было б без поддержки святого престола. Папа был светским государем Римской области и других земель в Италии. Апулийский герцог Гискар пошел завоевывать Восточную империю. Разбив имперскую армию под Драчем, Гискар вошел в Македонию, целясь на Солунь, второй город империи. Оттуда он понесет папское знамя в Константинополь. Греческой империи суждено стать феодальным владением папы.

А жесткую шею Священной Римской империи германской нации папа Григорий Седьмой гнул сам, разя духовным оружием. Спор возник будто бы из-за авторитета: кому ставить в Германии епископов и приоров — папе или императору? Епископии и монастыри обладали землями, городами, их вассалы составляли войско. Некоторые епископы были князьями-электорами, участниками выборов императора. Папа Григорий установил закон Церкви: ставить епископов и приоров имеет право лишь Рим. Слепому видно — все церковники становились вассалами папы, доходы пойдут Риму и в империи возникнет особое государство. Генрих не подчинился. Папа обвинил императора в смертном грехе симонии — продаже духовных званий. Генрих собрал германских епископов и объявил Григория Седьмого низложенным. Григорий ответил отлученьем императора от Церкви.

Вассальная присяга сюзерену была религиозным актом. Большая часть германских электоров сочли себя свободными от верности императору. Предстояли выборы нового. Генриху Четвертому оставалось одно — мир с папой. Григорий Седьмой не отверг грешника, но потребовал покаяний. Сегодня, с непокрытой головой, босой и в дерюжном

мешке, Генрих Четвертый был впущен во двор италийского замка Каносса. И ждал.

В замке тишина неповторимого события. Папа, как обычно, отслушал мессу. Он занят, у него большая переписка, он работает с секретарями, диктует, подписывает. Приписывает сам несколько слов: быстро, нетерпеливым почерком, острыми буквами, которые спешат так же, как спешит владыка Церкви. Пока еще Западной. Скоро Гискар сделает его владыкой и Восточной, и станет церковь едина. Еще не поздно: разрыв не глубок, несколько слов в исповедании веры, опресноки, несколько обрядов — мелочь, люди ничтожны в своих заблуждениях...

— Взгляни! — приказывает папа.

Камерарий в мягких сапогах, бесшумно, как кот, прыгает к окну, ложится на глубокий подоконник, ползет и высовывает голову. Его никто не видит. Он делает гримасу презрения, дразня императора, высовывает язык и торопится назад, извиваясь, как уж.

— Стоит... — шепчет он папе. Папа не любит громких голосов.

Холодно. Падает снег, мягкий, нежный. Белоснежные цветы неба залетают внутрь через глубокую бойницу и — в камине пылают поленья в рост человека — исчезают, не успев упасть.

Пасмурно. На столе папы свечи желтого воска горят весь день. Дела. Кастилия и Арагон — там упущенья в обрядах. Исправить! Испанские короли послушны, их теснят мавры, папа им нужен. И деньги. Папа дает на борьбу с неверными. Проверить, еще раз проверить, как отправляется месса. Нет никого упрямее священников. Кому знать, как не ему?

А савойский граф? Почему он медлит с ленной присягой?

— Негодяй! Дурак! — и с уст папы срывается одно грубое слово, другое, третье...

Григорий Седьмой по имени был Гильдебранд. Старо-германское имя, оно значит — «пожар войны». Так звали воспитателя Дитриха Бернского, он упоминается в германских сказаньях о Нибелунгах — «детях тумана». Став папой, Гильдебранд взял имя Григория в память папы Григория Шестого, своего наставника, друга. Григорий Шестой был безвинно низложен по настоянию императора Генриха Третьего, отца этого... И с уст первосвященника опять рвутся грубые слова.

Секретари сжимаются от страха. Они не умеют читать мысли. Папа держит письмо. Какое? Кто-то сделал ошибку. Кто?

Но папа, не поднимая головы, (приказывает:

— Посмотри!

И опять камерарий высовывает голову из глубокой бойницы. На этот раз он не строит гримасы. Внизу, в снегу, стоит император. Император! Император! На мгновение в лакее пробуждается человек: это кончится плохо...

— Стоит... — шепчет он папе. — Стоит!

Медленно к слуге поворачивается лицо папы. Поднимается рука, и камерарий тянется, чтобы получить заслуженную пощечину; владыка владык строг, но милостив к покорным, хотя рука у него, как у Гагена Тронье из песни о Нибелунгах.

Рука опускается, не нанеся удара. А! Генриха жалсут! Лакей сжалился над императором Священной Римской империи! Это отлично, отлично! Папе весело.

Во дворе замка пусто, безлюдно. Слуги протоптали в снегу дорожки. Пробегаю — сегодня они бегают, они стараются не глядеть на императора. Водоносы тянут бадью из колодца. Колодец глубок, цепь медленно наворачивается на ворот, ось скрипит, и виток, соскальзывая, мягко и жестко — железо и дерево — ударяет по толстому бревну оси. Несколько столбов разной высоты торчат из снега. Пустые коновязи, бревна изгрызаны лошадьми.

Папа вдруг улыбается — вспомнилась лакейская жалость. Папа ошибся: лакей не жалеет — боится. Великий папа, как и невеликие смертные, видит то, что хочется видеть, и наслаждается призраками.

Император стоит. Кругом — нетронутый снег. Император стоит, ноги засыпаны снегом, как подножья столбов.

Суд признает испытанье огнем: по воле бога невинный проходит невредимо сквозь пламя. Английский король Вильгельм-Гийом приказал испытать заподозренных в заговоре саксов. Каждый взял голый рукой раскаленное железо и не обжегся. «Они еще и обманщики, — сказал король, — это очень опасные люди», — и приказал всех повесить, и бог не вмешался.

Папа испытывает искренность раскаяния императора холодом.

Закрывшись за императором, ворота Каноссы не открываются весь день. Внизу, под холмом, в маленьком селенье скопляются приезжие. Вестники, посланные, посыльные, послы, свои, иностранцы — все ждут. Заняты все

дома, занимают конюшни, хлева, чердаки. Папа не принимает. В замке император Священной Римской империи ждет, пока папе не будет угодно вспомнить о грешнике, который стоит босой на снегу. Все остальные могут подождать.

Столбы торчат. Один из столбов — вон там — это Генрих. Бывший император. Ничто, никто не шевелится во дворе, все однообразно и тихо. Но зрелище притягивает, удивительное. Кто видел императоров, просящих милостыню, милость? Никто? А я видел Генриха!

Из бойниц, из-за зубцов стен не смотрят — подсматривают. Старый наемник подмигивает товарищу — их никто не услышит, но слова мельчат в таком деле. Может быть, нужно... И товарищ советуется с товарищем, делая короткий, выразительный жест. Вот так! А бог не хочет смерти грешника, как бормочут священники. А папа, может быть, хочет? Ты помнишь пленного графа... как его? Сеньи, Висконти?.. Забыл, да что в имени! Говорили, лошадь споткнулась под ним. Под каждым копытом неловкой лошади нашлось по кошельку золота для провожатых пленника... Залезть бы в голову папе! Хочет — не хочет, хочет — не хочет... Слушай, а Генрих не отомстит? Не знаю. Будь он итальянец или испанец... У этих тевтонов и норманнов холодная кровь. Гляди, снег ему нипочем. Северяне расчетливы. Такой голым побежит за короной на край света и будет жрать падаль. Тьфу!

А ты побегал бы? За короной? Конечно! Но торчать в снегу босиком... Видал я нищих, видал ошипанных пленников. Я боюсь холода, я не выдержал бы, как те, как он. Эх, схватить бы на старость кусок пожирнее и нырнуть рыбкой! Куда? Где ты найдешь место, чтоб на тебя не позарились! Ныне мир тесен, либо тебя, либо ты, и тихих уголков не осталось.

Папа работает. В Богемии служат по-славянски. Запретить. Только латинский, вечный, неизменный, священный. Миряне не понимают? Что нужно — поймут. Едина Церковь — один ее язык. Невежды более благоговяют перед непонятным. Нечего мирянам читать священное писание. От лжетолкований — ереси. Переводчики лгут по невежеству. И еще более лгут, когда стараются примерить сказанное пророками и апостолами к ничтожеству своего понимания. В Богемию послать легата. Не умеющих служить по-латыни обучать в монастырях. Упорствующих иереев расстричь. Злостных упрямцев отлучить от Церкви. И папа

Григорий терпеливо объясняет, что написать в послании и как.

Диакон, ведающий перепиской по делам догмы, человек высокоученый, старый, но память его свежа. Он помнит все с начала, с посланий апостольских, — от них пошло воплощение Церкви, — с решений первых вселенских соборов. Если память изменяет, диакон знает, где и когда было сказано, и говорит помощникам, где искать нужный текст. Иногда он возражает самому папе Григорию, они спорят, обсуждая, вдумываясь, ибо, увь, часто возможны и два, и три толкования.

Трудное дело: отцы церкви не утвердили вполне, что только латинский язык пригоден для богослужения. Это скорее обычай. Обычай может сделаться догмой? Может и должен, коль такое послужит на пользу Церкви. Папа и ученый диакон подбирают доказательства — для себя, ибо совесть законодателя должна быть спокойна, так как ее спокойствие свидетельствует о победе добра, об отступлении духа сомнений, духа зла — дьявола. Ибо *он*, всюду присутствующий враг бога, внушает переписчику ошибки, внушает переводчику ложное слово и толкователям — ереси.

И папа Григорий ощущает тень колосса. *Он* — тень. *Он* — в тени, куда не проходит свет истины. *Он* подобен черным пятнам, которые везде, где нет хода солнечным лучам. *Он* идет за богом, как ночь идет за днем. В пещерах, в лесах, в оврагах, в горных долинах, даже на плоском поле в полдень *он* укрывается за каждой травинкой. *Он* прячется. *Он* появляется из невидимого и овладевает пространством, как только ослабевает свет Истины. *Он* усиливается вечером и хочет господствовать ночью, когда слаб свет звезд и человек утомлен и отчаивается, и монахи выходят из келий и собираются на ночные моления, чтоб еще раз победить *его*, и побеждают. Но, побежденный, дьявол опять и опять возвращается, пока ангел не позовет на Страшный Суд, пока не остановится Время.

— Взгляни! — приказывает папа Григорий Седьмой. Короткий день угасает. Скрипит колодезный ворот. Столбы во дворе Каноссы похожи на людей. Человек обычного роста — воображение других людей делает его большим, — оставляя темные ямы в пухлом снегу, идет к воротам. Там, будто сама, открывается узкая калитка. И двор опустел.

— Ушел, — шепчет папе камерарий.

Императора Генриха нет, и двор кажется пустым, что нелепо: один человек, даже если он император, не может

наполнить пространство, где хватит места для пятисот всадников. Нелепо. Так чувственный мир обманывает человека мечтами и сновидениями наяву.

Ночь. Снег прекратился, вывездило, морозит по-настоящему. Подъемный мост подтянут, между воротами и миром — пропасть рва.

На башнях сменили стражу, между башнями по верху стен ходят дозоры. Глубокая вода во рву подернулась тоненькой пленкой. Каносса неприступна и с сухим рвом. Но в ней папа, а внизу Генрих, отлученный от церкви, то есть отданный дьяволу. И это, вопреки опыту, вопреки воинскому мастерству, заставляет тревожиться начальника папской охраны. Дьявол силен, он может наделить предавшихся ему способностью летать, это известно. Налет врагов папы, бесшумных, как вампиры! Начальник охраны выпался днем — заложник был в руках. Ночью он бодрствует с крестом против козней дьявола, с мечом — против злобы людей.

Маленький священник в меховых сапожках, в подбитой мехом рясе сидит у изголовья папской кровати. Брат Бартоломей, духовник папы Григория Седьмого, как сам Григорий Седьмой, тогда еще Гильдебранд, был духовником папы Григория Шестого. Не так, конечно! Гильдебранд был владыкой разума того папы, Бартоломей же тихо врачует совесть этого. Они давние друзья, старый монах любит стареющего папу, нужно кому-то и любить, не всем же его бояться. Бартоломей не судья в делах церкви, духовной империи, которую папа хочет сделать и светской империей, и не судит об этом, хоть папа лишь о том и говорит. Нужно и ему, хоть он папа, поговорить обо всем по-просту, не примеряя каждое слово, как ювелир примеряет колечко к колечку цепочки. Все равно, как решит бог, так и будет.

Брату Бартоломею исполнилось семьдесят пять лет, когда они с папой ехали в Каноссу, а вспомнил он только сегодня, ибо суета все на свете, кроме совести человеческой. Разве много — семьдесят пять? Прадед еще в поле мог работать, когда Бартоломей в Рим ушел. А прадеду, думать надо, было тогда под сто лет. Говаривал он — славянская кость что железо. Побили потом всех их во время войны. Какой — забылось уже, много воюют-то.

Молодым человеком придя в Рим с богемскими паломниками, Бартоломей восхитился благолепием храмов и богослужения. Послушником он трудился богу в монастыре черной работой, принял пострижение, учился, был посвя-

щен в сан священника, за красивый почерк был взят в папскую канцелярию еще при Бенедикте Девятом. Пославянски имя это можно понять как Сладкогласный, Добровещательный, но тот, Девятый, был истинно козлом в огороде. А ведь давно то было, полста лет прошло. Идет время, идет.

При папе Льве Девятом кардинал Гильдебранд за тот же почерк приблизил к себе Бартоломея, но вскоре решил: «Тебе, отче, не быть писцом, а быть духовником моим. Хочешь? Согласен?» И дал на размышление день — всегда Гильдебранд был пылкий, но тогда-то старался рдьяные угли от чужих глаз покрыть серым пеплом смирения. Бартоломей согласился: души людские проще и чище, чем измышления разума, облекаемые черной плотью писанных букв. Так и живут они с папой вместе всё, вместе.

Тяжело ему, папе, много его обманывали и в большом и в малом. Бартоломей недавно сказал: «Я в тебе не ошибся, ни разу меня ты не предал». При его-то уме такое подумать! А все от обид. Берет на себя много, торопится, будто при жизни можно все завершить. С другими стал меньше советоваться, сам все да сам. И все-то, везде-то стал у него дьявол. До богомилства доходит. Пришлось епитимью наложить — сто раз утром и вечером повторять: все от бога.

В юности у себя в Богемии Бартоломей лешего видел, слышал, как домовый в подполе возится, проказит в хлеву. Перекрестись — и нет ничего, тоже ведь в божьей воле они, как и дьявол, мал он против креста.

Вздвогнув, папа Григорий говорит во сне, быстро, несвязно. Бартоломей слышит: «...козни... дьявол... измена». Духовник кладет на лоб папы подсохшую старчески, но крепкую руку. «Чур тебя, чур, спи, спи с богом, — приказывает он, и папа успокаивается. — Спи, спи, — повторяет Бартоломей и читает молитву господню по-своему, много раз повторяя: — Да сбудется воля твоя, да сбудется, да сбудется...». Вслушивается: папа дышит спокойно. И уходит в маленькую комнатку рядом — они с папой везде спят близко, — и сам засыпает, зная — до утра все будет тихо.

Утро. Второй день. Император стоит, ждет. Короткий день пасмурен, бесконечен. Вечер, и калитка выпускает Генриха на волю, живого, но не прощенного. И ночь тревоги, и смута в сердцах, и нет иного шума, кроме зимнего ветра и скрипа ставни на ветру.

Внизу, в селенье, шум, пьяный крик охраны и слуг прибывших к папе послов, посланников, вестников. Тесно и холодно — люди греются вином. Наставлены палатки, горят костры, так как приезжие не умещаются в двух десятках домиков, домишек, лачуг. И уже делают большие дела трое ловких торговцев съестным и хмельным, которые, пронюхав наживу, сумели прибыть первыми — за ними тянутся другие.

Третий день. Живой столб во дворе замка так же неподвижен и так же упорен, как вкопанные бревна других столбов.

Папа работает, дел ему хватит на три жизни. Он уже не посылает взглянуть на императора Генриха Четвертого, превращенного в столб волей наместника апостола Петра, принявшего в Риме венец мученичества за веру по приказу самого Христа.

Нет человека, кто не знал бы, как было. Смущенный преследованиями язычников, Петр тайно покинул Рим, боясь не за себя, но за молодую, слабую Церковь, которую его смерть оставит обезглавленной. За городскими стенами Петр встретил Христа и, растерявшись, спросил: «Куда ты идешь, господин?» — «В Рим, который брошен тобою», — ответил Христос и исчез, а Петр вернулся и был казнен, потому что зерно, упав в землю, должно умереть, дабы дать много плодов.

Кто здесь, в Каноссе, зерно? Папа, который может немочь под тяжестью ноши? Император Генрих, которого холод может замучить до смерти? Где истина? И где ложь? Стаи голодных ворон мрачны, как бесовские полчища. На небе нет знамений.

«Ты знаешь, когда трясется земля?» — спрашивает наемный солдат. «Когда дьявол хохочет в преисподней», — отвечает товарищ. Кто ж не знает того! Но ни вчера, ни сегодня они уже не собирались, услужив папе Григорию тонким стилетом, заработать себе на безбедную старость. Они прислушиваются, им показалось, что замок чуть дрогнул. Если дьявол захохочет погромче, как однажды случилось в Мессине, Каносса превратится в кучу камней и всех раздавит, как мух, набившихся в горшок из-под меда. Уйти бы на чистое место! Но выход закрыт и будет закрыт для всех, кроме императора Генриха, если папа до вечера ничего не решит. Дьявольские шутки... И, говорит, уже не осталось вина. Дьявол ждет, притаившись. Папа ничего не решил, и Генрих уходит, и Каносса замыкается, неприступная, вечная. А вдруг она развалится

сама? Стены крепки? Да ведь стоят-то они на земле. То-то...

Император Священной Римской империи германской нации в третий раз слышит, как сзади него натужно натягиваются тяжи железных цепей. Усилие нарастает, с треском отрывается примерзший конец перекидного моста. Неровно работают ворота, издавая рваный, скрежещущий ропот. Удар — мост вошел в пазы и чуть осел вниз. Теперь ворота прикрылись вторыми воротами и низ моста смотрит наружу. Нет, он нагло выпячивает бронированное железными дисками, усеянное шипами грязное брюхо, ржавое, мерзкое, в подтеках ржавчины, конской мочи. Смотрит! Он слеп, как люди, как толпа, как империя, как бог этого папы.

Генрих идет медленно, откинув голову с длинными, до плеч, волосами. Он застыл, окоченел, плохо чувствует тело, но оно слушается, ноги гнутся, гнутся и пальцы. Он не спотыкается.

Сколько-то лет тому назад он купил для жены браслеты и ожерелье необычайного вида, но красивые. Русский купец говорил, что эти вещи доставлены из стран, находящихся к востоку на удалении более чем трех сотен дней пути, считая непрерывное движение по ровной дороге, как принято для неизмеренных расстояний. Там люди желтокожие, язычники, они беспредельно чтут особенных людей — святых, как там их называют. Они ходят зимой босые, едва одеты, и зимой одолевают пустыни, а морозы в тех странах таковы, что плевок превращается в лед, прежде чем упасть на землю. Христианские святые были способны на такое же. Как видно, желтые люди не так уж далеки от истинного бога. Три дня Генрих молится небу, три дня немо взывает: «Я могу, я хочу, помоги, я могу».

Он спускается по дороге, по собственной, ибо три дня здесь он ходит один, и нет дороги — есть его следы в талом снегу. Святой? Как христианские, как желтокожие?

Внизу его встречают свои — всадники, пешие. Закрытые носилки, внутри мягко, тепло. Генрих отказывается, как вчера, как в первый день. Он так решил. Он кается. И никто никогда не посмеет сказать: император прятался в носилках, как женщина, когда папа выпускал его за ворота, и дрожал, как собака. Нет!

Император идет. Всадники сдерживают застоявшихся лошадей, лошади горячатся, храпят, становятся на дыбы, из ноздрей бьет пар. Перед селеньем все, кто съехался, все, кто ждет приема у папы, выстроились по сторонам до-

роги. Император идет один впереди свиты, и все молчат и тянут шеи, стараясь рассмотреть лицо императора, одетого в мешок, но сумерки сгустились, лица не видно. Селенье — одна улица. Люди жмутся к домам. Такое не увидишь и в тысячу лет. Хвастаться будут потом. Сейчас, как вчера, как третьего дня, молчат, многие крестятся. Почему? Не знают.

Жена императора сама врачует жалкие ноги. Кожа в трещинах, сочится темная кровь, осторожнее, осторожнее.

Как многих знатных девушек, Евпраксию, дочь князя Всеволода, умили уходу за больными, ранеными. У нее две мази. Эта жжет, но так нужно. Еще чуть-чуть, еще. Она стирает мазь и накладывает другую, густую, подогретую. Сейчас ему лучше. И еще потерпи, еще. Теперь хорошо. Евпраксия разговаривает с мужем беззвучно, мысленно, бинтуя его ноги до колен. За ночь кожа станет сильнее, трещины закроются. Очень хорошо, что сейчас такие длинные ночи.

Она умывает Генриха, кормит и поит, помогая, как мать. Он бывал груб, зол, он изменял ей. Дурно изменял, из прихоти, по небрежности, по нечистоплотности. Они были уже чужими, когда случилось несчастье. Она пришла к нему, простила, он, пав духом, схватился за нее, как утопающий. Она лечит тело. А душа? Сейчас она лечит его душу молчаньем. Вот уже три дня, как между ними не было сказано ни слова. Евпраксии кажется, что это молчанье дает ему больше, чем дали б слова. Но папе она не верит, а он — верит.

Четвертый день. Ритуал так же точен, как месса, по-гречески — литургия, по-русски — обедня, богослужение, которое может совершаться в одном месте и на одном алтаре лишь раз в сутки. И во исполнение обряда, творимого папой и императором, утром, когда сумрак редет и черное перестает быть только черным, а снег только белым, Генрих подходит к замку, и, качнувшись, разрывая лед в пазах, перед императором клонится чудовище подъемного моста, опускается и, задержавшись на последней четверти хода, падает, чтоб раздавить ночной лед и лечь ровно.

Но сегодня открыта не узкая калитка, а ворота, в которые может проехать телега или три всадника рядом. Император, маленький человек, проходит через темную дыру в каменной толще и ступает опухшими ногами не на снег, а на мягкий ковер. Человека, одетого в мешок, ведут под ру-

ки по коврам два папских сановника в расшитых одеждах, впереди шествуют духовные в златотканых ризах, а сзади его провожают рыцари, вассалы святейшего престола.

Ковры на лестницах. Дорога из ковров ведет в замковый храм. Герцогиня Матильда, сеньор Каноссы, вернейшая почитательница папы, богата, и ковры, привезенные купцами из таких удивительных стран Азии, что названия их не выговорить христианину, тоже богаты.

Папа ждет Генриха в исповедальне. Наместник апостола Петра выслушивает исповедь грешного императора и сам говорит — ведь каждый грешен, — и Генрих открывает душу, как перед богом, искренне, смело, и так же искренне папа отпускает грехи, благословляет именем бога. Папа сам служит мессу и причащает императора, а дьявол, изгнанный из Каноссы, отступает в леса. И колокольный благовест, как на пасху, разливается над Каноссой, втекает в селенье. Они примирились, император прощен! Все рады — мир. Те, кому предстояло в Италии и в Германии умереть от железа, теперь умрут, может быть, в свой час, то есть не от меча.

Удалив всех, императрица Евпраксия плачет. От радости, наверное, от радости. Страшное время сблизило их. Но сейчас что-то разорвалось. Не обвиняя его, она спрашивает: «А любила ли я его?» И впервые она вспоминает братьев, отца, дядей, дедов: «А они вынесли бы такое, как Генрих? Не холод, не мешок, но другое, что он вытерпел ради короны...»

Счастливым был бы человек, умеющий не думать о будущем, умеющий не бояться заранее, избегающий населять сумеречную глубину еще не существующего завтра возможными бедами. Может быть, оно, еще не рожденное, алчно, может быть, эта пустота податлива? И, наполняя ее призраками бед, человек помогает этим бедам воплотиться?

После мессы папа и император, в духе отец и сын, беседуют наедине. Недолго — исповедь была длинной, они поняли друг друга, и то небольшое, что оставалось, не требовало многих слов: долгие речи для тех, кто не хочет согласия. Император подписывает условия. Люди смертны, договор заключается не между Генрихом и Григорием, а между Церковью и империей. Из Каноссы Генрих унес покаянное рубище. Дар папы.

Воспрянув в Каноссе, Генрих стал прежним. Он не был дорог Евпраксии, она не была ему нужна. По ней — корона империи не стоила унижений, для него покаяние было

победой. Они расстались спокойно. Евпраксия вернулась на Русь. Потом в раздражении Генрих сочинил какую-то обидную басню о своей бывшей жене...

После Каноссы мир длился в Германии короткие дни. Генрих не успел вернуться из Италии, как имперские князья-электоры выбрали нового императора. Но другие князья-электоры сохранили верность Генриху. Империи довелось воевать два года. Антиимператор Рудольф Швабский был смертельно ранен в схватке под Цейтцом, и его сторонники смирились. Германия изменилась к Генриху Четвертому. Даже епископы и приоры, князья Церкви, сочли за благо платить пошлины императору, а не папе. Деньги, оставшись в Германии, опустятся к земледельцу, к ремесленнику, чтобы опять подняться вверх, к сюзерену через руки сеньоров, насыщая на пути всех. Иноземный сюзерен папа раздаст чужим германские деньги.

Папа вновь отлучил от Церкви Генриха Четвертого. Но германские епископы не сдались. Съехавшись на собор, они объявили Григория Седьмого низложенным и выбрали нового папу, Климента Третьего. Так слова клятв и договоров Каноссы, искренние в свои дни, облетели, подобно осенним листьям. Но те дают живительный перегной, слова же, к счастью, истлевают невидимо, иначе их хрупкие ворохи, вытеснив воду морей и океанов, создали бы новый всемирный потоп.

Два года норманны, вассалы папы, пытались завоевать Восточную империю. На третий год они потерпели решительную неудачу: дело папы Григория Седьмого рушилось здесь так же, как и в Германии. Греки заключили союз с Генрихом Четвертым, дали ему денег. Император вступил в Италию, дошел до норманской Апулии и повернул на Рим. Папа Григорий заперся в замке святого Ангела, а папа Климент Третий короновал Генриха в древней базилике, где находится гробница апостола Петра.

Гискар, собрав сорок тысяч войска, пошел к Риму спасти своего сюзерена Григория. Генрих Четвертый отошел к северу. Гискар штурмом взял Рим. Вечный Город был разграблен и сожжен, как при вандалах, при Аларихе, как в годы Юстиниана Первого.

Говорят, что папа Григорий с негодованьем взирал с высот неприступных твердынь замка Ангела на буйный, ненавидящий его Рим, который праздновал торжество императора Генриха и антипапы Климента.

Говорят, что, глядя с тех же высот на Рим, уничтожавший и сам себя уничтожавший в безнадежном сопротивле-

нии Гискару, папа Григорий плакал. Конечно, смотрел, конечно, все видел, и горсвал, и, взвешивая события на зыбких весах совести, нагружал золотую чашу добра своими благими желаньями, чтобы она перевесила черную чашу действительности. Добился ли внутренней победы Григорий — Гильдебранд — Пожар войны?

Папские владенья были опустошены, обезлюдели. Оставшиеся в живых подданные ненавидели владыку. Злоба тлела в свежих развалинах Великого Города.

Старый исполин Гискар отвез папу в Солерно. Папа вязал и разрешал, писал, подписывал, рассылал послания, приказы, воззвания, посылал разведчиков, лазутчиков, посланников, послов. Не давая пощады себе, он чинил, надвизывал, латал сечь — так нищий рыбак корпит над обрывками невода, в котором резвилась дельфинья стая.

Каносса была вершиной. После Каноссы начался распад. Или в Каноссе совершилась ошибка? Нет. Генрих был так светел в искреннем подвиге покаяния, был добр, честен. Папа не ошибся, не ошибался. Это дьявол соблазнил Германию, Генриха, германских епископов, монахов, владельцев, весь народ. Дьявол! Враг бога! Враг рода человеческого. Отец лжи.

Брат Бартоломей ужасался мыслям своего духовного сына:

— Дьявол мал, дьявол ничтожен, он вор. Не нужно! Именем милосердного бога запрещаю тебе!!!

Запрещал, отпускал грех возведенья в могущество дьявольского ничтожества, а папа Григорий опять и опять возвращался на путь заблуждений.

— О боге думай, о боге! — бессильно требовал брат Бартоломей.

Папа спорил. Он спорил на исповеди, совершая новый грех — неповиновение духовнику, и дьявол, подслушивая, корчился в немом смехе: власть, власть земная, это покрепче райского яблока!

Брат Бартоломей угас незаметно, будто уснул, во время не то спора, не то исповеди папы Григория, а папа продолжал говорить, обличая великие козни дьявола, пока наконец не заметил, что все кончилось, что напрасно он нарушает покой усопшего духовника, друга, брата, последней опоры.

Через пять дней папа Григорий Седьмой, подписывая новое послание, упал головой на стол, и приподнялся, борясь и ловя перо, и откинулся, захрипев, и было дано ему

отпущенье, как умирающему, и слова отпущенья замолкли с последним толчком изменившего сердца.

Есть предание. Некто, закрыв лицо капюшоном, стоял у гроба великого папы. Его хотели удалить, но руки не поднялись и языки онемели. Пламя свечей стало синим, как в подземельях, дым ладана сгустился, и псвчис умолкли. Потом вдруг все стало обычным, но, как исчез прищелец, никто не заметил. Остались два следа, вплавленных в камень и похожих на отпечатки копыт. Плиту заменили.

Восточные христиане долго, мучительно, гневно спорили о догматах веры. Лжетолкование — ересь, ведущая в ад — империю дьявола. Дьявол некогда восстал против бога, был низвержен и заточен в аду навечно — до известного только богу дня Страшного Суда.

На Западе многие верили: в тысячном году по рождестве Христа завершится судьба мира. Время остановится, небо разверзнется, и бог призовет людей на Страшный Суд. Ужас сплетался с надеждой: труд и борьба станут не нужны, падет бремя метаний души и голода тела, никто не будет терпеть до последнего вздоха и умирать в одиночку. Умрем все сразу, и все вместе восстанем перед богом, и каждому будет оказана справедливость по делам его.

Пришел тысячный год. И прошел. И не изменилось ничто. Знамения обманули, провозвестники солгали. Путь человека идет в бесконечность, непостижимую, ужасающую.

Бог отдалился. Слово папской Церкви все явственней, все возмутительней разрывается с делом. Пропасть ширится, и дьявол, сломив печати на вратах преисподней, является людям в свете дня.

Нет божьего храма, который обошелся бы без изображений дьявола; неверие в него — такой же смертный грех, как отрицание бога, и враг легко облещается плотью, усиливается, смелест. Нарядившись монахом, он ходит по дорогам. Он сидит на церковных крышах, не стесняясь соседства с крестом. Иной раз, забавляясь, он мечет камни в храмы, да так, что разбивает колокола.

Сеньоры гнут подданных, как корзинщик лозу. Сопротивление невозможно, молитва бессильна. Слабый бормочет:

— Хорошо, я согнусь и буду глядеть вниз. Там, как меня научили священники, сидит дьявол. И пока священник читает слова, которых я не понимаю, я попробую до-

говориться с дьяволом. Он требует душу? У меня пепел вместо души, не жалко отдать. Зато он научит меня пользоваться тайными силами растений и камней, я буду лечить себя, и моих, и скотину...

Слабый повышает голос:

— Священник учит меня терпеть, вздыхать и молчать. А он, дьявол, любит смех. Он сам развлекается и развлекает людей. Он может дать мне богатство. И подарит амулет, чтоб каждая женщина, какую захочу, стала моей! Хочу жену сеньора, его мать, дочерей! Я на земле жить хочу! Здесь! Сейчас!

Слабый кричит:

— Ведь на меня никто и смотреть не хочет! Сеньор силой опозорил мою жену. Смеются же надо мной — рогац! Меня бьют и надо мной же издеваются — битый! Когда меня повесят, все будут кататься со смеху: какую рожу скорчил этот урод! Над кем потешаются наши сказки? Надо мной! Все против меня. Хорошо же, дождетесь! Мой дед пахал. Из борозды вылез карлик и спросил: «Хочешь, я укажу тебе клад?» Старый пес с испуга перекрестился, будь он проклят, и карлик исчез. Я бы не упустил случая. Эй! Кто купит христианскую душу? Где ты, друг-дьявол?

Вестер выкатывает луну из-за облаков, и прячет, и вновь обнажает: играют... Добрая ночь — света достаточно, чтобы не сбиться, тени хватит, чтоб спрятаться. Днем опасно ходить по дорогам, даже работать в поле небезопасно.

— Наш сеньор-норманн зовет нас волками. Походя обижает, увечит. Может убить так просто, для забавы. Помосму, нелепо портить свое имущество, не правда ли?

— Поменьше рассуждай, побольше оглядывайся. Они и друг другу-то не дают пощады — папа, норманны, германцы, рыцари. Ночь — вот наш день.

— Да, ночью спокойно, они спят. Вот мы и пришли. Здесь был город Кумы. Какие деревья, какая трава! Земля здесь жирна.

— Вот и каменный человек. Утонул в земле. Его ноги, наверное, обвиты корнями.

— Да, ему не подняться. Глаза-то открыты. Он смотрит? Доброй ночи тебе, каменный, доброй ночи!

— Не счесть, сколько ему когда-то таскали даров. Цветы, вино, мясо, хлеб. Выпускали перед ним голубей.

— Смешное было время. Я сам бы все съел, ух!

Перед изваянием Аполлона, ушедшего в землю до пояса, старухи зажигают маленькие свечи и заклинают луну,

называя ее Дианомой. Каменное лицо красиво, от такого не откажется ни мужчина, ни женщина. Сегодня ночь на первый день мая, день Венус.

— Венус — мужчина или женщина?

— Не знаю. Кажется, когда имя так оканчивается, оно мужское.

— На каком же это языке?

— Не знаю... Кажется, на том, на котором служат мессу.

Бегут арлекины в черных масках и делают вид, что ловят людей. Визг, смех, радостные возгласы. У кого есть вино, те успели немного выпить. В меру, в меру, чтоб не лишиться себя праздника. В эту ночь замки спят крепко, люди свободны.

Взгляните на луну — близка полночь. Несколько человек собираются вдали от остальных. Здесь особенное место, от источника теплой воды пахнет серой — добрый запах для тех, кто понимает. Каменные желоба разбиты, бассейн треснул, вода собирается на дне, там глубоко и кто-то плещется. Не страшно — человека там не может быть.

Пробираются узкой тропинкой через чащу. Впереди кто-то шумно срывается с места. Прыжок, еще прыжок, трещат ветки. Для оленя слишком тяжело. Одиравший бык или лошадь. Домашние животные, убежав от ярма, быстро научаются обходиться без хозяев. Людям труднее устроиться.

Останавливаются на широкой поляне перед темным входом. Что это? Пещера? Скорее грот. Вот лежат камни, которые вырвались из тисков обветшавшего свода. Темнота во мраке, запустенье в пустыне. Здесь, в глубине, сидела Сивилла. Там колодец Истины.

— Нет, там бездонная щель, откуда поднимался он.

— Не спорьте. Было и то, и другое. Земля зарастила отверстие. Но для дьявола нет преград. Сам папа Григорий так говорил.

— Ха! Это тебе, мужлан, он сказал?

— Ты дурак! Двоюродный брат жены друга одного человека служил у папы лакеем. Он слышал своими ушами.

Им страшно, они не прочь поболтать, чтоб оттянуть время. Кто-то вмешивается:

— Довольно! Сочтемся! Два десятка и восемь. Четыре раза по семь — хорошее число!

Крепко хватаются за руки и смыкают цепь. Бегут по кругу, справа налево, против солнца. Земля здесь утоптана, как пол.

Некоторые в масках, некоторые вычернили себе лица. Никого не узнать, тайна соблюдается строго.

В пещере, в гроте, мелькнул огонек. Бегут еще быстрее, еще! Руки спаялись, как клещи, ноги несут с такой силой, что живая цепь выворачивается наружу, но не рвется, нет!

Кажется, земля уже внизу. Волосы встают дыбом, сыплются искры. Быстрее, быстрее, летим!

В пещере блещет синяя молния. Удар грома! Цепь разрывается. Явным чудом все остаются на ногах. Каждый вертится сам на месте. Раздается протяжный свист. Стойте все: *он* явился!

Каждый ясно видит *его*. *Он* высок и худ. *Он* призмист, кривоног. У *него* козлиная голова. У *него* человеческая голова. *Он* бородат. Безбород. Лоб гладкий. Шишковатый. С рогами. Без рогов.

Он не урод. *Он* другой, во всем противоположный своему Сопернику. Пусть *он* является каждому разным, *он* друг-дьявол.

Зажигают свечи черного воска. Их держат огнем вниз — все здесь нужно делать наоборот. Залившись воском, фитили едва тлеют. Луна останавливается и прыгает назад — чтобы хватило ночи. Дьявол беседует сразу со всеми, но с каждым наедине. Все согласны в том, что голос у *него* приятный, мужской, но и женский одновременно. *Он* даст советы, общается помочь, объясняет, открывает тайны...

Повернувшись спиной, *он* нагибается. Ниже спины у *него* человеческое лицо. С *ним* прощаются, целуя это лицо.

Темнота меркнет, редая. Луна побледнела. Пора. Расходясь, поют нарочито нестройно:

Мы такие же люди, как норманский сеньор.
Такие же мужчины и женщины, как господа
в замках.

У нас такие же желудки и кровь.
И нам так же больно, как им.

Дьявол не нуждался в славословиях.

Все устали, но не слишком, и оживлены. Перебрасываются:

— Говорят, в Палестине *он* звался Легион и был такой маленький, что мог поместиться в свинье.

— Видали, как *он* вырос!

— *Он* умен и весел, с *ним* легко.

— Он будет и дальше расти.

— Ты знаешь? Сейчас с нами были два благородных рыцаря!

— Им-то *он* к чему? *Он* наш!

— Э-э, ты одурел от голода! Набив брюхо досыта, ты, что ж, будешь навечно доволен? У каждого свой голод.

— Мстко! Что рыцари! Сам император сосал грязь, три дня он валялся у папы в ногах.

— А правда ли, что он сдох, проклятый папа Григорий, который навел германцев на Италию и сжег Рим?

— Кажется, что так. Будет другой, нам-то что! Был и я глуп. Теперь и у меня есть надежда — дьявол.

— И у меня! Прощай!

— Прощай! Бежим по домам!

Под жерновами войны всех против всех, в хаосе лжи, когда не поймешь, где — верх, где — низ, что — правда, что — ложь, совершилось необычайнейшее открытие: нашлись способы общения с Дьяволом — полезным союзником.

Открыватели понимали: сделка страшная, ставка последняя. И они уверились, что ничего другого, хоть на маковое зерно лучшего, для них нет.

Кто они? Никто. Еще раз — никто и ничто. Какой они нации, какого народа? Никакой. Никакого. Но ведь они умеют говорить, их речь не потеряна. Да, в них теплится потускневшее слово, чтоб кое-как изъяснить потребности тела, выразить каждодневную волю плоти. Ибо их преданья разорваны, могилы отцов распаханы либо просто затоптаны, имена предков забыты либо оплеваны, воспоминанья осмеяны, огажены, стерты. Связей нет, счет родства прекращен. Одиночество. Каждый сам за себя: нива дьявола.

Когда жгут, убивают, пожирают животных, не останется ничего. Род человеческий — особенный род. Когда жгут, убивают, пожирают людей, превратив их в орудия, в животных, в удобрение почвы, нечто всегда останется. Осадок. Сплав. Стылая лава бедствий. Дьявол приходит ее растопить. Или совсем заморозить, что равносильно кипенью. Только посредственность поистине смертна, ибо в ней не нуждаются ни дьявол, ни бог.

В Переяславле, в верхней светлице — хранилище книг, боярин Андрей принимал гостя — своего князя-друга Владимира Мономаха.

— Вот весть из Италии, — рассказывал Андрей. — Там открылась новая ересь, достойная удивления. Появились люди, которые отвернулись от Христа и тайно поклоняются демону.

— Такое заблуждение нельзя назвать ни ересью, ни схизмой, — возразил Мономах. — Еретики признают Христа, заповеди, евангелия, апостольские послания. Но они оспаривают каноны и установления вселенских соборов. Не болгарское ли богомилство проникло в Италию?

— Нет, — возразил Андрей, — богомилы в отчаянии сочли видимый чувствами мир твореньем демона, согласившись между собой принимать за божье творенье только духовный мир. Но самому демону они отнюдь не поклоняются. Те итальянцы, о которых речь идет, именно-то и поклоняются демону, от Христа же они совсем отсклись.

— Достоверно ли такое? — усомнился Мономах. — Подобное мне видится лишенным смысла вполне. Бесничтожен, смешон. Может быть, там людей, сохранивших старую эллинскую веру, вновь начали ругать дьяволопоклонниками? Такое папское темное злобствование возможно! Есть же и у нас на Руси люди, которые по заблуждению никак не отстанут от старой веры. Наши духовные их тоже пугают дьяволом. Но разве они поклоняются дьяволу! Разве мой прапрадед Святослав, разве предки наши были дьяволослужители!

Разгоревшись, Мономах ударил по столу и встал, озираясь, как богатырь на бранном поле. Будто бы сейчас явится кто-то, осмелившийся очернить былую Русь! Выждав, боярин Андрей продолжал:

— Недавно вернулся Яромир Рсдька. Он по своим делам добрался до Неаполя. Тамошний епископ анафемствовал дьяволопоклонников по торжественному чину. Яромир привез список епископского слова.

Прочтя рукопись, Мономах с сомненьем сказал:

— Смутно все — имен здесь нет. Кого же отлучали от церкви, анафемствовали? Ветер? И стрелы свои неапольский список мечет в воздух, и заблужденье, коль оно есть, жалости достойно.

— Я давал читать список епископу нашему Ефрему, — возразил Андрей. — Пресвященный находит, что оный дым не без огня веет: неапольский епископ осведомлен был от духовников, принимавших исповеди. Не имея надежной уверенности, тот епископ не стал бы ни уличать обряды дьяволопоклонников, ни анафемствовать. Имена не названы во избежание смертного греха нарушения исповедной

тайны. И еще преосвященный Ефрем говорил мне, что неапольский епископ не стал бы делать на свой страх, без указа от папской курии.

— Сами латиняне чрезмерно много твердят о дьяволе, — с укором сказал Мономах. — И комариный укус так расчесать можно, что прикинется злая болячка...

Князь опять вспыхнул:

— Что до меня, то я, как все князья, как отцы наши, не допущу насилия над заблуждающимся, не допущу гонений на иноверных. Христос мне свидетель, он же милости просит, а не жертвы! Волхва-изувера, явно принесящего людям вред, буду, как и было, наказывать, как разбойника за преступное дело, но не за веру его!

Сразу справившись с гневом, как он умел, Мономах сказал тихо, будто бы не было волнения:

— С Редькой сам еще побеседую и сам поблагодарю. А из книг привез ли он что?

Друзья занялись делом, которое оба любили.



ГЛАВА ПЯТАЯ



КРЕПЧЕ ВСТАНЬ В СТРЕМЯ

По шерстке и кличка — среди других рек днепровского левобережья более всех вертка, непоседлива река Сула, более всех наделала она извилин, поворотов. Не будь правый берег крут, Сула давно уж доюлила бы до Супоя. Много ль тут! Прямым путем, по птичьей дорожке, ста верст не наберешь, а время у Сулы не считано. Может быть, правый берег Сулы оттого и крут, что в него она бьется? Или, по-иному, Сула, как некоторые, ищет спора с сильным? Так ли, иначе ли, свой левый берег, низменный, Сула в разливы захватывает на многие версты, без спора заливая мутной водой его ровные глади, и стоит мирно. А в правый бьет... Где ж мир-то?

Коль взять шире, то у всех рек, текущих по Переяславльской земле, есть общее: правый берег крут, левый — отлогий. Трубеж, Супой, Сула, Псел, Ворскла, Орель смотрят на восток ступенями. С Руси гладко, со Степи круто. Поэтому русские города-крепости, за малым исключением, которое можно не замечать, стоят на правых, крутых берегах.

Верстах в десяти вверх по Суле от сулинского притока Удая устроилась крепость Кснятин. Считается — и так записано в летописях, — что место избрано было Владимиром Святославичем, постройку крепости заканчивал Ярослав Владимирч. Второе бесспорно, ибо любую крепость стараются закончить, в том никогда не успевая: всегда хочется что-то добавить.

В середине крепостного места, на легком всхолмлении, на пупу, воздвигнут храм имени Константина, как русские книжные люди произносят имя святого. В просторечии имя переделали в Кснятин и вернули его книжникам как название крепости.

Храм невелик, зато звонница поднята в четыре яруса, каждый ярус сажени две с лишком. Сверху и звон далеко расплывается, и видно далёко...

Верст на сто. Зависит от воздуха. Человек с острым зрением весной в ясное утро видит на юго-западе блеск днепровского разлива. Лубенская крепость кажется близкой — до нее всего двадцать верст. Лукомль хуже различается — до него пятьдесят.

Когда в тихий осенний день в небе над Кснятином тянет-идет к югу лебединая семья, до усталости смотришь, как медленно машут птицы тяжелыми крыльями и никак не могут уйти из твоих глаз. Ты еще долго различаешь в четверке стариков от молодых по цвету пера. Они ростом сравнялись с родителями, но нет той белизны. То ли не вытерся ребяческий пух, то ли себя не умеют соблюдать. Так у людей: зелен виноград — не вкусен, млад человек — не искусен.

— Так-то, друг-брат, сторожу Кснятин, наместничаю пятнадцатый год, — говорил старый дружинник боярин Стрига своему гостю. — Я здесь всем и князь, и слуга. Со свосй колокольни гляжу — сам убедился, с нсе многое видно. А? Не жалуюсь, нет. Князь наш Владимир Мономах меня держит. Я ему нужен. Он жаден до людей. Я держусь за него и буду держаться. Он любит княжеский труд и храбр. — Стрига усмехнулся: — Не скучай, нам, старикам, вольно твердить все одно да одно. Слова дешевы. А

вон там, — боярин Стрига указал на восток, — Голтва на Псле. Место крепкое, но у Степи оно село на губах. Еще дальше, верстах в пятидесяти от Голтвы, — Лтава. Лтавские прилипли на степных зубах. Там, за Лтавой, через сто двадцать верст прилепился крепкий Донец! Можно сказать, сам лезет Степи в горло. Однако там люди живут, землю пахут, скотину держат, богу молятся и деток плодят. Чем же держатся? Храбростью. Скажем — до случая? Верно. Но вечная жизнь этому не суждена! — Стрига ударил себя в грудь кулаком. — Как попы называют — гроб повапленный?

Спускались крутыми лестницами с площадки одного яруса на другой. Ни одна ступенька не скрипнула. Все здесь тяжелое, прочное. Не звонница — башня. Собрана из толстого дубового бруса, стены изнутри раскреплены крестовинами, поперечными связями, окна узкие, с толстыми ставнями. Есть где отбиваться. Могут поджечь. Потрудятся зажигатели. Не в соломенную крышу горящие стрелы метать. А греческого огня степняки с собою не таскают.

С каждым ярусом в окнах-бойницах сужался широкий свет. Вышли из звонницы — и совсем стало узко. Вал закрыл весь мир тесным окоемом острозубого палисада.

Княтинский храм невелик, низок, но тяжел, как звонница. И, как в звонницу, в него не сразу войдешь, если будешь ломиться насильно.

Есть же земля, где забор ставят лишь для того, чтобы не лезла скотина в огород, где дома — чтоб укрыться от непогоды, звонница — чтобы звонить, храм — чтобы молиться... Или нет такой земли?

Снаружи Княтин красив, но странной красотою: крутой вал, на валу палисад с острыми палями, и в небе торчит, как перст, башня-звонница. Крыш не видно. Подумась: и где только люди не живут?.. Таков замысел, так место позволило. Внутри не слишком тесно, но и не просторно. От северных ворот к восточным проложена улица, проложены дороги. В середине, вокруг храма и звонницы, площаденка. От нее отходят переулки, утыкаясь в вал. Короткие, здесь не разбежишься. Все плотно заставлено жилищами да складами, кто как сумел, так и поставил, прилаживая к жилью конюшни, загоны для скотины. Соломенных и камышовых крыш нет, пусть они теплы, дешевы и удобны. За крышами боярин Стрига смотрит, и, хоть народ вольница, никто боярина не переволил.

Стрига водил гостя, тридцатилетнего дружинника переславльского князя Мономаха, поглядеть на крепостное хозяйство.

Князь Владимир Всеславович не знает, не любит покоя — до всего ему дело, все-то он хочет видеть да всадать. Сам не успеет — пошлет.

Стрига водил Симона по кладовым, пересчитывая по описям, сколько заложено было с прошлой осени четвертей пшеницы, полбы, сколько гороха, овса, ячменя. Оставалось немного, скоро снимать новый урожай, однако остатков хватит, чтобы продержаться и сегодня недели три, если вдруг половцы придут. Не должны бы прийти, зимой с ними писали мир, за который князь Владимир Мономах им не щедро, но и не скупой отвалил денег, одежды. Дал и скота. Который раз перемешались войны такими мирами? Посчитали — и сбились. Не то девять раз, не то восемь. Посидят половцы у себя и вновь лезут, и вновь. В этом году боярин Стрига не ждал половцев. У него свои приметы: от купцов, проезжающих через Княтин на Русь, удастся вызнать, задавая вопросы совсем будто о другом.

Были запасы соленой и вяленой рыбы, солонина в бочках. Отдельно хранили соль, без которой нельзя съесть и куска.

Лошади и скотина выпасались на воле. В конюшнях боярин Стрига держал под рукой десятка полтора сильных коней, кормленных овсом, приученных к ячменю.

В конце оружейного сарая, за снопами стрел, разложенных на многоярусных полатах, хозяин подвел гостя к диковинкам. На подставках лежали старые кости богатырских размеров. Симон поразился:

— Что это? Великанские кости?

— А ты приглядишься. Наш отец Петр мне не позволил держать без погребенья человеческие останки. Гляди! Эта похожа на турью или бычью, только больше их раза в три. Это обломки черепа, кусков не хватает, но все же можно собрать. Котел!

— А эти? — спросил Симон. — Рога?

— Нет. Видишь, отлом, сплошная кость, как моржовая. А здесь я рубил.

В глубоком прорубе под верхним черным, в трещинах, слоем была видна сплошная, чистая, чуть желтоватая кость.

— Разве ты не видел в Кисве, еще у князя Изяслава был слоновый бивень-клык? И в книгах ты мог встретишь

рисунки слона. Большеухий зверь с длинным хоботом — носом. По сторонам из пасти торчат клыки.

— Вспоминаю, — согласился Симон. — На что тебе мертвые кости?

— Клыки идут на поделки, прочны, режутся тонко. В Княятине есть резчик-искусник, я и сам люблю зимой в долгую ночь руки потешить. Не забыть, у меня дома есть меч с рукояткой своей работы. Обвил змеями для красоты, и рука не скользнет. Было так. Вскоре после приезда сюда, в Княятин, я начал вал наращивать. Неподдалеку отсюда брали дикий камень, глину, известняк — известь жечь. Костей в одном месте было много. Покаюсь, поначалу и отшатнулся, как ты. Клыки меня на ум навели.

— Доводилось слышать, вспоминаю теперь, что находят у нас где-то великанские кости, — сказал Симон. — Да слоны-то разве на Руси водились? Они в жарких странах живут.

— В книгах я ничего не находил, — ответил Стрига. — Мы с отцом Петром порешили, что ходили они до потопы. Тогда здесь было, надо думать, теплее. От потопы земля охладела. Да что кости! Смотри-ка сюда!

Боярин подал Симону кувшинчик черной глины, раскрашенный тонким орнаментом из линий, выцарапанных до обжига. Кусок блюда с такими же украшениями по краю. Несколько пластин шириной в ладонь и длиной в четверть. Железо отрухлявело от ржавчины, возьми — и рассыплется. На концах пластин пробиты дыры.

— Узнай-ка! — предложил Стрига.

— От панциря? — воскликнул Симон. — Вместе с костями нашел?

— В другом месте. Там же и это нашлось, по-моему, нож и меч.

Ржавчина мало что оставила от железа, но все же обьедки были когда-то оружием, видно.

— Это, знаешь, где лежало? — задал Стрига вопрос без отвста. — В старом валу. Пришлось, чтоб обновить просм для ворот, снять сверху землю. С боков земля осыпалась, пришлось очистить до материка. Там же нашелся лучной жернов и вот. — Стрига показал несколько наконечников стрел из бронзы. Хотел он и еще что-то достать, но увидел, что гость будто бы утомился. Насильно мил не будешь, каждому свое. И Стрига закончил возню с любими сему находками: — Вот к чему я веду, друг-брат. Говорят, что Княятин был поставлен Владимиром Свято-славичем. Еще короче — Ярославом. Споры нет, оба князя

заботились, чтоб крепость стояла. Но заложили ее, может быть, и тысячу, и две тысячи лет тому назад. Ибо место здесь для крепости сотворено. И разрушали ее, и сжигали, и она возрождалась: здесь место ей. Не на левом берегу! На правом! С правого берега наши пращуры издревле оборонялись против Степи. Так-то. Таков наш удел, русский. Изменим — сами погибнем и других за собой в землю уведем.

На конюшне Стрига подседлал себе вороного жеребца с лысиной на лбу — пятном белых волос, которое зовут звездой, когда хотят сказать покрасивее. Гостю старый конюх вывел буланого жеребца могучих статей, тонконового, но коротковатого телом.

— Не трудись, — сказал он Симону, когда тот взялся за путлище, чтобы подогнать стремя по себе, — я тебя глазом измерил и путлища отпустил, сколько надо. — И добавил про коня: — В ходу он резв и прыгать горазд, такая порода.

Не любя давать боярских лошадей в чужие руки, конюх предложил Симону не лучшую и спешил словами отвести глаз Мономахову подручнику.

Перед воротами боярин остановил Симона, указывая на внутреннюю осыпь вала. Плотная убитая земля осыпалась пылью, обнажая где черепок, где кусок желтой кости, уголь, почерневшую щелу.

— Говорил тебе — здесь у нас вся земля живая, только что голоса у ней нет.

Воротный проем был обложен кладкой из крупного дикого камня, ряды которого выравнивали прослойкой кирпича. Высота — две сажени с лишком, чтобы прошел воз сена. Поверху плоская арка из тщательно и на клин тесаных камней.

Воротные полотнища были отвалены наружу. Были они из трех слоев досок, собранных для прочности на откос и сшитых коваными гвоздями со шляпками в ладонь, загнутыми изнутри.

В тени сидели двое ратных. В таких же длинных косоворотных рубахах, какая была на Стриге, в пестрядинных штанах, босиком. Чего утруждать себя в летний денек! Сапоги в стороне, там же оружие: длинные копья, луки, колчаны. Увлечшись беседой, они оглянулись на конных, поравнявшихся с ними, привстали, вольно поклонились.

— Не проспи! Степные въедут с маху, — сказал боярин.

— Где им, слеповатым! — отмахнулся сторож.

За воротами легкий мост с уклоном наружу перекрывал глубокий ров с водой. Дальше дорога шла по насыпи, опускаясь к мосту через реку. С моста, брошенного через кротчайшую летом Сулу, Княтин казался горой. Надо думать, крепость давила душу степняка одним своим видом. Без крыльев не взлетишь, а где их взять?

Слева от крепости, если глядеть от нее, круча правого берега обрезалась широким оврагом, дно которого Сула захватила себе на заводь. Залитое водой, подернутое редством и осокой, заболоченное место насолосось, как греческая губка. От него питался водой княтинский ров.

— Поистине, не место идет к голове, а голова — к месту. Гляди-ка, крепость на крепость насажена, вот тебе Княтин. Привыкли люди к тяжелой громаде. Сила влечет к себе, в силе тоже есть красота. А все ж нет прелести, ласки в земляной, каменной — из чего ни сложи — крепости. Так мы, Симон, дивимся силачу, гордимся сильным другом. Но не сравнишь со слабой женщиной. Кто милее, тот сильнее окажется. Будь я богат — достроил бы Княтин таким, чтобы в нем красота силу собой закрывала.

— Зачем? — спросил Симон. — Княтин — Княтин и есть. Если б стоял он на большой реке, на торговом перепутье, если б к нему тяготела большая земля... Кому на него любоваться?!

— А так, — рассмеялся Стрига. — Для себя! Для загадки. Откуда я знаю, что получилось бы у меня? Злые боятся красоты. Во искушение их вводит она. Недаром же иногда греческие базилевсы любят полагаться на евнухов. Исполнители хорошие, умные сановники. Лет двадцать тому назад в Переяславле был у меня спор с епископом Фоккой. Грек делал вид, что меня не понимает, и сводил на писание. Умен, тонок, в игольное ушко пролезет. Так я его на поле и не вытащил. Рассердил лишь. Кричит: отлучу еретика! Князь Всеволод, Мономахов отец, помирил. Сказал, что неспотребно как бы то ни было уродовать людей. Не о том был спор, но пресподобный утих.

С моста было видно, как толстый уж медленно полз, перестекая от реки к заводи извивами грузного тела.

— Это здешний князь, мой приятель, — сказал Стрига.

Бросив поводья на лошадиную шею, он перенес правую ногу через холку и соскользнул с седла. Тихо ступая мягкими подошвами щегольских сапог тонкой кожи, боярин

споро прыгнул с моста и пошел берегом, насвистывая простую песенку, как чиж или синица: «тю-тю-тю и тююю...» Уж выполз на тропку и замер. Навстречу боярину медленно поднялась тяжелая, как гиря, голова, под ней как из земли вырастала длинная шея. Цветом он был не глянцево-черный, как молодые, а серо-черный, будто подернутый белой плесенью. Боярин присел на корточки, и стало заметно, как велик уж. Голова его пришлась вровень с лицом человека, а тело, оставшееся на земле, толщиной с руку, казалось бесконечным, так как хвост прятался в траве. Издали мнилось, что человек и змея разговаривают. Боярин протянул руку. Перед головой ужа затрепетало раздвоенное жало, будто бы лаская. Боярин встал. Уж поднял голову еще выше и, видя, что человек повернулся, заскользил своей дорогой, к болотистым заводям под обрывом, над которым висела кснинтинская стена.

— Это старый друг, — объяснял боярин, — с первого года его знаю, а он — меня. Не мерил я, но по виду почти что не вырос он. Как был сажени две, таким и живет. Осенью прячется. Весной появляется. Добрый, в руки дается. Но видал я однажды, как он бил гадюку. Сначала ударил телом, как палицей, и пастью схватил за голову. У него зубов нет, но челюсти крепкие.

Хороша посульская земля сверху, снизу она другая, но не хуже. С моста Посулье манит нежной прелестью. Река течет тихо, теченья не видно, будто стоят ясные воды, и стаи рыбы стоят в тени против столбов, на которые опирается мост, и не видно, чтобы тратили они силу, дабы удержаться на месте. И вверх по речной долине, и внизу все блестит яркой зеленью рощ с обильным подлесьем и полян, среди которых взвивается Сула. Жирная земля возделана, везде полосы хлебов — от ржи до горохов, бахчи со сладкими и горькими овощами, все родится десятирицею на удобренной илом земле. К востоку земля поднимается медленно. И незаметное сверху здесь очень заметно: близким кажется окоем, где, как обманчиво мнится глазу, сходятся твердь небесная с твердью земной. И ведь знаешь, что нет такого места, а для глаза вот он, окоем, за малое время доскачешь. Почему же глаз говорит одно, а дело с опытом — иное? Если б такое понять, многое стало б понятно.

— Может быть, и лучше, что иное нам непостижимо? — спросил Симон боярина.

— Конечно, лучше, но где же записан отказ и где черту провели, за которую путь заказан и глазу и разуму? — отозвался боярин. — Осенью, как все раскиснет и зальется

водами, либо весной, когда нет из Кснятина дороги никому никуда, мы здесь много книг читаем, о многом беседуем, время есть и подумать. Ты приезжал бы к нам на зимовку. Не люблю я жить ни в Чернигове, ни в Переяславле, ни тем более в Киеве. Шумно. Людно. И людей разных много, с кем хочешь встречайся. Подумать некогда. Наша жизнь прозрачнее. Тут слышишь, как трава растет, видишь, как лист, поспешно развернувшись и быстро росту набрав, остановится и только темнеет до первой своей желтизны. Учишься от малого к большому. И всему, что видишь глазом, постигая умом, радуешься. Сильна жизнь многоликостью. Уж этот. Что в нем? Не расскажет, а навидался немало. Там вон, — боярин указал рукой, — в заболоченной нашей заводи есть бездонное место. Тому лет тридцать — у меня записано — конный половчин угодил в заводь. В тот день они пробовали ударить на Кснятин, когда я только валы поднимал. Половчины таковы — всюду верхом ему дорога. Но этот сильно ошибся. Пошел, пошел да как ухнет, будто с конем вместе его проглотили. Через сколько-то дней велел я перетащить челнок из Сулы. Сначала шли, толкая посудину через траву. Потом пихались шестью. На том месте, где половчин пропал, три шеста связали — нет дна. Взял я пудовую крицу сырого железа. Навязали на веревку десять сажен. Нету дна. Навязали еще и достали дно на пятнадцати саженьях. Но где же половчин? Пора б ему всплыть, а лошади-то тем более... Нет ничего. Поднял я крицу и, отпустив вольно веревки, бросил в воду. На пятнадцати саженьях она приостановилась и, будто крышу пробив, пошла и пошла. На все двадцать сажен. Больше я не стал привязывать веревок. К тому месту я потом приглядывался и стал замечать: когда утром или вечером туман, что-то видится там живое, но исчезает вместе с туманом.

— Что же такое? — спросил Симон.

— Русалки да сам князь водяной, хозяин сульской воды. Кто же еще? Ему я крышу и пробил, однако же он на меня не в обиде. В том месте у них дорога. Оттуда бьют чистые ключи, и, как я приметил, там никогда вода не замерзает, и бывает иную зиму, что дикие утки там бьются, не уходят. Коли бы мой уж-приятель мог рассказать мне, что видел...

— Духовные заклинают русалье, — заметил Симон. Боярин отмахнулся:

— За что? Не было случая на моей памяти, чтобы водяные принесли зло. И без русальской силы только дикий

половчин сдуру полезет в бучило либо в омут. Все живое вокруг нас. В воздухе, как знали наши прашуры, есть воздушные звери особые, из воздуха тела у них, легкие, подобно туману. Их отраженья видны порою в течении облаков, изменчивые, как облака. Они способны принимать людские личины, личины земных животных, как вздумают. Не доводилось ли тебе видеть там и женщин, и воинов, и всадников? Кто же того не замечал: свинья, она же весь век свой глядит под ноги, червь да крот слепорожденный. Да еще книжник-упрямец, смолоду упершийся в буквы... Наш отец Петр по прибытии поучал: бесовское да от беса. Будто латинянин. Сводил я его однажды на это самое место и своими глазами заставил его поглядеть, как в тумане над омутом нежались русалки. «Заклинай их, — прошу я, — молитвой всевышнему. Но не кричи, здесь мы в гостях, бог же слышит и немые слова. Читай, отче!» Читал он, читал до темноты, но никого не испугал. Не любит он подобного и теперь. Однако ж понимает ныне, как все, что нет бесовского ни в водах, ни в лесу, ни в степи, ни в облаках. Все от бога. Страшен злой человек, нет ничего страшней человека.

Мост уходил далеко на низменность лсвого берега, чтобы можно было ездить и в высокую воду. Верхнее строение снимали весной и весной же, по окончании ледохода, наводили. Привычные лошади осторожным копытом будили дряблый отзыв настила. Нельзя без моста, через Сулу много мостов — лучшие уголья, кормилице русское, лежат по речной долине, по низкому левому берегу ее. Обороняются на горах правобережья, живут и питаются левым. Так же и по Пслу, и по Ворскле.

Сойдя с моста, всадники пошли влево, вверх по течению. Там в полуверсте тянули на берег невод. Один концы заводили с челна, другой вели берегом. Челн пристал. Какова удача ловцам? Чалили с натугой. Боярин, спрыгнув с седла, как молодой, бросил на песок пояс с мечом, скинул через голову длинную рубаху. Ссв, стянул сапоги, нетерпеливо рванул портянки и в одних штанах, стянутых тонким очкуром — ремешком, схватился тянуть крыло, где стояли двое — всех ловцов было пятеро. И разом перетянул!

Боярин Стрига был из старшей дружины, начинал служить еще дяде Мономаху, Святославу Ярославичу. Он придерживался старины — волосы стриг чуть короче и не носил подстриженной бороды, какими щеголяли молодые дружинники, а брил щеки с подбородком, усы же никогда

не трогал, и опускались они почти на грудь, как два изогнутых рога. В одежде казался он княжичу Симону тяжеловатым. И правда, не было у него стройной тонкости в поясе, зато грудь — как печь, на ребрах мышцы-подушки отталкивают в сторону тяжкие руки. И — метины. Пухлые рубцы на местах, где устояла кольчуга, бугор сросшейся ключицы, на правой руке темная звезда не то от копья, не то концом меча было бито. За ухом из-под волос длинный разруб идет сверху через лопатку, и сейчас княжичу видно, что будто бы тынет он голову вбок.

Напрягшееся пузо невода уже на мели. Сула расщедрилась. Что-то ворочается, как живое бревно. И, будто проснувшись, рвануло назад раз и два. У Стриги на конце выстояли, а другой конец подался, и ловцы, персхватывая толстую веревку, не то дали потачку, не то сам канат заскользил. Эх! Уйдет! Нет, замерло, но надолго ли? Бросив неводное крыло, Стрига в два скачка достал до челна, схватил колотушку, деревянный молот для сомов, — и уж в воде по пояс. Прицелился, выжидая, и ударил раз, другой, скрылся в брызгах — сильно подпрыгнула рыбина, но утихла.

— Тащи, тащи!

Симон, подхватив с седла конец каната, закрутил за луку, помогая слабому концу. На другом тянул Стрига. И уже на мели раздувшаяся тоня. В пеньковом мешке полно. Еще, еще! Теперь не уйдешь! На сухом взяли! В корзины метали стерлядей и серебристый частик — простую рыбу. И, зацепив мертвой петлей за голову ниже жабер, выволокли дорогую добычу — тупорылую белугу, закованную в чеканный костяной панцирь. На семь пудов потянет, не меньше. Удача.

— Стало быть, мы в дружбе с Сулою, — шутит Стрига. — Спой-ка нашу ловецкую, — приказал-попросил он удачливого парня, и тот затанул высоким, чистым голосом:

Ох да плачется, ох да жалуется
устье диспровское широкое,
жалуется морю глубокому:
«И что же это дется,
и что же случается!
Полную волю забрал Днепр
и над тобой, надо мной насмехается
Заманивает Днепр нашу всю живность —
и осетра, и белугу со стерлядью,
и всю прочую рыбу белую,
и всю красную.
И хозяйствует, и со всеми он делится,
во все речки рыбу раздаривает,
нам с тобой ничего не даст,

все берет безвозвратно он,
мне за рыбу платит песком
да серой глиною...»

Сорвавшись из-за окоема, всадник спешил с востока к Суле, будто осеннее перскати-поле, гонимос бичами вихря. Боярин Стрига, смыв чешую, стоял босой, в длинной рубахе. Выжатые штаны сушились на траве. Ловцы успели погрузить добычу на телегу, прикрыв мокрым нсводом от солнца.

— Ишь, заячьим скоком идет, — сказал кто-то, и все зашесвелились.

Молодой ловец почему-то бегом пустился к стреноженной лошади, торопясь, снял путы и, ловко вспрыгнув на спину, погнал к телеге, где другие ждали запрягать. Боярин оделся, присев, мигом намотал портянки, натянул сапоги, подпоясался, перекинул перевязь от меча и поднялся в седло. Всадник приближался. Вороно-пегая лошадь как-то особенно далеко выбрасывала вперед задние ноги, и ездук мотался на спине, будто сейчас вылетит. Ехал он без седла, только с недоуздом без удила, но конь слушался. Саженьях в двухстах всадник врезался в старицу. Конь взбил воду грудью, залив всадника по макушку, поневоле сдал ход и, выскочив на берег, пошел было короче, мотая головой, но всадник лихо послал его и лихо остановил рядом с боярином. Парень, лет пятнадцати, гололицый еще, длинноволосый, силился что-то сказать, но не мог — задохнулся.

Ловцы успели запрячь лошадь в телегу и ждали, ждал и боярин. Утишив грудь, парень прсрывисто выкинул слова:

— Половцы... Дядя Зван послал...

— Где? — спросил боярин.

Отдышавшись, парень стал объяснять, показывая на край леса, сползавшего к Суле на ссвере:

— Там, в Кабаньем овраге...

Близ леса, за бугром пасется один из кснятинских табунов. Утром лошади заволновались, и табунщики заметили среди своих чужую подседланную лошадь. Седло не русское, чумбур порван. Стало быть, ушла. Откуда же? Стали искать, нашли в траве свежую стежку, сочли — шли конные не более двадцати. А если более — несамного. Стежка вела в голову Кабаньего оврага. Табунщики пустились отжимать своих лошадей к Суле, а молодого послали с вестями.

Звонко-тревожный голос кснятинского колокола вскрикивал частыми всполохами, ожидая, умолкал, и тихо-тихо делалось в спящей долине Сулы. Ветер едва-едва шелестел листвою, травы едва шевелились, еще низкая зелень полос хлебов, густая, крепкая, мечтающая о чуде сотворенья колосьев, не замечала ни ветра, ни набата.

Немного времени прошло, а с верха Сулы показались лодья, за ней вторая, третья. Людей в них полно, мелькают шесты, которыми пихаются пловцы. На берегу замелькала скотина, лошади, овцы. Верховые гнали худобу. Видны стали люди и ниже Кснятина, и на пологих языках, которыми с востока степь спускалась к Суле. Покинув мазанки, шалаши, легкие избы, в которых жили летом, кснятинские спешили к убежищу. Из крепости же вышел конный отряд, за ним — несколько конных и сколько-то пеших. Немного погодя — третий. Становилось будто бы много, но легко счел бы их, кто хотел, на пальцах — ровно двадцать коней. И еще один конь.

Чутко кснятинское ухо. Не так уж громок колокольный набат, не так уж част, а через мост уже пошли в крепость люди. И телеги откуда-то взялись с добром, которое берут с собой хозяева на летнюю жизнь в поле, на пасеки. Нсмудрое добро, богатство невеликое, но все нужное, половец не возьмет, так сожжет.

Лодьи пристаюти у моста — у дороги — на правом берегу, на своем. Левый берег тоже свой, половцы не стараются прийти на него, чтобы сесть постоянным житьем, и нет спора о межевой грани. В договорах, и в словесных, и в писаных, которые много раз заключались между русскими и половцами, говорилось не о земле. Уславливались, чтобы половцам быть у себя и русским — у себя. И чтобы одним к другим не ходить воевать, а ходить без обид, для торговли. Нет вражды из-за земли, видимой глазом, отмсрненной веревкой, известной по приметам. Половец все мнит своим, что ему посильно взять, потому-то и понимает половец только силу. А любит половец широкую степь и говорит, что когда видит вечером дальний огонь чужого кочевья, то ему уже тесно и нет больше радости. А почему так, никто не знает, кроме бога.

Как тут быть, как тут жить? Как деды! Их теснили хозары, после хозар — печенеги. Князь Святослав пошел с сильной дружиной по Донцу, потом по Дону, всюду бил хозар, разрушил их крепость Саркел на Дону. Потом Святослав по Оке сплыл на Волгу, разорил город Булгар, сто-

лицу подвластных хозарам камских булгаров, побил буртасов. Спустился по Волге, разрушил хозарскую столицу Итиль. В Тмutorокани победил яссов и касогов и утвердил свою власть при море. После походов Святослава хозарское имя угасло. На смену им пришли печенегы. С печенегами расправился сын Святослава, Владимир, но в степи, будто манят они всех восточных людей, пришли половцы — куманы.

Святослав не избил всех хозар, но, разрушив хозарскую державу, разметал их. Часть их явилась в смешении с печенегами. Печенегы не избиты Владимиром, но разогнаны и выгнаны. Сколько хозар и печенегов смешано с половцами, сами они не знают, ибо все они между собою схожи обличьем, обычаем, речью. Одинаково давят на Русь, грабят, уводят пленных на продажу как рабов и для работы на себя. Руси нужно либо уходить на север, в леса, за болота, либо отбиваться. А есть ли выбор? Уходить — нагонят. Зимой пройдут через болота, через реки. И леса не такая уж помеха. Княгинин сильная крепость, не въедешь, не влезешь с разбега. Но если, не защищаясь, сидеть внутри, за четверть дня пробьют ворота, засыпят ров, разроют стену, и не такую, как княгининские.

Боярин Стрига не слишком спешил со своими конниками. Встретился первый табун, боярин поговорил с табунщиками. Останавливался у погонщиков стад. Вскоре встретили табунщиков, пославших с вестью парня на вороно-пегом коне. Говорили и с ними. И все одно — с той стороны, с половцкой, с востока и от полудня не бегут ни косули, ни тарпаны, ни туры. На той стороне, половцкой, где, однако же, зацепились и Голтва, и Лтава, и Донцу, не видно тревожных дымов, ночью не было огней. Не бегут оттуда и люди. Сколько-то русских, сколько-то давно от своих отбившихся хозар, печенегов и тех же половцев, смешавшихся с русскими, ставших русскими по обычаю, живет по Пслу, по Ворскле, по Донцу, по Сейму, по Осколу, по жирным землей, дичью, рыбой долинам малых речек. Люди эти не считаны. Сказать про них — много, нельзя. Их — не мало, не одна тысяча душ. Из них никто не прибежал.

Не только Стрига, которому положено ценить степные приметы, как купцу — товар, вслепую, но и каждый встречный, спеша прятаться в Княгинин, понимал — половцы не идут войной. Княгининский колокол повешаст о половецком наезде. Но ведь когда ты один,

вдвоём, впятером, то для тебя и десяток половцев — войско.

Не все уходят в крепость по тревоге. В удобных местах заготовлены землянки. В роще, в овраге построены захоронки так, что, не зная, и не заметишь. Прячутся семьями, заводят лошадь. По истечении времени бревна сгниют, завалится земляной настил. Но ям^г останется надолго, и случайный прохожий не догадается, для чего, кто в глуши, без подхода, без подъезда старался что-то устроить.

В таком существовании, под страхом разоренья, плена, похищенья близких на жалкую участь, что хуже смерти, будто бы нет места для радости. Не жизнь — житие обреченных. И коль поддавался бы русский унынию, глядя в будущее, не сулившее хорошего, давно превратились бы русские в стадо загнанных животных, и само имя их, исчезнув из жизни, служило бы для подтверждения ничтожества земного существования. Не уступай, делай во всю силу, будь что будет. И каждый из кучки всадников боярина Стриги бодр и едва ли не рад — каждый живет во всю силу.

Подручный табунщика и совсем счастлив. Получил железную шапку; хоть и неловко голове с непривычки, но честь дорога. И щит мешает ему, и жарко в кожаном доспехе с нашитыми бляхами, и меч прыгает, бьёт, и дума навязчива — выскочит из ножен, потеряется, стыд. Но не отдаст никому. Для длинноногого коня нашлось седло, а от узды парень отказался, он прирожденный наседник и, как Стрига, как другие, владеет старинным искусством управлять конем ногами, чтобы обе руки были свободны.

— Не суйся вперед, — приказал парню боярин. — Сунешься — прогоню назад. Делать будешь, что велю.

Огибали чернолесье — на тот дубок, который будто бы одиноко маячил близ края неба на травяном море. На местах, не тронутых плугом, а коль и паханных, то в незапомнившиеся годы, трава успела вымахать по лошадиную грудь, сочная, свежая, молодая, еще не одубевшая от тяготы плодоношения, не опаленная солнцем. Будто бы ровно, однако ж взбегая мягким увалом, покатость левосульского берега подняла всадников на волну степного моря, и отсюда стал виден и дуб — не дубок, каким он казался, — и глаз ощутил наметившуюся голову оврага в подобии травяного корыта. Лес оборвался. Подлесок еще тянулся в степь, кусты доцветавшего боярышника источали сладкий запах, и стрепеты взмывали из травы.

В полуверсте над зелеными метелками ковыля стоит тупоногая голова чуткой дрофы. Сторожит свое племя, мирно дремлющее после утренней кормежки. День уже, солнышко припекает, самое время для отдыха крылатым и ногатым. В теплом воздухе пусто было б, коль не ястреба. Трещая коричневыми крыльями, висят и висят они, глядя вниз — оплошного ждут, и, не дождавшись, косым полетом — в сторону, и опять виснут на невидимых опорах неутомимые голодные охотники.

Птицы небесные не ссут, не жнут, не копят в житницы. Даст бог день, даст и пищу... Расхрабравшись, далеко забрался стрепетинный цыпленок, и заблудился, и зовет мать. На писк спешит и хищная ласка, и чуткий ястреб летит. Кто первым поспест, тот сыт.

Вблизи выхода из Кабаньего оврага ждали, ждали. Молчали — не о чем говорить, и какой же ты воин, если не умешь молчать? Боярин поднял руку и вниз опустил, как бросил, — приказ слезть с седел. Слезли, чтобы лошадям дать отдохнуть, и слушали, как конь переступит, как топнет копытом, как хвостом хлестнет, отгоняя муху. Сухо здесь, мух с собой увел табун, пасшийся неподалеку, а все ж беспокоит.

Слушают, как трава растет, как мышь пробежит по корням, как стрекочут кузнецы. Небо чистое, ветер с востока, сухой, летний, — не сильно тянет, ленится. Надуется, дохнет и, отдыхая, чуть вест. Белуга была хороша. В жаркое время рыба не ждет, ее уж разделали, в соль положили на сутки, а завтра пора и коптить.

Будто топот? Так и есть. Четверо своих прибыло, догнали. Теперь все ловцы в сборе, и боярское копьё все тут — его дружинка, семь мечей, сам он восьмой, вместе называют копьём, как ведется по воинскому счету.

Отдыхает ветер, и от леса, которым зарос овраг, течет аромат доцветающих лип. То-то там черная пчела гудом гудит, спеша взять последний обильный взятки. Опадает липовый цвет, остаются летние цветы, они жестче, не так богаты медом. Пчела строга, но добра. К себе не пустит чужого, зато в поле мир. Ни человека, ни зверя не ужалит, и между собой свары нет из-за охоты. Сама посылно берет, другой не мешает, и никто не слышал, чтоб пчелы между собой воевали из-за цветов. Отец Петр в поученьях все пчел приводит в пример да еще муравьев. Учит любить врагов... У боярина Стриги нет к половцам ни злобы, ни ненависти. Было, изжилось. Изжившись — забылось. Со злобой в сердце легко убивать, но трудно жить. Стрига

не любит великого князя Святополка Изяславича, сильно не любит. Сколько в нелюбви ненависти и злобы, кто взвесит? Попади Святополк Стриге в руки, что он сделает с ним? Убьет? Нет. Мучить будет, издеваться, поминать пленнику? Нет. Так что это? Любовь ко врагу? Нет. Сколько нитей в человеческом сердце, кто их распутает... Потому-то и любят все говорить — бог знает, бог ведаст. Будто легче становится.

Вот и стал слышен первый рог. И тут же, как ждали его, матерой кабан с ходу едва на людей не набежал — на глазах бурой тушей проломился и дальше пошел. И опять рог слышно, и опять. Но далеко, у Сулы, Кабаний овраг выходит к реке широким трехверстным устьем. Он почти доверху зарос лесом, хороший дом для зверья. Половцы поняли, что русские ходят охотой, охватив нижнюю часть оврага. Спали половцы в прохладе, теперь проснулись. А вот что они думают? Овражные берега круты, зверь вылезет, пеший выберется, конному хода нет. Конная тропа здесь одна, половцы по ней спустились в конце ночи, зная дорогу, чтоб в следующую ночь попытать удачи — пошарить по левому берегу, захватить людей, сколько придется, а потом взять табун лошадей — и обратно. С половцами мир, еще один, сколько десятков их было, мало кто считал. Мир им не мешает. Людей, кто останется жив, отдадут за выкуп, а лошади им самим нужны. Травы в степи хватает, за лошадью половец не ходит, только пасет, труд малый и — не свой. Заставляют рабов, нанимают своих победнее, платят теми же лошадьми.

Не знает боярин, как решат половцы, но что всполошились они, что слушают, что отошли в верх оврага — знает. В чаще верхом не поездишь. Половцы не станут ловить охотников. Только бы охотники сами не горячились.

Не быстро время шло, а сейчас и совсем замедлилось. Опять звучат рога, ближе. Половцы не могут сами прожить, к своему им нужно добавлять взятое у других. Таковы же были хозары, таковы же печенег — все они одинаковы. К малому своему им нужно добавить побольше чужого, они не воюют, а грабят. Такими половцев видит каждый из русских. Вражда всковечная со Степью. Редко кто, подобно боярину, никого не оправдывая, понимает иное, потому что судит без злобы: повсюду воюют для добычи, и нет иной войны.

Так, значит, спрашивает себя боярин, песню мою о враге, который живет на востоке, где солнце встанет ото сна, можно спеть и на другой лад: живет мой враг на западе, где солнце ложится для сна?

Словами — можно, но смыслом — нельзя, заблудишься, правую руку от левой не отличишь. Не Русь шла на хозар, на печенегов, на половцев. Они шли на Русь. Прав обороняющий свое поле. А ведь древний спор... И вспоминается боярину читанное в старинном греческом списке о войнах, составленном Прокопием, легистом и ритором: тот виновен, кто замышляет войну, кто готовится напасть. И коль его упредят, коль обреченный на жертву сам нападет первым, вина все же на том, кто первый замыслил. Беспокойна человеческая совесть, в ком она не погасла, тот ищет себе оправдания, а другим — объяснений, пусть и не судьи они. Еще вспоминаются слова, записанные древнейшим, чем Прокопий, составителем. Будто бы спартанский законодатель Ликург завещал спартамцам не восвать все время с одними и теми же городами, дабы не обучать их войне. Спартамцы воевали будто для игры. Было ли такое время или придумал его составитель рассказа? Скрыл в хитроумии выдумки некую истину, поученье?

Вот и в третий раз стали слышны рога, близко, не болсе версты. Половцы еще ближе и готовятся уходить. Биться в овраге им нельзя, стрелять не станешь в чаще, да и не к чему. Они понимают — коль найдут, то близок станет конец ихний. Им остается — выходить в степь и укрываться до ночи в траве.

Стрига поднял руку и потряс ладонью над собой. Затем, вставив левую ногу в стремя, хлопнул рукой по седлу и, прихватив лошадиную гривку, поднялся, расправляя поводья. Вовремя! Как связанные веревкой, половцы змеей ползли на выходе из оврага. И каждый сжался, уткнувшись носом в гриву, чтоб не видать было издали. В низких шлемах, черненных смолой, чтоб не блестели на солнце, в коричнево-рыжих кафтанах, над горбом выгнутой спины торчит лук — тетива уже натянута — и пониже пук пестрых перьев, это концы стрел, затянутых горловиной колчана. И хоть бы один оглянулся! Табунщики сочли верно — будет конных десятка два, всех боярин счесть не успел — передние уходили за малый курганчик, насыпанный в голове оврага, втянулись за бугор последние, и будто бы не было ничего, никого.

Разномастные степные скакуны позволили половцам бурно оторваться от погони. Боярин Стрига вел своих ровно. Преследуемые знали место так же хорошо, как преследователи. Курганы помогали определить, как выйти к одному из бродов Псла либо местам реки, где легка переправа. У Псла русские могли встретиться с неожиданностями, если эта кучка половцев шла в передовых сторожах-разведчиках. Но боярин, доверяя чутью, считал, что все половцы здесь — это было не нападение, а наезд.

Русские кони темнели от пота, а половецкие заметно сбавили ход. Разрыв сокращался. Хороших кровей, пылая, резвая, половецкая лошадь уступала в выносливости. Русские кони подкармливались овсом и ячменем, половецкие знали только траву. Так же как и дикие кони, половецкие были ненадежны в длинной скачке, в тяжелой работе. Половцы перешли в шаг, давая коням отдохнуть. Когда Стрига был почти на полет стрелы, половцы припустили и вновь бурно оторвались. Кто не знал, тот подумал бы — вот и окончена погоня. Подобно птице, которая поначалу отлетает недалеко, но, убедившись в упорстве преследователя, берет высоту, чтоб исчезнуть из глаз, половцы скроются в зеленой дали. Нет, проскакав версты две, степняки опять пошли шагом. Не уйдут. Судя по знанию мест, это не половецкий молодняк, вздумавший показать свою удаль. А коль так, то поняли уже, что русские гонятся не на случайных, выхваченных из табунов лошадях, но на воинских, и встреча готовилась не злой волей судьбы, а злым человеческим разумом. Не спутасшь следа, русские гонят навзряч.

Половцы все болсе растягивались: как люди, так и лошади разносильны, и надобно особенное что-то, чтобы узнать полную меру силы. Ибо лошади, как люди, имеют разное мужество, разный пыл, и храбры они, и щедры они тоже по-разному. Иной конь, как человек, весь отдастся порыву, до последнего толчка напряженного сердца, и умирает на последнем скачке. Другой себя бережет, но сберегает ли?.. И для чего бережет? Чтобы живодер, оглушив обухом, вскрыл ножом жилы, чтобы шкура послужила кому-то? Эх поле, эх жизнь! Кто скажет смертному такое слово, чтобы оно каждому в душу прошло, как входит в тело половецкая стрела?

Далеко оттянул от своих задний половец. Уже видно, как ходят у него локти, как он горячит лошадь пятками. Плеть, видать, потерял. Шагов триста до него, стало уже двести, уменьшается просвет. Издали покажется, что он не

отсталый из беглецов, а старший в погоне. Раз оглянулся половец, два оглянулся, соображая, и видно было, как взялся он освоить лук из налущья, но передумал. Сделал что-то, и хоть не разберешь, но думается, что стал колоть лошадь ножом, доставая из конской души последние силы. Миг еще, но прожить бы!

Все так же трепещут крыльями ястреба над высокой травой, в трудной привычной и надоевшей работе, — не часто им достается добыча, день-деньской надо им биться за свой кусок. Без радости запустив наконец-то когти в горячий комочек мышинного тельца, машет ястреб мягкими крыльями, устало выбирая, где бы усесться, чтобы не отняли грубой силой или хитростью нечаянного нападения. Курганов много, разные они, и птица выбирает простой, островерхий — чью-то могилу.

И отсталый половец, уклонившись от следа своих, тоже скачет к кургану, надеясь, что русские не станут гоняться за одиночкой. Почти сразу половецкая лошадь упала — не задохнулась она, а попала передней ногой в сурчину — дыру, куда норится байбак-сурок, и всадник полстел через голову. Тут же кто-то с гиком опередил боярина Стригу, и тот по заячьему скоку коня узнал парня-табунщика. Пегий показал, что есть у парня глаз выбирать лошадей под верх. Навстречу ему половец поднялся над травой с напряженным луком. Полстела стрела или нет, но пегий сбил половца грудью, а парсень, тут же развернув назад, свесился с седла. Пегий вздыбился, задрал голову, а парсень с гиком быстро-быстро махал клинком, будто траву рубил, как малое дитя. Махнув в последний раз, парсень избочился в седле и ловил ножны концом меча. И все не мог поймать...

Отказавшись от надежды уйти, половцы, которым русские уже наседали на хвост, повернули круто к солнцу. Там плосковерхий курган торчал невысокой стенкой. Достигнув его, половцы будто провалились сквозь землю.

На степных пустошах между Днепром и Сулой, между Сулой и Ворсклой и за Ворсклой к Донцу, Дону и Волге редки места, откуда не видать было бы курганов. Есть старые громады, расплывшиеся под неустанной заботой туч и ветров. О таких рассказывают, что древнейший богатырь там лежит либо некий властитель велел войску насыпать шапками. Может быть, и правда. Молодые люди охотно отвергают преданья, бывалые же знают, что много случается в жизни такого, чего никому не придумать. Ребачья доверчивость щедрее скупого неверия взрослых.

Есть курганы помоложе, дедовские, тех лет, когда русские сжигали мертвых и высоко закрывали пепел землей, чтоб прах не осквернялся. Другие курганы ставились для наблюденья за Степью. Иной раз и теперь на них жгут костры, оповещая о половецких набегх. Стоят и земляные крепостцы, издали те же курганы. Насыпают вал очертаньем, как конская подкова, выбирая землю изнутри. Снаружи стенка крута, изнутри полога, во внутреннем углубленьи зимой и после летних ливней держится вода, можно напоить лошадь и самому испить при крайности. В такой курган сели половцы. И тут же выслали наверх глядеть. И луки готовят.

Солнце встало на половину дня, тени нет и для половцев. Хорошие дожди с грозами прошли днями, в земляной подкове быть воде, и сейчас половцы припускают коней пить. Травяного коня можно выпаивать и горячим, а овсяного нельзя — запалит жажду и заболест. Скоро половецкие кони отдохнут. Решатся половцы вырваться? Может быть, хотя сшибок грудь с грудью они не любят, стрелами здесь им не поиграть. Луки есть и у русских, наши половцы постреляют на выходе из горла подковы.

В прошлом году, помнится, боярин Стрига посылал почистить несколько охранных курганов. Поэтому здесь лицо вала круто, подрезано заступами — не влезешь, а с двухсаженной высоты лошадь не спустишь. Человек же может соскочить. Чтобы не получилось осечки, Стрига послал четверых следить с другой стороны. В высокой траве любой уползет, без гончих собак не найдешь.

Слезши с седла, Стрига взял лук и долго примерялся глазами, поднимал, опускал и, растянув тетиву до уха, пустил стрелу вверх, мстясь в солнце. Казалось, медленно-медленно уходила в небо стрела, однако же уменьшалась быстро. И вверху, потеряв силу, легла набок, завершая крутую дугу, приостановилась и — ринулась вниз. Идет, идет! Все ускоряя, мчалась вниз железным острием и — скрылась. Попал! Сюда, на три сотни шагов, донесся лошадиный визг, лошадь дико вырвалась наружу между концами земляной подковы. От страха и боли метнулась прямо к русским, и кто-то, размотав аркан, успел набросить петлю на шю нежданной добыче. Стрела, глубоко уйдя в мясо, торчала из крупа — заживет.

— Вот так, друзья, — обратился к своим боярин, — войско нормандского Гиймона сделало много вреда войску короля Гарольда, отца жены нашего князя. Стало оно за палисадами в лагере близ Гастингса и крепко билось. Та-

кой вверх брошенной стрелой самому королю выбили глаз. В тех странах тоже стреляют тяжелыми стрелами, как наши.

— Да, — сказал Симон, — мы здесь, в степи, стоим перед половцами, ты же сумел нить протянуть в Англию. А ведь туда пути будет три месяца...

— Так попробуем еще вместе, — предложил боярин. — Кто вызывается? — Но боярин отобрал пятерых. Остальным сказал: — Повремените, ленитесь вы в свободный час заняться воинским делом. В поле же учиться поздно, зря стрелы разбросаете.

Шесть стрел ушли к солнцу и будто бы стайкой упали на головы половцев, но те на этот раз ничем себя не выдали. Повторили еще и еще. В земляной подкове тесно. Половцы догадались прикрыть головы щитами, но лошадей укрыть нечем, тесно там, тошно и нудно стоять, ожидая острожальных гостинцев. Подрезанные снаружи стенки голы, поверху же вала стоит трава мховой шапкой. Там можно спрятаться лежа, там лежат, наблюдая. Плохо стало лежать: жди стрелу не в голову, так в спину, спину прикрыл — в шею ударят. Да и в ногу невелика радость принять стрелу. Конники ездят с круглыми щитами — лицо и туловище прикрыть, с длинным щитом, которым закрывается пеший, верхом не поездишь.

— Проняло! — крикнул Симон.

На земляном валу, выросши из травы, торчал человек, разводя руки будто для объятий. Один за одним половцы выезжали из курганного вала, как из подземелья или из-под кручи: сначала голова, за ней всадник вырастал над травой. Четверо. Русские, развернувшись, стали вправо и влево от боярина. Оставив спутников в сотне шагов, передний половец бойкой рысцой подъехал к боярину. Половец широко улыбался, будто встретил друга.

— Здравствуйте, боярин Длинный Ус! — Он чисто выговаривал русские слова. — Ехал я к тебе гостем, а ты погнал меня, будто волка. Ай-ай!

— А чего же ты, хан, прятался, будто волк? — возразил Стрига. — Гостю положено ехать открыто.

— Поздно выехал, поздно приехал, — все с улыбкой объяснял половец. — Ночью нельзя гостю приходить, а? Пустился я в лесу ночевать. Твои охотники стали зверя гонять, я ушел — зачем охотникам мешать? А ты в засаде сидишь, я испугался, хотел домой уйти, ты не дал.

— Пусто тебе с пустыми речами, хан Долдюк, а понашему — Рваное Ухо, — прервал Стрига. — Мир между

нами, ты мир нарушил. Слезай с коня, своим скажи, чтоб сдавались. Иначе ни один из вас живой не уйдет. Давай я сам тебе руки свяжу, чтоб с пути удрал ты не волком, а зайцем.

Будто бы ничего смешней не мог сказать боярин. Долдюк, зашедшись смехом, даже за бока взялся:

— Шутишь, ой шутишь! Сам говоришь — мир, а меня вязать вздумал! Слушай!

Смеха как не было. Долдюк выпрямился. Скуластое лицо в редкой бороде разгладилось, вместо щелок жестко глянули серо-зеленые глаза.

— Я в мире не клялся, — сказал хан. — Большие ханы с твоими князьями о мире говорили. Мой улус молчал. Ты меня изловил, а я тебя не боюсь. Не хочешь добром отпустить — биться будем. Побьешь ты нас, мы и твоих жизней возьмем. Хочешь, решим один на один? Я тебя одолею, они, — хан указал на русских, — мои будут. Ты меня свалишь — возьмешь всех моих, на веревке погонишь к себе.

— Вот ты и заговорил по-своему, — ответил боярин. — Всяк зверь шерстью линяет, норы не меняет. Бой приму. Но богатой ты просишь себе доли в чужом месте. Одолеешь — возьмешь себе с моего тела доспех и оружие, а тебя и твоих мои добром отпустят. Я одолею — всех твоих возьму. Не согласен, иди, прячясь в курган, буду силой брать.

Не дожидаясь ответа, Стрига крикнул долдюковым провожатым:

— Слыхали? Поняли, чего я хочу?

Те в ответ закивали головами, прикладывая руки к груди: поняли и согласны.

— И еще тебе, как гостю, почест окажу, — сказал Стрига. — Мой конь твоего коня выше и сильнее, будем пешими спорить.

Хан Долдюк косо усмехнулся:

— Щедро даришь, боярин. Сам о том хотел тебя просить. Далеко ты видишь, мысль видишь.

Чтоб не мешала высокая трава, посекли дикие колосья и подвытоптали малую лужайку, шагов десять длины и чуть поменьше ширины.

Два края у лужаечки — русский, на нем стал боярин, у него за спиной свои конники, а еще Сула течет и крепость Кснятин стоит; на другой стороне — Долдюк, за ним трое его половцев, дальше курган; на земляной подкове торчит, не скрываясь, с дюжину одноулусников ханских, все лицами сюда глядят. За ними река Псел, река Ворскла и степь половецкая.

Приказав своим, чтобы не на бой глазели, а смотрели б за половцами, чтоб они из кургана не вздумали бежать, боярин Стрига шагнул вперед, и, ни в чем не уступая, Дюдюк тоже шаг сделал.

Русский ростом длиннее, зато половец кажется телом тяжелей, шире. Хотя на глаз трудно смерить. На обоих бойцах надеты из кованых колец рубахи-кольчуги, а под железом из двойной либо тройной кожи другие рубахи, подбитые льняной прядью — иначе доспех почти ни к чему: от удара сломается кость. От толщины подкольчужного кафтана зависит на глаз и сила бойца.

Прибавляет русскому росту и островерхий шлем — у половца железная шапка ниже. Зато щиты у обоих размером одинаковы, одинаково круглые, как с гончарного круга, толсто окованные по краю, густо покрытые железными бляхами. На русском щите средняя бляха с длинным и толстым острием, на половецком — острие покороче и оттого кажется крепче.

Еще шаг и еще. Сошлись. Ждут чего-то. Нет, ждать обоим нечего и не от кого, только от себя. Сверху будто бы наметился рубить половец, а ударил наискось снизу, тяжелая сабля метит в колено русского, а голову половец прячет под щит. Встретила сабля меч, железо лязгнуло о железо, и заметались оба клинка, как змеиные жала. Легко и вертко прыгает, отступает, наступает половец, видно, у него под кольчугой прячется больше мускулов, чем льняной набивки. Справа, слева, сверху, сверху, сверху бьет раз за разом без передышки, железо стучит, гремит, и — звонко-глухой удар по щиту, и боярин делает шаг, наступая, потому что половец ошибся и выщербил саблю о край щита, а может быть, на сабле вырубил кусок и меч при отбиве, никто не видал ведь, но быстрее и быстрее движется половец, а русский переступает и теснит половеца на его сторону, и что-то отрывисто-резко кричит по своему один из ханских провожатых.

Малая, малая лужайка в степи велика, как вся степь, и еще шире она, чем степь, ибо степь легко пересечь от края до края, за одно лето пройти ее можно, а на такую лужайку жизнь кладут; тесно в степи, хоть много дней можно идти, не видав чужого огня, тесно — все кончается на лужайке в десять шагов; чтобы ее прошагать, нужна целая жизнь, и праздными здесь кажутся размышления о несобъемлемом мире, ибо весь мир помещен на острие меча, копыа, сабли, ножа, на остром жале стрелы.

Говоришь, много ль места они занимают?! Обманывает тебя глаз — на них места хватает для тьмы тысяч жизней.

Сказано, в поте лица своего должен свой хлеб добывать человек за грех праотца всех людей. Верно сказано, и плох тот человек, которому никогда не заливал пот очей на тяжелой работе, кто не знает, как пот ест глаза, кто не отмахивался головой от пота, будто лошадь от мух, не имея мгновенья отнять руки, чтоб отереть лицо.

А вот руки, ладони не потеют или мало потеют, иначе бы не удержать человеку ни плуга, ни меча, ни орудий, ни оружия и пропал бы он без следа.

Солнце светит сверху и с юга — поперек лужасчки. Тигром прыгает Долдюк, уже не раз переменились местами бойцы, а смерть спит, утомилась, наверно, от сотворения мира собирая богатые жатвы в извечной борьбе между лесом и степью, плугом и кибиткой, мечом и саблей. Нет спокойного дня для нее, нет спокойного часа. Нынче она прилегла было на полуденный сон в тени старого кургана. Стучит железо, звенит железо — то не косарь точит косу, не молот тешится над наковальней. В жаркий час спят косарь и кузнец. Нет отдыха смерти. Поднялась и пошла, не сминая травы, никому не мешая, явилась и смотрит то одному, то другому в глаза, бесстрашна, послушна кому-то, чему-то. Ей все равно, кого взять, хоть обоих. Она — закон безжалостный, но не злой: вопреки клевете, никого не любя, никому она не отказала и в помощи.

На пряный запах распаленного тела слетелись мухи и черным росом жужжат на лужайке, вместе с потом лезут бойцам в глаза. Долдюк, отскакивая, опускает щит. Концом сабли он рассек щеку боярина. За удачу пришлось Долдюку открыться, и он сам получил удар по левому плечу. Доспех остался цел, но рука онемела, нет в ней силы, и щит сделался ненужной помехой, бросить бы его — не слушается.

Не страшно Долдюку, ярость душит, смело ждет он боярина — не пощады, пощады не бывает. И сказал, как плюнул желчью:

— Жену твою хотел поймать, она бы мне кизяк собирала, а я ее бы брюхатил!

Звякнуло железом раз, другой, а смерть, повинуясь приказу, сделалась легкой, как дыхание, и, севши на меч, коснулась половецкого тела.

В персметных сумках у седла нашлось чистое полотенце перевязать боярскую щеку. Сташили с него кольчугу, освободили от кожаного подкольчужного кафтана, который как

в воде лежал, сняли мокрую рубаху, и стоял боярин белый, будто вся кровь утескла из пустой царапины на щске, глядел, как по одному выезжали из кургана половцы, оставив оружие. Им вязали руки за спину, поводья одной лошади привязывали к хвосту другой и в три нитки погнали пленников рысцой по следу.

Одного половца постигла в кургане смерть от стрелы, которая пала с нсба в шею между щитом, прикрывавшим его спину, и красм шлема. Двое половцев были рансны, одна лошадь убита и три покалечсны стрелами.

Заметив парня-табунщика, боярин погрозил сму: своевольничаешь! Парень мотнул головой и дерзко ответил:

— Половец моего отца застрелил!

— Где?

— У Лубен.

— Что ж ты сюда пришел?

— У меня там нет никого, а здесь дядя.

— Хочешь ко мне?

— Пойду.

— Но, гляди, слушаться заставлю.

Степь клонилась к долине Сулы, стали видны леса как зеленые заставы. Вот проглянули озера, бывшие русла, в камышовых ожерельях, вспыхнул желтый песок, и открылась серебряная Сула, извилистая, как нарочно перевитая лента. И свежестью пахнуло. Сосны на песках, березки нежатся, будто и не был ты в степи.

Людно перед Кснятином, но не слишком. С дороги Стрига послал сказать, что пойманы половцы. Люди, спешно бежавшие в крепость, бросив все в миг набата, также спешили вернуться: кто вспоминал испотушеннный очаг в летней избе, кто — брошенную скотину, кто — дерево, дорубленное до половины, кто — найденную пчелиную борть в дупле, с сотами, полными молодого меда первого весеннего взятка.

На звоннице весело заливались два малых колокола-подголоска от ловкой руки церковного служки. Перед воротами крепости маячило злато-серебряное пятно. Отец Петр в полном облачении вышел встречать.

Стеснившись двумя крыльями перед мостом, кснятинцы молча проводили глазами пленных половцев, которые, устало сгорбившись, повеся буйные головы, еле держались на утомленных конях: трудно ехать с руками, скрученными за спиной.

А потом, слившись, пошли своим навстречу, славя храброго боярина, славя дружину, а больше славя своих —

от радости, что все вернулись, — встречали женщины, дети, мужчин же было немного, так как большая их часть отправилась двумя конными отрядами в Степь, на подмогу.

Статная женщина, повязанная косынкой алого шелка, в шелковом платье, с густым ожерельем из синих бусин, смешанных с золотыми, шла навстречу боярину. Завидев ее, Стрига спустился с седла, и жена, закинув мужу руки на шею, прижалась головой к груди. Ничего не спрашивая, шла она рядом с боярином, а конь сам следовал за хозяином, по привычке.

Священник благословил Стригу и дал поцеловать крест, теми же словами встретил он, называя по имени, каждого воина. Только молодого парня на пегом коне он спросил: «Звать как?» — «Острожко». — «А по-крещеному как?» — «Евтих». — «Запомнил я тебя... Ты что же, бился, Евтих?» — «Бился, батюшка». — «Сильно поранили тебя?» — спросил отец Петр, указывая на заскорузлый от крови бок пестрядинного кафтана, и нужен был острый взгляд, чтобы заметить кровь на перепачканной, затасканной лопотине. «Шкуру половец поцарапал». — «А ты?» — «Я его засек». Отец Петр покачал головой: «Рано кровь начинают лить, рано». Так же дерзко, как боярину, Острожко ответил: «Он моего отца застрелил, я всех половцев буду сечь, пока самого меня не ссскут».

Дом у боярина в два яруса, наверху светелка размером три сажени на четыре, внизу пять комнат, считая и зимнюю кухню, да еще кладовые. Изнутри в светелку ведет лестница, приложенная к задней, глухой, стенке.

Крыльцо у дома высокое — побольше, чем в рост самого хозяина, под шатровой крышей с низкими свесами, чтоб дождь не забивал, а под крыльцом, снаружи, справа, простая дощатая дверь на простой щеколде. За дверью высокий порог и вниз ведут крутые, высокие ступеньки. Внизу — комнатка с двумя узкими дверями. Двери из брусьев, окованные железными полосами внахлестку, с железными засовами, с висячими замками по полупуду. За каждой дверью — погреб, подземелье или поруб, иначе сказать — тюрьма, темница. Две их, так и называют — правая и левая. В темницах по одной стороне установлены сплошные нары, другая свободна, чтобы было где ноги размять. Стены рублены из толстых бревен дубовых из-за того, что дуб к сырости стоек, вверху четыре окошка, забранных частой решеткой, но втрю решетки нипочем, не как человеку, и он по темнице свободно гуляет, поэтому в ней сухо. Не к

чему пленников гноить, пленники — товар, и тюрьма — тот же склад.

Может быть, где-то, за тридевять земель, в тридесятом царстве, порядки другие, но русским такие порядки неизвестны. На том краю земли, у Восточного моря, торгуют пленниками, а своих продают за проступки, за долги. Так же и на западном краю, у Моря Мрака, по всем странам и берегам, где живут франки, мавры. В Англии французы-завоеватели торгуют англами и саксами, как скотиной, без всякой вины, по закону и по праву меча. Греки-византийцы торгуют всеми пленниками, перепродают любого. Турки повсюду хватают людей. Арабы ходят на дальний юг, в пустыни и дикие леса и захватывают черных людей, и черных рабов можно найти в Константинополе. Половцы хватают русских, германцы ловят литву, жмудь, поляков. Русские чаще селят пленных, но не брезгают и торговлей. В Киеве иноземные купцы — греки, иудеи, арабы — не отказываются от людского товара.

Елена, жена боярина, чтоб не изнывать тоской и беду не накликать преждевременными слезами, озаботилась баню истопить. В этот день, пока Стрига с половцами воевал, приехали из Переяславля друзья, два лекаря: один — иудей Соломон, другой — русский Парфентий. Вовремя пришлось. Люди ученые рану на щеке Стриги промыли настоями трав и сшили разрез шелковой ниткой — через неделю срастется. Они же лечили бок молодого парня Острожки. Половецкая стрела прошла под кожей по ребрам, а парень прибавил рваного мяса, вырывая стрелу. Но не поморщился, когда лекаря и мыли, и шили. В просторной бане было многолюдно — сам боярин, гости, дружинка боярская; там же, отдыхая, пили мед, брагу, пиво в ожидании большого стола. Но из бани Стрига пошел к пленным в поруб, чтобы покончить с делом.

С ним пошел и Симон. Оконца давали мало света, и боярский закуп держал толстую восковую свечу.

Половцы сидели, поджав ноги, на нарах. Зашевелились, кто встал на колени, кто спустил ноги. В углу стояла кадь с водой, в которой плавал ковш, остро пахло немытым мужским телом, кожей, шерстью.

— Хорошо у меня жить? — спросил боярин.

— Ой, плохо, плохо! — ответил ему чей-то голос.

— Встань, подойди ближе, — приказал боярин.

С нар легко соскочил крепкий мужчина. Закуп поднял свечу — половцу было от роду лет тридцать. На русский глаз он чем-то напоминал Долдюка.

— Ты родственник ханский? — спросил боярин.

— Нет, боярин, — отказался половец. — Род один, улус один.

— Кто у вас еще по-русски понимает? Иди все вперед! — приказал боярин.

К первому вылезли еще трое.

— Слушайте, — сказал боярин. — Томить долго я вас не буду. Через день отвезу в Киев. Там цены хорошие дадут за рабов. Продам арабу, русскому, иудею, все равно. Вас отвезут к грекам. Греки найдут вам место подальше. В Египет, на острова, либо италийцам продадут. Мучить я вас не буду, и томиться вам долго не придется.

Как сломанные, четверо половцев упали на колени.

— Прости, боярин, не продавай, выкуп за себя дадим! — заголосили они напёрсбой.

— Выкуп! Потом придете ко мне выкуп назад брать?!

— Нет, не придем, не придем, клятву дадим, чтоб нам степи не видеть, ни солнца не видеть, живыми в землю лечь!

— Нет, не верю вам. Ваш хан два раза клялся, мир принимал. Яблочко от яблоньки недалеко падает. Будет, как сказал, — отмахнулся боярин и шагнул к двери, в которой, для порядка, стояли двое дружинников с короткими булавами.

Половцы разноголосо кричали по-своему. Первый, начавший разговор, цепко поймал Стригу за край длинной рубахи:

— Хороший выкуп даю, большой выкуп!

— Какой? — спросил боярин.

— Сто золотых дирхемов даю, — ответил половец.

— Да ты богат, — сказал боярин. — Дашь двести дирхемов, или тебя продадут в Константинополь.

— Столько у меня нет! — жалким голосом закричал половец.

— Лошади есть, бараны есть, коровы есть, жены есть — все продай. Ты сколько за меня взял бы?

— Ты большой хан, — возразил половец. — С тебя мало взять — для тебя стыдно будет.

— Я не хан, я из князевой старшей дружины, боярин я, у меня дирхемов нет. Будешь платить? Или не видеть тебе степи, не нюхать больше полыни.

— Боярин, головами с меня возьми, пленников дам.

— Пленники дешевы, — сказал боярин, отступая перед половцем, который, стоя на коленях, хватал Стригу за ноги. — И какие у тебя пленники?!

— Хорошие, сильные, молодые, девки есть, бабы есть.
— Девоч ты, волчья кровь, перепортил, молодых голодом заморил. И откуда у тебя пленники?
— Хан Долдюк под Рязань ходил.
— И сколько дашь пленников?
— Двадцать дам.

— По десять дирхемов считаешь! — яростно закричал боярин, отбрасывая половца ногой. — Зря я на тебя время трачу, пс ты! Тебе не воевать, а баранов пасти!

Половцы закричали все разом по-своему, по-русски. Не слушая, боярин вышел, и провожатые затянули тяжелую дверь. Поруб гудел за дверью, будто рой шмелей. Кто-то стучал в дверь, кричал, но уже невнятно — толстые доски гасили голос.

В просторных сенях, освещенных заходящим солнцем, боярина встретили доспехи Долдюка. Умелой рукой на крестовине была распялена половецкая кольчуга, удерживаемая, как на человеке, подкольчужным кожаным кафтаном. Снизу — кожаные штаны с нашитыми спереди железными полосами и сапоги из красного сафьяна. Сверху — низкий шлем, чуть надрубленный справа, соскользнув откуда, меч Стриги освободил хана Долдюка от жизни, а боярина — от врага.

За столом Стрига рассказывал, обращаясь к гостям, как положено, и поглядывая на жену, которая села в нижнем конце стола, где было ей удобней следить за порядком:

— С хан Долдюком мы были старые знакомцы. Впервые встретились с ним мы давно, в день несчастного боя на Альте. Был тогда Долдюк лет двадцати с небольшим от роду, а я уже зрелым мужем, усы были такие же, — усмехнулся Стрига. — Я Долдюка срубил, как думалось. Потом оказалось, что я ему только ухо рассек и в плечо ранил. От того дня и прозвище его пошло — Рваное Ухо. Тому назад лет пять он здесь гостил день проездом, когда все ближние ханы ездили мир покупать у Святополка Изяславича. Напомнил он мне о старой встрече сегодня в сшибке. Злой, злобный. Сказал, Елена, что хотел тебя взять. И я поверил.

Стефан, старший подручный боярина, сказал:

— Слыхатъ было, как он тебе говорил. Но что — не расслышали мы.

— Он хотел меня обидеть, чтобы я в гнев пришел. И обидел...

— Нужна я ему, старуха, — подала голос боярыня.

И все взглянули на нее, и никто не возразил, ибо не полагается, по русскому обычаю, чужую жену в глаза да при муже славить. Елене тридцать лет, темно-русая, сероглазая, на ясном лице нет ни одной морщинки, только сейчас в гнѣве брови сдвинулись и меж ними врезались две складки. В тонких пальцах держит платочек. Не думая, рванула, и с треском разорвалась нежная ткань.

Задумавшись, Стрига опустил голову, и концы усов легли на грудь рубахи, вышитой красными нитками. Такие усы у него одного — по старинному обычаю. Ныне все с бородами, подстриженными, или, как принято говорить, подщипанными. Седины много в усах и на голове боярина, и кажется он сейчас вышедшим из старого времени бывшего Святослава или первого Владимира. И серьга у него в одном ухе тоже по-старинному, ныне так не ходят мужчины.

— Вот так, — опомнился Стрига. — Не легко мне пришлось с Долдюком. Силы у него не меньше, моложе он меня лет на двадцать, коль не более. Уж очнь я был ему ненавистен, слишком был он злобен, спешил, кровь мою хотел поскорее увидеть, и сам растратился... Я же был спокоен и дрался на своем месте. Вот и сказке конец, дорогие гости.

Двое слуг вносят разварную белужину на деревянном блюде такой длины, что одному не унести — руки коротки. Третий тащит серебряную миску, полную икры. Свежая икорка, сегодня вынута, промыта и в меру посолена самой хозяйкой. Кто понимает — нет ничего вкуснее икры, но вкус ее — от соли. Несоленую икру собака голодная есть будет, человек же в рот не возьмет.

Лекарь Соломон отказался от икры — закон Моисея не позволяет есть икру, ибо в каждой икринке заключена целая жизнь. Соломон был в русском платье, только стрижен не по-русски. На висках отпущены длинные пряди волос; а сама голова покрыта черной ермолкой — Соломон лыс, ему уже давно бог лба прибавил. Это человек, известный и в Киеве, и в Чернигове, и в Переяславле. Лечит он раны, переломы, и от его лечения кости становятся как были, а от ран остаются малые рубцы. Знает Соломон и травы, хорошо пользуется от боли в сердце, от головной боли, даже женщинам помогает в трудных родах, и многие матери обязаны ему жизнью своей и детской.

Впервые прославился он, когда жена князя Изяслава Ярославича не могла разрешиться князем Святополком, и нынешний великий князь киевский ему обязан жизнью. Лекаря повсюду любили, как доброго человека. За труд брал он немного и отказывался, когда иной от радости хотел ему лишнее дать; сам же всем помогал, не рядясь о деньгах, и нищему мог сам помочь не только наукой своей, но и деньгами. За то слыл бессребрником и по давности жизни своей среди русских был всем известен так, что встречал друзей везде, стоило ему лишь назваться. Любил Соломон ездить, повсюду оказывая помощь, для того он и в Княтин приехал вместе с русским другом своим, тоже лекарем, ровесником, Жданом по русскому имени, в крещении — Парфентий.

— Сильно ограничивает Моисеев закон, — заметил отец Петр. — Белуга поймана не для икры, оказалась с икрою. Что ж? Бросать, что ли, добро? В евангелии сказано: не в уста, а из уст. Телятину есть грешно, с этим согласен. Соломон, Соломон! Имя-то у тебя знаменитое! Святой ты человек во всем, одно в тебе — вера ложная, обряды обременительные у тебя.

— Вера у меня праотеческая, — возразил Соломон. — Мы, иудеи, подвергались многим гонениям за веру. Вера — от совести, от предания, от глубины человеческой души. Однако же бог, разметав нас в страны рассеяния, сохранил народ.

— Да, римляне-язычники жестоко вас гнали, но не за веру. Греки и латиняне воздвигали на вас гонения за веру, став христианами, но начали гонения через пять сотен лет по пришествии Христа. Стало быть, было у вас время избрать себе веру на полной свободе. А что от гонителя, от врага веру, даже истинную, стыдно принимать, в этом ты прав. Но гнали вас не только за веру...

— Отец Петр! — прервал священника боярин. — Пренес о вере, коль наш добрый гость захочет, устраивай во время иное. Ныне же мы за столом.

Пора было вмешаться хозяину. Жадный князь киевский Святополк казну набивал с помощью иноземцев, имея советников среди иудеев. Они давние жители Киева, в Киеве есть улица, ими заселенная, и ближние к ним городские ворота называются Иудейскими, по старому обычаю; как есть в Кисве Ляшские ворота по имени улицы, где живут ляхи — поляки. Боярин Стрига не хотел допустить неприятного разговора об иудейских помощниках

князя Святополка. И, чтоб пресечь подобное под корень, добавил:

— Каждый из нас за себя отвечает и перед людьми, и перед богом. Что, отец Пстр, не так ли нас Церковь учит? А также отвергает насилие в делах веры!

— Боярин, боярин, — ответил священник, — с тобой не поспоришь, ты ученый человек, хоть в Печерскую лавру игуменом можешь идти. Не сердись, Соломон, прости, если в чем тебе сгрубил. Скучно мне бывает. Боярину не до споров со мной, другие тоже охотнее железом с половцами спорят, у меня язык ржавеет, как заброшенный серп.

Соломон кивнул, улыбаясь, и вдруг поднял палец, призывая к вниманию. Откуда-то донеслась заунывная песня. Все прислушались. Прерывая молчанье, Стрига поднялся.

— Елена, любушка, — позвал он. — Прикажи-ка подать нам греческого вина, выпьем мы за ныншний день. Половцы-то мои запели наконец-то. Стало быть, уладились меж собою, и со мной. Им невдомек, что я по-половецки понимаю. А Бегунок, что мне светил, и вовсе как половец. Там, — боярин указал вниз, — Долдюков неродной брат сидит. Испугавшись продажи в Константинополь, кто-то грозился его мне выдать. Теперь наменяю на них пленников будто из милости, а ведь скажи им прямо... Что, Бегунок? Придется тебе в Шарукань ехать купцом за пленными нашими.

— Поеду, боярин, — охотно согласился боярский закуп.

— А ранские каковы? — спросил Стрига лекарей.

— Будут живы, — ответил Парфентий, — коль к ранам огнечица не прикинется. Четыре дня выждать нужно. У тебя, боярин, порез чистый и кровью омылся обильно, за тебя мы с друг-Соломоном поручаемся перед боярыней.

— А мы с отцом Петром будем молиться о здравии больных половцев, — отозвалась боярыня, — не из корысти, но потому, что за каждого из них выкупится сколько-то наших из половецкого плена.

— Да, красавица, да, сердце золотое, — вдохновенно сказал Соломон. — Изучаю всю жизнь, от раннего отрочества, болезни тела. Нет болезни тяжелее злобы; дух мятущийся, беспокойный есть болезнь, он тело ослабляет. Человек омраченной души чаще болеет, раньше умирает. Бог благословил древнейшего Соломона мудростью, долгой жизнью и храм разрешил ему построить, ибо Соломон мирно правил, не проливая крови. Давида же, отца Соло-

монова, бог лишил такого права, ибо Давид много людской крови пролил. Верно сказал нам муж твой сегодня: и в злом деле битвы злорадного помощник.

Час поздний, на северо-западе догорает долгая летняя заря, гаснут розово-желтые краски небесных цветов, сменяясь прозрачною бледностью, и бледность эта переселяется к северу. Там, в Новгороде Великом, нынче ночи кратки, зори вечерние целуются с зорями утренними. А в северных новгородских пятинах на Ваге, Двине и по Белому морю совсем нету темноты. Там ночное небо сияет без звезд, без луны. Там летние дни захватывают владения ночи, оставляя себе из даров побежденной только свежесть.

Разогретые жарким солнцем громады княжеских валов отдают тепло, как остывающая печь. Небо черное, россыпь звезд так ярка, что, не будь привычки, каждый подивился бы земной темноте, задумавшись, почем не в силах звездные тысячи заменить сияющее око дня, хоть малую его часть. От болота, от сульской долины сочится свежесть вместе с немолчным стоном лягушек-холодянок. Их там, как звезд небесных, — без числа, но они не в силах заглушить залихватистый свист соловьев, прячущихся в сочных кустах по Суле. С каждым вечером все меньше становится милых певцов, молчаливое лето зовет их к отдыху после весенних волнений. Но и одного соловья не в силах заглушить лягушачьи мириады.

Успокоив гостей для ночного сна, боярин отправился в обход. Боярыня пошла вместе с мужем, как делает она всегда после дней, наполненных тревогой. Побывали они у западных ворот — их называют Переяславльскими — и у восточных — Половецких, они же и Сульские. Не спрашивая сторожей, боярин сам увидел по канатам, натянутым на ворота, что мосты через ров подняты. Потом поднялись на вал, обошли кругом за заплотами. Безлюдно на валах. Мало людей в крепости, и нечего их морить ночными бдённостями. Не оклики встречали ночной обход, а тихое ворчанье, тут же смолкавшее. Сторожа сладко спали, полагаясь на собак, приученных к охране. И разбудят, и чужого не пропустят. Крупных псов в Княжине до полусотни, на валу их дом, вечерами собираются они сюда на кормежку, утром их здесь кормят опять.

Окоем земной пуст от звезд, дальняя мгла встала стеной, закрывая Княжину. Призрачная стена. Сульская долина не видна, и в ней человек обозначил себя самодельными

звездочками костров. Сегодня мало их — поближе три, они кажутся глубоко внизу, и налево, в сторону Римовской крепости, четвертый видится, тлеса, как светлячок в лесу. Нынче людей больше обычного вернулось в Кснятин ночевать. Нынче оставшиеся у своих угодий осторожны и не жгут костров. Сам Стрига и боярыня Елена знают: костерки эти видны только им, сверху. Зажжены они во впадинах, скрыто. Пройдет несколько дней, забудется неудавшийся наезд Долдюка, и Кснятин заживет обычной жизнью, не думая о половцах. Смертен человек, а ведь не провожает слезами прожитый день, хоть каждый вечер на малый шаг неустанно ведет каждого к порогу последнего дома земного. Даже радуются, торопят время, ждут лучшего, а не худшего.

— Я несколько раз, ожидая тебя, поднималась на звонницу, — сказала Елена. — Видела, как ты погнался за ними, а потом потеряла. Где же ты догнал их?

— Там, — ответил Стрига, показывая рукой. — Правее Двугорбого кургана. Налево там будет большая Острая могила, а поближе к нам — Близнята.

— Близнят я будто бы различала — дальше же слилось все.

Десятка четыре курганов видны на восток от Кснятина, но только в особенно ясные дни, и то лишь с утра. Большая часть из них бог весть когда крещена, и безымянным ведется счет от имеющих имя. Известны до них и расстояния. Некоторые служат для сторожей, там заготовлено смолье и укрыты от дождя дрова, чтобы днем пустить дым в знак тревоги, ночью — огонь. Сторожей высылают не часто, лишь когда сообщат из княжого Пересяславля, что половцы шевелятся, либо когда тревогу в Кснятин привезут гонцы из Лтавы, Голтвы, Лубен. Дальний Донец гонит своих посыльных только в Лтаву.

Через Кснятин ходят разноязычные купцы к половцам, от половцев. Бывают и очень дальние, из-за половцев: турки, арабы, иранцы. Вестей много, много пустых речей. Боярин Стрига научился понимать, весить чужое слово. Пятнадцать лет — срок большой. Князь Владимир Всеволодич спрашивал сам, опасаясь как бы Стрига не покинул его: «Не соскучился ты? Не хочешь ко мне жить в Пересяславль?»

Нет, не соскучился, прижился к месту, как сурок к своим подземным ходам, как бобр к береговой норе. Здесь он первый. Про древнего кесаря Юлия доводилось Стриге читать, будто тот говорил: лучше быть первым в деревне,

чем вторым в городе. О ком-то писал римлянин Транквилл Светон: хотели его столкнуть на второе место, чтобы потом совсем свести вниз. На Руси все по-иному. Князья порою толкаются поверху, но никто не задумывается, как там, сбив князя, сесть самому на его место. Нет ярма и на дружине. Старшие ли, младшие ли вольны выбирать князя, место и без крови уходят туда и к тому, кто им кажется лучше. Зависть удовлетворяется не наговорами и заговорами, а переходом. Доброму дружиннику всюду место.

— Было у меня сегодня, — говорила Елена, — будто увидела я что-то... Сердце замерло, села и слушаю, слушаю, жду. И вдруг ты явился мне, улыбка твоя. И сразу нет ничего, и через окно солнце светит, луч лежит у моих ног. Отлегло от души. И приказала баню топить. Вскоре приехали Парфентий с Соломоном. Я их встретила, рассказываю, а сама к себе нет-нет да прислушаюсь: тихо все, покой на душе.

— Ведунья ты моя ненаглядная, — сказал боярин. — Все ты обо мне знаешь всегда.

Бывало так между ними не раз. Ранят Стригу иль смерть близко пройдет, жена знает, больше знает, чем сам Стрига. Ибо смерть в бою проходит рядом, ничем не извещающая сражающихся. И потом, слушая жену, Стрига, вспоминая, понимал опасную близость.

— Гляди, — показала вдаль Елена, — там уже не три костра, а один. Пора и нам на покой.

В просторной светлице не жарко. Ночная прохлада успела перелиться через валы, и вест свежестью через открытые оконца, прорубленные в противоположных стенах. В правом от входа углу перед образом богоматери работы киевского мастера Алимпия-богописца теплится огонек в рубиновой лампаде. Икона писана по византийским образцам, поясная. Мать придерживает правой рукой ножки младенца ниже колен, голова у нее чуть повернута влево, к младенцу, облачены оба пышно, а левой рукой мать поддерживает себе голову. Младенец сам собой держится на воздухе. Последнее можно понять, лишь внимательно рассматривая икону: чудо совершенно столь естественно, что Стрига сам разглядел его через несколько лет. Однако же Алимпий-богописец не удержался в точном подражании. Лицо богоматери не изможденно-постное, не старообразное, но живое, молодое, здоровое, как у женщины счастливой, удостоившейся великого дара избрания. Нет в глазах

скорби, а ласковая забота. Известно, что митрополит Киевский осуждал иконы Алимпия за ложнокрасивость, и было прение в Киеве между митрополитом с его клиром и Алимпием с его друзьями-мастерами. Митрополит ссылался на обычаи вселенской христианской Церкви, богописцы — на евангелия и апостольские послания: нигде-де не сказано, что богоматерь находилась в страданиях и тоске. Митрополит указывал, будто бы грех изображать ее в радостной плоти, богописцы возражали, что грех будет изображать ее тоскующей и прежде лет старообразной, будто бы ропшущей против воли бога, она же была ликующей. Митрополит жаловался великому князю Всеволоду Ярославичу на непокорство богописцев. Князь Всеволод, выслушав обвиненных, их оправдал, говоря: «У греков так, у нас иначе. Лицезрение богоматери нашего письма способно вызывать у христиан слезы умиления, а не тоски, что будет угоднее богу».

На полу широкий ковер мягкого дела. Вещь не простая и дорогая вдвойне: в добыче были взяты и ковер, и будущая жена. Елене тогда шел седьмой либо восьмой год. Знала она о себе, что захватили ее половцы вместе с матерью под Рязанью совсем малым ребенком. Вскоре мать умерла. Девочка запомнила из родной речи несколько слов. Возвращаясь в дружине князя Глеба из Тмуторокани, Стрига вместе с другими поднимался на лодьях вверх по Донцу. Зашли в реку Оскол и разорили половецкие вежи близ устья Оскола. Дело случилось поздней осенью, при заморозках. Мстили за нападение: половцы напали ночью на дружину, когда, спускаясь по Донцу, Стрига с товарищами ночевал на берегу. Ушли от половцев по воде, потеряв и людей, и весь табун, который гнали берегом, и все, что осталось на привале. Теперь же, подкрепив силы тмутороканскими бойцами, половцев избили без пощады, по тмутороканскому правилу: чтоб боялись. Тмуторокань на отшибе, держаться там можно только силой и страхом, и, воюя с ближними соседями, тмутороканцы их мало в плен берут: все равно не удержишь. Тогда освободили несколько десятков своих. Взяли много скота, лошадей. Из прочей добычи Стриге достался этот ковер персидской работы, горсть дирхемов, два серебряных кубка, кое-что из оружия. А девочку он сам подобрал почем-то. Всечером она откуда-то выползла к стану. Он ее накормил из забавы, утром нашел возле себя. Собирались — не отстает девчонка. Бросить на гибель не позволила совесть. Хотел добрым людям оставить в Донце, она вцепилась, как взрослая, и

покаялась, что умрет. На пути в Переяславль и вправду чуть не умерла. Ударили ранние, необычные морозы, и девочка выжила лишь в ковре, в которой закатывал ее Стрига.

Жена ужаснулась мужниной добычей: кожа да кости, на ногах не стоит. Спешно окрестили маленькую язычницу, чтоб невинная душа за первородный грех в ад не пошла. Нарски Еленой — по имени жены Стриги, но крестной матерью Елена-старшая быть не захотела. Боялась — священик напугал сомненьями: крестит он-де нсразумную, речи не знающую. Стрига напомнил: наших дедов добром крестили? Оба они, духовный и дружинник, род вели из Новгорода Великого.

Елена-маленькая от святой воды к жизни воскресла. У Стриги от жены было двое мальчишек-погодков, с ними, как с братьями, присмка росла, вместе грамоте училась и, надо же, власть взяла, они ее больше слушались, чем мать. Елена-старшая ревновала, наговаривала мужу. Малая же смотрит на Стригу, глаза — как у взрослой. Не открываясь, спрашивал жену: «Глядит она будто бы странно, как думашь?» — «Мнится тебе что-то, ребенок как ребенок, мне ль не знать!»

Привыкла жена, не ревновала больше. Говорила без шуток: «Ты, маленькая, им как мать». Но называть себя матерью не велела. «Вот тебе мать», — приказывала она девочке, заставляя целовать няньку мальчишек, крестную мать Елены-меньшой.

Стрига был в дружине князя Святослава Черниговского в годы, когда половцы сделали первый набег на Русь и побили князя Всеволода вместе с киевским князем Изяславом, а сами были истреблены Святославом.

Святослава Ярославича держался Стрига в дни его киевского княженья, когда Изяслав бегал за русской границей, ища помощи. От Святослава в последний год его киевского княженья Стрига отъехал к Всеволоду, досадуя на скупость, которая прилипла к Святославовой старости. От Всеволода Стрига добром пошел в новую дружину сына его Мономаха, Владимира по крещеному имени. И, первого из всех, кому служил, полюбил молодого князя.

Одному трудно делать. Бревно и то легче поднять вдвоем, а вчетвером — и подавно...

Стрига учился от людей, от русских, греческих, латинских книг, повествующих о государствах и правителях. Князь умеет дружину собрать, в ней выделить больших, умелых умом, а не только мечом, совещаться с боярами, и

коль поступать не по их совету, то мудро, чтоб сами советчики соглашались — верно, что нас не послушал, — тогда он и князь. Подневольная дружина — не дружина. Хочешь, нанимай удальцов, чтоб смотрели тебе в глаза холопы. У худаго князя и дружина худая, у умного — умная и словом и делом.

Улетел мыслями Стрига, жена вернула домой. Рассывая на ночь косы, Елена сказала:

— Бывает со мной, снятся густые леса с чистой речкой в белом песке, птичий щебет, поверху ветер струится через вершины, тоже как песня. И тянусь я туда. Хочешь? — И Елена, не вставая от столика, где она глядела в загадочный сумрак едва освещенного зеркала, вдруг вся повернулась к постели. — Хочешь, уйдем отсюда? Где-либо у Владимира Клязьминского либо в верховьях Клязьмы у Дмитрова поищем себе места. Те места хвалят все.

— Что? Бросить наш Кснятин? — Стрига даже сел на постели. — Зачем?

— Затем, что покойно там. Глубинные земли. Ни половцы, никто другой туда не достанет.

— Бросить Кснятин, всех здешних людей?! Я каждого знаю, из кснятинской тысячи каждый знает меңя! — Увлекшись, боярин встал — и дремы как не бывало.

— Кснятин пуст не будет, у князя найдется боярин для Кснятина, — спокойно возразила жена, опять повернувшись к зеркалу.

— Не ждал я, — только и нашелся сказать Стрига.

— И я не ждала.

— Чего?

— Услышать твои жалобы на слабость, на старость. Слышать, как ты лжешь на себя.

— Теперь понял я, — сказал боярин, опять улегшись на широкую постель. — Время идет, любушка моя, время уносит и великих, и малых.

— Я не о том, — возразила Елена. — Речи твои не новы мне, спор наш давний, к нему я привыкла. Но не нужно тебе так говорить при чужих, не хочу я, чтоб слух пошел. Слово — как лист. Несет его ветром и треплет так, что не узнаешь, с какого дерева он упал.

— Я при своих говорил.

— От тебя же я не однажды слышала, что чужая душа — потемки. Значит, не уйдем из Кснятина?

— Никогда! — ответил боярин.

Кончая заплетать косу в три свободные пряди, боярыня поднялась со стула без спинки. В ночной рубахе тонкого

полотна, достававшей до шикилоток, казалась она очень высокой и стройной, что елка. Тихо, будто нет никого на свете. Немо стоит тишина, как бывает в помянутых Еленой лесах. Но прислушайся — и уловишь слитный лягушачий хор. К нему ухо кснятинцев привыкло до глухоты. А вот и далекий свист запоздалого соловья. Хор холодеянок выпевает свое «ууу-у, ууу-у» то выше, то ниже, а соловей выводит трели, рассыпается, щелкает, ждет и вступаст опять.

— Что ж он? — спросила Елена. — Ужель свою любушку до сих пор не нашел, или она сго бросила?

— Он от счастья, — ответил Стрига. — С тоски так не станет.

В светлице свежий запах полевой мяты и донника с легкой примесью цветущей полыни. Не смешиваясь, сочится, как далеккий-далекый зов, как воспоминание, особенный аромат, для которого нет русского названия, ибо цветы эти или растенья живут где-то у индов. Так говорил араб-купец. Это маслянистая янтарная жидкость. Араб отмерял ее каплями, наполняя крохотный, узкий сверху, пузатый внизу горшочек из глины с поливой изнутри и снаружи, чтоб удержать аромат. На вес шести золотых дирхемов пришлось немало: ароматный сок легок, как масло. Елена пользуется им изредка. Араб намекнул, что его снадобье добывают из цветов, которые увеличивают любовь мужчин к женщинам. Может быть. Елене такое не нужно, но запах прескрасен сам по себе. Есть и мазь для рук и лица из воска кашалотов, который привозят новгородские купцы. Смешиваясь с водой, эта мазь входит в кожу сама. Румян для щек и сурьмы для бровей Елена не держит — бог ее одарил и румянцем, и писаными бровями. Муж и так любил бы ее, но ароматы и нежность кожи нужны ей для себя: сладко ей ходить за собой.

Встав, женщина подошла к иконс, потянувшись, отбросила шелковую завеску, опустилась на колени. Кончив молиться, она оглянулась. Муж уже спал, сон сразил сго мгновенно. Елена помолилась и за него. Муж за жену не замолит, а жена за мужа замолит.

Спит. А ей сейчас не уснуть еще. Днем после волнений, когда нечто шепнуло ей: он благополучен, Елена заснула, сберегая себя, заснула так же, как он сейчас, — будто срубило.

Спит. Ее собственный. Мужчина, муж. Уедем отсюда. Жаль будет, здесь вся жизнь, вся, вся. Здесь и могила единственного младенца, бог дал и взял торопливо. За что?

Уедем. Сегодня в душу мужскую заложено зернышко. Забыл он сейчас все, завтра не вспомнит, через год не вспомнит. Но час придет. Нужно будет уехать, чтоб его сохранить, пусть старого, пусть дряхлого, но — своего. Этого ему не понять, это тайна. Знать ее ему нечего, слишком горд он, и жене думать надобно заранее, пока не срубил его новый Долдюк. Проклятый род: его побили тму-тороканцы, когда Стрига спас ее. В те дни Долдюку лет двадцать было, и он начинал ханствовать под рукой отца-старика.

В доме Стриги найденку не бередали расспросами. Прошлого не изменить, забыть нужно плохое. Другие забыли, она помнит.

Нынешние пленники не обычные, они — собственная добыча Стриги, взятая на поединке по божьему суду. Проговорится Елена, и муж прикажет всех удавить. Брезгуя половцами до отвращения, Елена их ничуть не жалела. А на кого своих выкупать из полона! Из-за ее избыточного детского горя родится новое горе. Такое ей не на счастье, придется спорить с мужем, просить, уговаривать.

Не первая тайна... Считать ей, наверное, нужно от дня, когда он жене говорил о странных глазах ее — она научилась их прятать. Ей кажется, что она Стригу полюбила девчонкой-заморышем, когда к нему выползла после избиснья орды отца Долдюка. Училась наукам, чтобы его книги читать. Не из простой благодарности из кожи вон лезла, добиваясь стать правой рукой его первой жены. И с той же тайной мыслью за долгую болезнь старшей Елены крепко на себя переняла весь хозяйский распорядок, уклад, расчет и ключи.

Для него старалась. Для себя... Добилась того, что Елена-старшая на смертной постели ей завещала заботу о нем, и о доме, и о сыновьях.

В Чернигове они жили тогда. Он привык, чтоб дом его был полной чашей, гостей любил. Она, девчонка-подросток, набелившись, насурьмившись, чтобы старше казаться, вела дом на удивление людям.

Город Чернигов не Киев, но в малом уступит. Сватали вдовца. И вольных прелестниц, своих, иностранных, достаточно. Соблазн на каждом шагу. Она же в себя верила, на него сетку плела. Языки о них стали трепать — она от себя подбавляла. Ныне вспомнить и смешно, и страш-

но: от глупости была девичья смелость. А все же свос взяла...

Вон он, раскинулся. Лежа в свете лампы, он кажется юным. Сон всегда его красил. И лампа была та же, и икона... Милый ты мой! Как же мне было трудно! Тебя не упустить, бесстыдной перед тобой не выйти, и твой стыд побороть. Пятнадцать лет мне было, тебе — сорок. Горд ты, гордость твою берегу. Не ты — я тебя взяла. Сколько тайн держу от тебя — для тебя, на твое счастье.

Выглянув в окно, Елена по звездам — он научил читать время по небесным соцветьям — узнала: поздно, через час будет полночь. Легла рядом с мужем, повернувшись на бок, чтоб, не мешая, чувствовать его за спиной. Закрывает глаза, размышляя о последней заботе и тайне: как его вести, чтобы он перестал тяготиться приближением старости.

Спит Княтин, сон овладел живыми, все неподвижно, умолкли лягушки, замолчал соловей. Прах дальних предков смешан с землей, из которой насыпаны крутобокие валы крепости, и так же, как предки, потомки их полагаются на чуткость собак. Не выдадут, не было случая, чтоб выдавала собака человека, который кормит ее.

Мирно спят, позабыв дневную тревогу, наработавшиеся до темноты княтинские жители, именуемые тысячей, хоть точно они не считаны — нет росписи, — спят, разбросавшись в окрестностях: верст на двадцать будет окружность ее, коль считать от креста церковки имени святого Константина. Спят спокойно, не думая о стрелах, о саблях, которые и близко, и далеко острят на их головы, спят, где пришлось, не за крепостным валом, а просто — на волсе.

Денница только заиграла, как все уже на ногах, уже готова пища, уже просит боярыня Елена к столу гостей и мужа. Еще не кончили есть, как прытко вбежал боярский закуп Бегунок и поклонился, желая всем доброй пищи. Стрига вскинул глаза: что?

— Так и вышло, — с улыбкой ответил закуп. И, показывая пальцем вниз, пояснил: — В полном разуме стали степные бояре. И этот, богатенький, смиреннее всех. Просит за всех вместе выкуп принять — в пять пленников с каждой головы и со всех вместе сто золотых дирхемов. Начали с трех за ихнюю голову.

— Пусть будет, — согласился боярин. — Пойди-ка сюда. Садись, выпей чашу.

Бегунок принял угощенье, но сесть отказался:

— Непристойно, люди уважать не будут меня.

— Все-то они играют, как малые дети, — засмеялась боярыня Елена. — Который год играм пошел? — спросила она Бегунка.

— Шестой, матушка-красавица, — отвечал закуп. Был он сух телом, темноволок, длиннолиц. Было в нем нечто быстрое и в движениях, и в словах, и в глазах.

— И долго ты с ними договаривался? — спросил Стрига.

— Да с ранней зари, — скороговоркой отвечал закуп. — Им еду отнесли, тут и я. Встал перед ними, — Бегунок преобразился, явив неподдельную важность, — и жду. Они говорят, я молчу. Так и вымолчал. Они, — и Бегунок сразу принял обычный вид, — мяса теперь просят, говорят: хлеб невкусный. Я обещал.

— Хорошо, — сказал боярин, — пусть не жалуются, что здесь их томили. А ты собирайся в путь. Кого возьмешь?

— Тропца да Иванку Берендея. Я уже их повестил, вселел изготовиться в дорогу.

— Так с богом, счастливый тебе путь, — сказал боярин, обнимая Бегунка.

— Ну ж слуга у тебя! — воскликнул Симон вслед Бегунку.

— Золото, — подтвердил боярин. — Он бежал самосильно из половецкого плена, но дальше Княтина не пошел. Некуда мне, говорит. Закупиться предлагает. Зачем тебе, дам землю, не хочешь на землю сесть, ремеслом каким займись. Надосло, говорит. Сейчас деньги нужны. Написали рядовую грамоту на десять лет. Проходили купцы из Киева в Шарукань. Вернулись — привели ему пять выкупленных. Свои? Нет, какие пришлись. Бегунок мой признался, что, бежав, поклялся в страхе пятерых выкупить, для того сам закупился. Хотела ему боярыня выкупные деньги вернуть. Не взял. Одевают, кормят, грют — на что деньги? Хотел я порвать рядовую грамоту, он не позволил: бесчестье ему, зарок он не сдержал. Так и живет. Одного не терпит — чтобы его наставляли, как делать порученное дело. Поэтому я его не спросил, к кому он поедет, с какими половцами будет говорить в Долдюковой орде. Обидится — не малый-де я.

— А кто он, из каких, откуда родом? — спросил лскарь Парфентий.

— Не знаю. Он не говорил. Я не допытывался. Я купил его руки. Ум свой он мне дарит по доброте. Душа — его остается.

Кончив с трапезой, лекари ушли в отведенное им место, куда собирались нуждавшиеся в помощи, а Стрига повел Симона к колодезю.

Сруб под двускатной крышей уходил глубоко, воды не было видно. Водяная жила, по расчету Стриги, текла на одном уровне с низким стоянием Сулы. Бадьи вытаскивали воротом. Вкусная вода летом была так же холодна, как зимой, — зубы замлевали. Колодцем Стрига гордился и не уставал хвалиться. Мало того, что приказал рыть, сам рыл, проходя последние две сажени до воды. До Стриги воду в Княтин возили с реки, при осаде пришлось бы брать ее вылазками, с боя.

— Вот и все хозяйство мое, — заключил боярин. — Так и расскажи князь Владимиру. Сидит-де Стрига, накопивши запаса, голодом и жаждой его не взять. И оружия хватает у меня. Хватило б людей.

— Людей в твоей тысяче много, — возразил Симон.

— Много зимой, — согласился Стрига. — А весной, летом, осенью, когда жатвы да возки? Глупы половцы, тем мы и живы. Будь я половецким ханом из главных, я бы летом в эту пору да и раньше либо позже навалился б всей силой, разбросав конницу лавой. И нашлось бы у меня в крепости под рукой не больше полусотни людей. Земля — не камень. Княтин силен, пока есть кого поставить на забрала. А так — начнут копать в десяти местах. В пяти отобьем, в пяти прокопают.

— Хорошо, что ты не хан, — только и нашелся ответить княжич.

— Хорошо, говоришь? А завтра они поумнеют чуть-чуть — и довольно.

— Что ж делать?

— Ничего. Что делали, то и будем делать. Пока я жив, Княтин удержу. Так и скажи Владимиру Всеславичу. И еще скажи — нужно прапрадеда его, князя Святослава, из могилы поднять. Вот как.

С того начинали, тем кончают боярин Стрига и Симон. Памятью о Святославе, о Владимире полны песни, устных сказаний столько, что в них запутаешься; как медведь в тенетах: в одних сказано, чего нет в других, иные хвалят такие дела, какие осуждены в других. Достаточно есть и записей. Кто-то сам видел, будучи участником, кто-то изложил рассказы других. Есть погодные описания — лето-

писи, тоже разногласные. Одному кажется худым то, что другой хотел хвалить. Так ли, иначе ли, однако прошлое не таит загадок.

— Я почитаю Святослава великим князем за то, что он в походах так хозар разбросал, что само имя их пропало. Дальше всех он ходил, Волгу покорил, Тмutorокань устроил. Величайшие дела ему удались, мало, что умел управлять боями, умел заботиться об обозах. Это, княжич, потруднсе, чем полки расставлять. Святослав в степь уходил и в ней терялся, хозары не знали, где Русь. Он же вырывался, как барс из пещеры. С голодными дружинами на голодных конях не прыгнешь. Как ходил! Втайне пути разведает, будто сам смотрел. Ибо знал, кому что поручить, а поручивши — верил. По молодости — молодость не упрек — ошибся он в патрикии Калокаре и посольских греках. Писали, будто греки соблазнили его золотом. У Святослава было больше золота, взятого на хозарах, чем во всей Византии. Калокар соблазнил Святослава имперской диадемой. На что было Святославу восвать империю! За то время печенег из-за Волги пришли на место хозар, едва Киев не разорили. И пошло бедствие от печенегов. Князь Святослав дружины израсходовал против греков понапрасну и, на свою да на нашу беду, пропал на днепровских порогах от собственного небреженья. Да и дружина с ним шла глупая. Так он ушел, настоящего не совершив.

— Какого настоящего? — спросил Симон.

— На Волге рубсж положить. Кснятину, да Лубнам, да Римову стоять бы не на Суле — на правом волжском берегу. Были на такое у Святослава и сила, и время. Половцев били б на переправах, всех бы смиряли заволжских. И осаживали их на хорошей земле, учили б пахать, и, глядишь, они бы, оседлые, вместе с нами заботились о волжских крепостях. Как берендеи и торки на Руси. Половец тоже человек. Ссейчас труднее стало, а ничего иного не придумаешь. Мои мысли ведомы князю Владимиру Всеволодичу. Скажешь ему: на чем стоял, на том и стою. Нет и не будет покоя Руси, пока не пойдем в Степь по-святославовски. Сломать нужно половецкую кость, как сломали хозарскую, и встать на Волге.

Борется высшее с низшим, хочет солнце иссушить землю. В бледном небе оно уже расправилось со всеми облаками и, не терпя ныне оболочи, медленно катится огненным шаром, для которого нет сравнения — и добела каленное

железо, и пылающие плавильные печи, да что ни возьми — все пустые слова.

Небесные звери, воздушные твари, которые, по старорусскому поверью, живут в воздухе, подобно рыбам морским, не касаясь твердой земли и в ней не нуждаясь, либо ушли в сторону тени за земную округлость, либо имеют иной, собственный способ укрыться от солнца.

— Помнишь, Симон, греческое предание об Икаре, сыне Дедала? — спросил Стрига княжича. — В такой день, как сегодня, солнце ему воск на крыльях растопило б еще на земле...

Боярин Стрига рад новому человеку. Есть кому рассказать всем своим известное, не раз и не два обсужденное. К тому же новый человек — помощник для мысли. Находишь при нем новые слова для старых рассказов, и старое, истасканное, казалось бы, затертое, подобно древней монете из мягкого золота, о которой только и скажешь, что золото это, вдруг обновляется. И видишь, что не все знал, не все понял, и, добавляя, радуешься тайне разума, и постигаешь: не для затворничества создан ты, давая — берешь, раздавая — богатеешь.

Вчетвером — Симон, Стрига, Стефан и Дудка, оба из малой боярской дружинки — копыя, — ехали левым берегом Сулы по княтинским владеньям.

Здесь, в пойме, уже кончили с сенокосом, и, радуя глаз, островерхия стога разбсжались от реки, обозначая своими дальними рядами границы весеннего половодья. И там, где начинались пахотные поля, среди свежих зеленых стогов попадались коричневые, а кое-где и почерневшие. Прошлогодние и более старые. Не понадобилось до новой травы, а там осталось и от новой. Как всегда, вывозили с осени ближние стога, добираясь к весне до дальних, и не всегда была в них нужда. Служили эти стога и другой приметой.

— Не было пять лет под Кснятином половцев, — говорил боярин. — Проходили стороной, к нам не подступали, как тебе ведомо. Стога суть тоже свидетели, немые, однако говорят, не пишут, да летописцы! Вот тебе и загадка родилась!

На огородах близ реки гнули спины многие княтинцы, занимаясь поливкой. Высоко речная вода пропитывает землю, но коротки корешки у капусты, репы, моркови, у прочей огородины. Заезжая на телегах в реку, княтинцы возили воду. А на своем польце кто как приспособился. Одни растаскивали ведрами, другие выпускали воду по ка-

навкам, и, остановившись у гряд, вода сама себе ход находила.

Первыми издали боярин Стрига здоровался со своими, получая радушные отвсты. Две женщины, выбежав на дорожку, которой должны были пройти всадники, еще издали кричали:

— Боярин, а боярин! Говорят, половец тебя попятнал!

Вторая молча спешила вслед первой.

Как все молодые женщины, обе, несмотря на жару, закрыли и лица платками так, что виднелись лишь глаза. Страдай не страдай, красоту оберегай. Остановив боярского коня за удила, первая с участием спросила:

— Не больно?

Сшитый лекарями разрез сегодня слегка воспалился. Пустяк, три-четыре пальца длиной, покрытый темной мазью от пыли, от мух, рубец менял лицо боярина.

— Не привыкать стать, — с удалством, не гасимым возрастом у иных, отвечал боярин. — Живая кость мясом обрастет, красавицы. Есть не мешает, говорить не препятствует.

— А она-то! — кивнула женщина на свою подругу. — В слезы! Посекли-де нашего, порезали. Увидела — глазам не поверила. Говорит, сгоряча он, а за ночь разболевается.

Обе открыли лица, свежие, белые, удивительные для глаза после огрубевших от солнца мужских лиц.

— Что ж, боярин, рада я, — сказала вторая женщина. — Хранит тебя горячая Елены молитва...

Женщины отошли, давая дорогу всадникам.

— Хороши как, — сказал Симон. — Та, скромная, особо хороша лицом. В Переяславле и то была б ей цена. Стало быть здесь...

Но боярин перебил:

— Сестры они, и за братьями замужем. Люди хорошие, здесь недавно живут, четвертый год, — сухо сказал он. — Ты на другое взгляни! — И боярин указал на правильный, длинный кусок поля, заросший сорняком. — Не один мы уже проехали такой. Видишь? — боярин указывал. — Там, там. Еще гряды видны, а вместо огородины соры землю сосут.

— Почему же оставлены? — спросил Симон.

— Ушли. В глубь подались. Надоело ждать, пока половец придет.

— Стало быть, жидкие люди! — с презреньем сказал Симон.

— Нет! — воскликнул боярин. — Ты по-своему да по-моему не суди. Хорошие были, сильные люди. Я всех знаю здесь. Ведь не бегут, приходят, прощаются, виноватыс будто. Я каждому одно говорю: будем мы так все переставляться назад, я шаг, я два, ты три... Залезем в леса. Думашь, в покос оставят нас? Половец и в лес научится лазить. С запада — литва да поляки, германцы мечом размахивают. Не понимают меня, думашь? Понимают. Так и говорят — надоело под бедой жить. Ты, мол, боярин, умри сегодня, а я — завтра. И я книголюбив, и ты книге не чужд. Где, скажи, когда умел человек себя заставить выбрать горькое вместо сладкого? Биться легко — ты срубил, либо тебя срубили. Миг один. А вот так, каждый день, ждать половецкой стрелы... Не для себя. Один говорил — не хочу дочь дать в половецкие рабыни. Другой за сыновей болеет душой... Я Княтин люблю, места здесь люблю. Но я-то каждую ночь за валом сплю...

Почти у самой воды огибали опушку леса, заполнявшего овраг, откуда вчера облава выгнала хана Долдюка. Вброд пройдя через ручей, спешились напиться свежей воды из родничка. Лес гудел пчелами, которые брали последний взятки с доцветающих лип.

За лесом продолжались и огороды, и посевы. Симон замечал, что владельцы вышли с оружием — где на телегах, стоявших с поднятыми оглоблями, завешенными рядом для тени, где на меже торчали копья, виднелись длинные щиты, удобные в пешем бою, мечи в ножнах, длинные русские луки. Симону помнилось, что вчера подобного не было. И в самом Княтине сегодня сторожа не ленились открывать и закрывать ворота. Симон понимал не спрашивая, что осторожности приняты из-за Долдюка. Пройдет сколько-то дней, и опять беспечных станет больше. Боярин Стрига, сам Симон и провожатые высохли, как и вчера утром, только с мечами и с округлыми щитами. Боярин подвесил шлем к седлу и добавил, как бы подчиняясь общей мысли, лук с колчаном.

— Вот и мое хозяйство, — указал Стрига.

И огород, и поля боярские были на краю княгининских владений. В пойме траву уже скосили и часть стогов вывезли. Огород устроился на уклоне, едва заметном глазу, но достаточном, чтобы вода, не размывая междурядий, спускалась вниз — к влаголюбивой капусте. Посев хлебов на глаз охватывал сохи три, как и на других полях; овес, ячмень и пшеница обещали изрядный урожай, пудов до тысячи пойдет в закрома, коль не случится беды. Над по-

лем, примкнув к косогору, под купой развесистых раkit виднелось нечто вроде хутора. Глаз обманывал — вблизи обнаружились три избенки, слепленные кое-как из жердей, затянутых ивовой плетенкой, заброшенных глиной, под камышовыми крышами. Как и все полевые строеньица кснятинцев, боярская усадьба годилась, чтоб укрыть от солнечного жара либо от дождя, но зимой подобному жилью обрадовался бы разве только забеглый бродяга. Такой усадьбы не жаль было лишиться, и не трудно восстановить разрушенное. Повыше, на степной траве, паслось несколько спутанных лошадей. Из-за хат веял дымок. Два крупных пса кснятинской породы повестили о приезде гостей ленивым лаем откуда-то, из высоких зарослей сорной травы, обычно захватывающей землю около небрежно содержимого жилья.

— Э-гей! — позвал Стрига, и на его голос из-за хат и из хат также высунулись люди.

Оживившись при виде боярина, трое мужчин поспешили навстречу. Приняв лошадей, они отвели их к коновязи в густой траве, отпустили подпруги, скинули седла и положили потниками вверх — сушиться. Взлохмаченные, босые, в одинаковых пестрядинных штанах и рубахах.

— Спали? — спросил боярин.

— Час такой, — ответил кто-то.

Из хаток вышли две молодые женщины и старуха, успев, как видно, скинуть затрапезные платья. Предложили квасу, молока. Не отказываясь, боярин спросил, где Пафнутко. Ответили — с коровами нынче очередь ему. А Глазко? Глазко за хатами коптит дичину.

За хутором под низким навесом было сложено несколько плугов, бороны, рядом стояли четыре телеги. Под высоким навесом — большая печь с очень широкой внизу и узенькой сверху трубой. Рядом костром сложены мелко наколотые дрова и большая куча древесного гнилья. Печь дымила вкусно, пахло особенным чадом, который даст гнилое дерево, медленно тлея, без жара, а все же из подвешенных к трубе кусков дичины капает сок и жир, что вместе и создает запах, который ни с чем не смешашь.

Навстречу, сильно прихрамывая, ковылял человек, невеликий ростом, но широкий в плечах, чубатый и с такими же усами, как у боярина, но уже почти белыми, как и чуб.

— Я ж говорю им — не верьте, — сказал седоусый, — и жив, и нипочем ему. Это я про тебя. Сегодня утром до нас весть дошла: охлюпкой прискакал мальчишка. Дсскать, тебе голову рассекли и будто ты весь кровью изошел.

Я только спросил: на телге или как привезли? Нст, говорит, сам в седле сидел. Я и прогнал дурачка. Они, — седуусый указал на обитателсей хутора, — хотели в крепость гнать за новостями. Я не велел. Смотрите теперь сами, — обратился седуусый к своим. — Поцарапали щеку. Такое нам нипочем! — И указал на свой шрам, толстым рубцом начинавшийся на лбу, пересскавший бровь так, что глаз косил, и уходивший в ямку на раздробленной скуле. И, считая дело решенным, продолжал: — Вчера днем подстрелил я пару свиней. Они от Большого лога пришли.

— Я в Большой лог, в Кабаний, пускал облаву половцев выжать, — заметил Стрига.

— Так, так, — согласился Глазко. — Я и пользовался.

— А почему ты? — спросил боярин. — Почему им не дал потешиться?

— А! — махнул рукой Глазко. — Не хотят они. Вместе мы гонялись за свиньями, они свои стрелы по степи собирали, а свои я из свиней вырезал. Ленятся они. Лук — он ведь что? Неделю в руки не брал, и глаз уж не тот.

— С этим-то я и пришел, — сказал боярин. — Пришлю я к тебе паренька. Острожку по имени. Учи его всему, и стрелять, и мечом биться, и конем править. Мнится мне, из него выйдет добрый воин.

— По-старинному, стало быть, — согласился Глазко. — Ему сколько годов?

— Пушок уже пошел по бороде.

— По старому правилу поздно уже. Да ладно, я его растяну, если он до железа охочий.

— Будто охоч. Зlobится только легко.

— Это по глупости, поймет, — сказал Глазко. — Смирные да ленивые хуже.

— Так что же вы, — обратился боярин к хуторянам, — безрукие, что ли?

Трое мужчин безмолвствовали. Один глядел в сторону, другой одной босой ногой чесал другую, третий вертел в руках прутик.

— Недовольны чем? Скажите.

— Дел и так много, — ответил один.

— Устаешь как-то, — добавил второй.

— Нынче вы утром поливали огород, — сказал Стрига. — Управилсь рано. Вернулись, коней стрсножили и пустили пастись. Все.

Седуусый Глазко занялся печью, показывая всей спиной, что ничего не видит, не слышит.

— Так вот и будете? — продолжал Стрига. — Вас тут трос, а я один всех побью, хоть я и стар. Не бесчестье вам?

— Такое твое боярское дело, — ответил один.

— Кому воевать, кому пахать, — заметил другой.

— Не верю, — возразил Стрига. — Что вы за русские, если меча держать не умеете?! — И с усмешкой спросил: — О Генрихе-императоре слыхали? О том, который в Германии воюет со своими врагами и с папой римским?

— Слышали.

— Еще послушайте. Недавно его помощники у реки Рейна в Эльзасе собрали войско из пахарей. В сражении императорских врагов-рыцарей едва ли было по одному на четыре десятка пахарей. Однако ж они неумелое крестьянское войско пленили, всех пленных оскостили и пустили домой для примера: чтоб впредь мужик не смел воевать!¹ Нравится? Здесь быть вам половецкой вьючной скотиной, в Германии — ходить евнухами. Так, что ль?

— Ладно тебе тешиться, боярин, — со злостью сказал третий, — меч-то я удержу, будет у меня и стрела в деле!

Вслед посетителям хуторка летел издевательский хохот Глазка, женский смех и перебранка оконфуженных присельников.

Возвращаясь, свернули от берега влево, немного не доезжая Большого лога. По опушке струилась едва заметная тропочка — заброшенная и малохоженная уже не первый год. Листья подорожника и низенькая муравка, которые любят селиться на человечесем следу, вольно расплылись, занимая местами всю тропочку, — скрыть хотят, а тем самым выдают. Бываст так и с людьми.

Домик казался скорее сараем — очень широкий, но глубины всего шагов пять. Три стены из таких же жердей и плетенки, заброшенных глиной, как и на хуторе. Четвертой, задней стеной служил подрезанный обрыв, и, чтоб не текла земля, хозяин закрыл ее чем придется — корьем, горбылями и той же ивовой плетенкой.

Немудрящую внутренность Симон рассмотрел позже. Пока же он поразился другому. Издали казавшиеся смупни и хворост вблизи превратились в собрание тресвожащих душу чудовищ. Зверолюди либо человекозвери, многорукие, многопалые, застывшие в корчах, и отталкивали, и притягивали глаз. Что-то он видел подобное, во сне, что

¹ Исторический факт. Это произошло в 1078 году с крестьянами, сражавшимися на стороне императора.

ли? Крупный орел сидел на плече одного из чудовищ. Почему он не заметил птицу раньше? Послышался слабый скрип. Из-за спины другого многопалого чудовища появилось подобие руки с растопыренными пальцами.

— Чур, чур меня! — сказал Симон, едва сдержавшись от крика.

Но боярин Стрига, насколько позволяла ему опухшая щека, улыбался. Сзади донесся смех провожатых. Тем временем опять что-то скрипнуло, страшная лапа втянулась за чудище, а взамен ей приподнялся долгоносый череп неведомой птицы на шее неизмеримой длины.

— Это что же, капище языческое? — спросил Симон.

— А как хочешь понимай, — ответил ему невысокий человек в войлочной шапке, который прятался где-то за чудовищами. Идя навстречу гостям, он, скинув шапку, поклонился и, будто ведя давно начатый разговор, продолжал: — Ты Чура позвал себе на подмогу, подивившись моим дивам. Зачурался. Чур — по-древнему значит граница, рубеж, а заодно и божок-охранитель. Мы же здесь все русские и христиане. Морочить тебя не буду. Видишь, какое здесь место? Сзади — обрыв, слева — чаща непролазная, справа — круто. Подход один, которым вы присхали. Вот я и заставился. Ни половец, ни чужой человек не подойдет. Были случаи. Мои чудища крепче княжеских валов.

— Чего-то скрипит у тебя, друг Жужелец? — заметил боярин.

— Да, подмазать пора бы, да времени нет, забываю, — ответил Жужелец. — Да вы что ж, милые гости, с седел не сходите? Я гостям рад.

Не такое уж хитросо устройство: от ключика по деревянной трубе струйка воды попадала в бадесчку, и бадесчка, нарастая весом, медленно опускала короткий конец коромысла, поднимая длинный конец, к которому прикреплена смутившая Симона лапа. Дойдя до низу, бадейка переворачивалась, длинный конец с лапой, перевесившая, шел вниз и своим весом поднимал другое коромысло с искусно вырезанным птичьим черепом на тонкой шее.

— Просто-то как! — не то восхитился, не то разочаровался Симон.

— Послушал бы ты, что случилось, когда отец Петр, будучи у нас внове, прибыл навестить заблудшее чадо, — и Жужелец ткнул себя пальцем в грудь. — Сначала зачитывать стал: да воскреснет, мол, бог, и да расточатся враги его, — а потом, махины мои узрев, так выругался, как ду-

ховным лицам не показано, и с той поры стал мой над ним верх!

Жужелец не то шутил, не то говорил всерьез — не поймешь. Боярин перебил его речь:

— В чем нуждаешься, друг? Сколько ты времени глаз в Кснятин не казал? Я думал, не вознесся ли ты за облака.

— Все есть, боярин. Полмешка муки есть еще, соли достаточно, зелени в лесу хватит, а для мяса, сам знаешь, силочки поставлю, и нам обоим довольно, — Жужелец указал на черную собаку с узкой мордой, молча подобравшуюся к хозяину. — Она у меня поставлена силки проверять. Обегает и придет: в таком-то, мол, сидит наш обед, пойдем.

Жужелец, видимо, прискучил молчаньем и, радуясь людям, был готов говорить, только чтоб себя слышать. Боярину пришлось опять его перебить:

— А когда за облака?

Сразу став серьезным, Жужелец пригласил гостей в дом, усадил на длинную скамью у стола, занимавшего три четверти стены, а сам сел напротив, на подобии деревянного гриба, ножка которого была воткнута в земляной пол. И отвечал на вопрос:

— Может быть, и никогда. Крылья сделать просто, наделал я их и переделал много пар. Крылья... Вот говорят, были бы крылья! Не в них дело. Сила нужна. Ловил я диких уток, гусей, ястребов, орлов, снимал мясо с костей, рассматривал кости, мясо, жилы. Всех сильнее орел, у него на груди мяса меньше, чем у утки, но жестко оно, почитай, как хрящ. Какие крылья для человека ни сделай, силы у него нет для полета. Слаб. А вот откуда силу со стороны взять? Пробую все. Пытаюсь построить из жил, наподобие того, как сделано у камнеметных махин. Пока нет удачи. Вот так здесь я сижу, ценя одиночество, будто затворник святой. Я ж зла никому не желаю... Чудища мои — дело пустое. Натаскал из леса коряг позатейлившей, кой-чего подделал. Греха в этом нет.

Помолчав немного, Жужелец обратился к Стриге:

— Знаешь, боярин, я богу молюсь для покоя души. Нашепчешь молитву и — благо. Ни о крыльях и ни о чем ином не прошу. Я здесь все тружусь руками, понемногу, да весь день. Мысль витает, и обсуждаю с собой, что приходит на ум. Бог. Слово наше, русское, — бог — богатый, и, верно, у бога все к руке. Однако же замечаю, что богу легче допустить в мое тело половецкую, скажем, стрелу, чем отвести ее чудесным образом. Оно так справедливее:

человеку свободная совесть дана и свобода дело вершить своим разумением и под свой суд. А на белом свете, за что ни возмись, несравненно легче разрушать, чем созидать что-либо, от топорница до управления землями. Потому-то в жизни больше неустройства, чем порядка. Стало быть, нужно человеку, неустанно размышляя, неустанно же и делать свое. Так-то. А вы, гости милые, простите затворника, словами кормлю, угостить-то нечем. Уж вы не обессудьте меня!

— Оставь, друг, мы не за тем, нам и пора, — возразил боярин, вставая. — Приезжай в Кснятин на дснь, на два, подумаем о том о сем вместе. Гости мои скоро разъедутся, боярыне я надоел.

— Вот, спасибо, напомнил, — обрадовался Жужелец. — У меня для боярыни, красавицы нашей, подарок есть.

— Вот и привезешь, лишнюю чару, гляди, поднесет тебе, — пошутил боярин.

— Нет, возьми ныне, подарок особый, — возразил Жужелец.

На узком, не соразмерно ни с чем длинном столе в порядке лежали ножички, долотья, стамески, рубила, топорики, молотки, молоточки, куски железа, гвозди, гвоздики; небольшая наковаленка была вделана в конце, конец же опирался на толстую плаху, с другого конца — деревянные тиски и малые железные. Один угол дома был жилой, с постелью и ларями, в другом в том же порядке для глаза были сложены доски и досочки разного дерева.

Подняв крышку длинного ларя, Жужелец вынул оттуда вещь аршина полтора длиной и положил перед гостями на свободное место стола.

— Видали? — спросил он. — А коль не видали, то слышали.

— Это самострел! — сказал боярин.

— Он и есть. У латинцев сго называют «арбалет». Слово, как и наше, составное. «Ар» — лук, и «баллиста», поихнему, — метательная машина. А это с руки бить. Соху прикладывая в плечо и правым глазом гляди через вырез этой дощечки на место, куда целишь. Тут крючок нажимаешь, тетива и соскочит. Легче, чем из лука, стрелять, силы особой не нужно, и целиться проще. Стрела железная, тяжелая, се ветер не так легко относит.

Жужелец показал тонкий железный стержень длиной около двух с половиной четвертей. Один конец был заострен, но не слишком. На другом конце к продольным выем-

кам было привязано с двух сторон по расколу гусиного пера.

Прикладистая соха шириной пальцев в пять, а длиной в четверть переходила в длинную узкую ложу для стрелы, покрытую сверху железной полосой. С заметным отступом от конца был укреплен железный лучок длиной не больше стрелы, с двумя проволочными тетивами. К тетивам, не давая им соединиться, был приклепан длинный ящичек, который имел ход по железной полосе ложи. С задней, глухой, стороны ящичка выступал крюк. За крюк тянула сухожильная веревка, соединенная с маленьким воротом рукояткой. Жужелец, держа в левой руке самострел, правой навил на ворот жилу, ящичек пошел назад; натягивая лук, послышался легкий шелчок.

— Теперь вставляй стрелу, целясь и спускай, — сказал Жужелец. И сам проделал, как сказал, но без стрелы. Спуск освобождал сразу и ворот, и ящичек.

— Лук надежней и быстрее, — рассудил боярин Стрига.

— Верно, верно, — согласился Жужелец. — Зато самострел силы не требует, и научиться бить из него легко ли, трудно ли, но не сравнить с луком. Немного дней потратишь — и стрелок. Из лука годами учатся, и то иной никак не добьется. Бьет самострел сильно. Зато и стрела не остра — ей не к чему. Тонкое острие сломится, а такое пробивает кольчугу. Бери, боярин. Глядишь, пригодится боярыне. Это оружие страшное, из него иребенок, и женщина могут свалить любого витязя. Был бы глаз верный. Стрел даю десяток. Прикажешь кузнецу, он откует еще. Стрела простая, закалил острие — и все тут.

— Спасибо, — ответил Стрига, — это вещь дорогая, ты не поссуй, когда лебедь моя отдавать будет.

— Оставь, боярин, я уже все получил по любви, когда она за мной присмотрела. Одна она надо мной не посмеялась в ту пору-то, помнишь?

— Помню, — ответил Стрига.

— Ты между нами не вставай, — твердо сказал Жужелец. — Дару моему нет цены, другого самострела ей никто не сделает. — И, покончив с одним, Жужелец перешел на другое: — Недавно латинские епископы на своем соборе в Риме запретили арбалеты. Дескать, чрезмерно смертоносное оружие. Шутники латинцы! Да, небо святое, земля-то грешная.

— На грешной земле ты себя безоружным оставил? Или стал латинянином? — со смехом спросил Жужельца боярский дружинник Стефаң.

Нагнувшись, Жужелец достал из-под стола еще са-мострел, но грубой работы и с рычагом для натяжки.

— Есть чем встретить друзей, — возразил он Стефану.

— А почему этот другой?

— Для этого силы больше нужно, да и некрасив он. Пока его делал, надумал инос.

Проводив гостей, Жужелец взял заступ. Одиночество учит быть собственным собеседником. Обращаясь к собаке, Жужелец сказал:

— День нам нынче выдался теплый. Хотел я просить Стригу убрать половца. И не просил. Почему? Не хотел, чтобы узнали... Боярыня-то, лебедушка, могла побрезговать кровью. Женское дело, понимаешь? Не понравится — в руки не возьмет. Или возьмет, кто разберется?.. Ты что скажешь? — Собака сидела, глядя грустными глазами в глаза человеку. — Эх, ты! Не самострел, где бы я был сейчас, а? Куда, в ад либо в рай? Не знаешь? Я тоже не знаю. Пойдем-ка яму копать.

— Жужелишко этот явился к нам неведомо откуда, невесть зачем, — рассказывал Симону дружинник Стефан. — Однако же деньги у него были. Назвался мастером, поставил себе в крепости избу малую, сдружился с нашими кузнецами, и, верно, калить железо они стали крепче. Он же, Жужелишко, любую вещь может сделать, из меди ли, из железа, бронзовую ли отлить. Серьги красивые, обруч на руку, застежки.

Потихоньку он сделал себе крылья, не птичьи, а похожие на нетопыри. Жилки из дерева, перепонки из пергамента, каждое крыло повыше его ростом, а в длину больше сажени. Крылья у себя в избе держал, слова о них не проронил и часто ходил на вал — место искал. Выбрал день — ветер с юга дул. Вынес он крылья и пошел на вал. Кто заметил, за ним увязались, вернее сказать, за крыльями. И я тогда там же случился и, как все, не мог понять — что он тащит? Он стал на валу, руки в петли продел — нетопыр, да и только. Выждал и прыгнул. Спорили потом: летел, не летел. По мне, он будто бы чуть-чуть поднялся, но тут же ему крылья заломило за спину, и он пал вниз, угодил в ров, в воду. Пока мы через ворота бежали, он едва не утонул. И от крыльев избавиться не может, и ушибся сильно.

грудь разбил. Отец Петр тогда в воскресной проповеди говорил, что нельзя людям летать, не птицы — грех, мол. После службы боярин мой при всех с отцом спорил. Тот все о волховании твердил. Боярин же ему от евангелия: нет запрета!

— А Жужелец? — перебил Симон.

— Долго лежал, не позаботься боярыня Елена — не встать ему. Ожил, крылья починил, доделал что-то и — надо ж! — опять прыгнул с вала. На тот раз крылья не загнулись, съехал он по воздуху, как на санках с горки, и лег на траву шагах в ста за рвом. И сам же решил — пустое дело.

— Когда ж это было?

— Уж лет десять прошло. С той поры он себе жилье устроил в том месте, а в крепость приходит только зимовать месяца на три. С его руками другой давно мощну бы набил. Он же глуп, сделает одному, другому, и все. Слышал сам, силу какую-то ищет! Пустой человек, но речист.

За вечерней трапезой в доме Стриги лекари Соломон и Парфентий шутливо хвалились длинным днем, доставшимся им на долю: денег набрали немало.

— Ты же знаешь, боярыня-матушка, — говорил Парфентий, — ни Соломон-друг, ни я никогда о цене не говорим, предупреждаем — нет, не давай. В Переяславле, в Чернигове, в Киеве за это иные лекари нас порочат, люди же пользуются. Нынче все здешние шли с деньгами. Мы с Соломоном привыкли к людям, видишь — из последнего даст. Говоришь — не надо. Нет, сует. Возьми, мол, за труд, за лекарьство возьми. Приходилось сдачи давать, горды ваши кснятины. Мы с Соломоном порешили отделить часть. Ты, боярыня, возьми. Есть такие, которым нужно помочь.

Боярыня Елена с благодарностью приняла мешочек с серсбряной и медной монетой, рассказала, что в Кснятине есть и свои лекари, пользуют людей травами, наговорами и помогают. По-разному бывает.

Боярин Стрига перевел речь на свое. Рассказывал о наймитах, которых держал он для обработки своей земли. Видел он в наймитстве необходимость, досадуя, что за наймитами нужен присмотр. Для того с ними и жил старый, ослабевший дружинник Глазко. Глазку уж не под силу походы. Не будь его, что делать? Держать наймита над наймитами? Стрига осуждал своих работников за леность.

— Требовать нужно сильнее, — советовал Симон.

— Я требую, — возражал Стрига. — Сам ты видел. Грех в ином. У наймитов половину души бог вынул. У меня тут не одни наймиты. Есть и половники — из тех, кто пришел, ничего не имея. Даю лошадей, коров, упряжь, плуги, бороны — все, что нужно, и мне второй сноп во всем. Пишем рядную грамоту на год, на два, на три. На четвертый год кончает ряд почти каждый. Покупает лошадь, коровы свои, хозяйство поставил, ему половничество ни к чему, он уж вольный. Таким, помещать может болезнь не вовремя, либо саранча налестит, как было в пятом году от этого, — словом, несчастье. Им за чужой спиной скучно. Если б на поле, где мои наймиты, жили половники, пашни они б подняли в два раза больше, а то и в три.

— Откуда ж приходят? — спросил Симон, вспомнив жалобы Стриги на отход людей Кснятина.

— Чаше всего из-под Киева либо из самого Кисва, — ответил Стрига. — Бывают из туровских, дорогобужских, из волынских.

— Беглые? Из должников?

— Может быть. Я ловить не обязан.

— Там людям потеснее живется, потеснее, — заметил лекарь Парфентий.

— Отходят ко Владимиру-на-Клязьме, к Суздалию. Там спокойнее, — сказал Стрига, взглянув на жену: помню-де ночной разговор.

— А мастер многорукий и летатель, Жужелец твой, из каких? — спросил княжич Симон.

— Не знаю. Придя, он слово мне дал, что не беглый он, что нет за ним никакого воровства. На духу он бывает у отца Петра, душу правит. Это дело тайное между ними. Поучитель наш, — Стрига кивнул на священника, который мирно дремал после трапезы, устроившись на широкой лавке у стены, — сказал мне: одного вы поля горькие ягоды, с одного дерева кислые яблочки.

— И скажу, и скажу, — отозвался отец Петр, не поднимая головы, — грешники вы нераскаянные, в вас всех язычество с христианством перемешано, как в старых сотах пчелиных воск с медом да с дохлыми пчелами. Ох-хо-хо, будет мне за вас ответ перед богом, что допускаю вас к причастию, — закончил отец Петр, повернувшись на другой бок.

Будто бы ничего и не было, Стрига продолжал:

— Жужелец пошел дальше греческого сказания. Он вместе Дедал и Икар. Человск он разумный, тому свидетель его мастерство.

— Предание об Икаре и Дедале, отце его, нужно понимать иносказательно, — заметил Соломон. — И в нашем святом писании, и в вашем многое понимается в духе, а не в видимых вещах. Странствия, видения суть искания души.

— Не спорю, — отозвался Стрига. — Но разве тебе не хочется летать, разве ты никогда не летал?

В ответ лекарь Соломон только руками развел в недоумении.

— Но во сне ты ж летал? — настаивал Стрига.

— Во сне? — переспросил Соломон. — Было когда-то. Так мы ж не о снах, мы о яви ведем разговор!

— Я и поныне летаю во сне, — сказал Стрига. — Проснувшись, и хочется, взяв жену на руки, подняться в ясное небо. То — сны. Было со мною однажды наяву чудесное дело. Давно, между Кисвом и Вышгородом, ездили мы на охоту и, спешившись, разошлись по долам. Долго ли, коротко ли, но вдруг мнится мне — заблудился! День был позднелесенный, лист опал, прошли дожди, потом стало сухо, под ногой не гремело — чернотроп, по-охотничьи. Небо закрытое, тишина в воздухе — слышишь, как падает запоздалый листок. Бегом я пустился вверх, вниз, вверх. Несли меня ноги, как пушинку ветер несет, и долго так было, легко, просторно, воля без края, душа наслаждается, и просто все так, все мне доступно. Вынесся я на холм, вижу — внизу конюхи держат наших лошадей. Усталости ничуть, будто сейчас ото сна. Пошел вниз обычным шагом. Товарищи уже собираются. Кто с чем, а у меня ничего нет, и ничего мне не нужно, ничего будто со мной и не было. Прошло сколько-то лет, и вдруг мне вспомнился тот день, и осенило — да ты ж летал! Пробовал повторить. Нет, не получается, не могу.

Подперев голову кулаками, Стрига уставился куда-то. И все призадумались, и каждый вспомнил нечто чудесное, бывшее с ним, и неувимое, как солнечный луч, как туман, как прошлое — было, и нет его более...

Встряхнувшийся ксантинский боярин подошел к ларю, стоявшему на высоких ножках, и откинул переднюю стенку.

— Еленушка, помоги-ка, — попросил он.

На полках лежали свитки бумаги, стояли книги разного вида: в деревянных крышках, скрепленных вошечной нитью, в кожаных крышках с матерчатыми затылками. Поискав, нашли небольшую тонкую книжицу, похожую на молитвенную, и боярин, указав место, попросил жену прочесть.

— «Некий сарацин-агарянин явился в город Константина. Объявил он, что хочет удивить всех людей, полстев над ипподромом, как птица. В назначенный день перед началом состязаний колесниц сарацин поднялся на верх главных ворот ипподрома. Был он одет в особое широкое платье из льна, распертое изнутри обручами. Сарацин долго стоял, ожидая сильного порыва ветра. Дождавшись, он поднял руки, прыгнул, упал вниз камнем, и, когда к нему подошли, он был уже мертв, ибо переломав все кости».

— Спасибо, боярыня, — сказал Соломон. — Случай доказывает невозможность полета. Сарацинский соперник Икара убил сам себя.

— Прав ли ты? — возразила Елсна. — Легко осудить неудачника. Я вижу иное: Жужелец не одинок. Агарянина тоже обуревало желание летать. Есть и другие, мы не знаем о них. Многого нет в летописях, многие летописи нам неизвестны. Жужелец не ищет славы. На своих крыльях с такой высоты он мог бы спуститься далеко от ипподрома.

— Ах, боярыня, сердце у тебя золотое, — вступил лекарь Парфентий. — Нет человека, кто не хочет славы. Друг мой Соломон премудрейший, думаешь, славы не любит? Ох как любит! Знаешь же кличку его? Бессребреник! Слово-то какое; не медным, звучит серебряным звоном!

— Люблю! — сказал Соломон и залился тихим смехом, от которого затряслись длинные пряди волос на висках. — Очень люблю, для того и стараюсь.

Глядя на лекаря, рассмеялась и боярыня:

— Так это же добрая слава, что ж худого — искать себе доброго имени?!

— Без славы нет жизни, — сказал Стрига. — Празднословие и похвалы — ничто. Соломон с Парфентием делом доказали свое знание, свое бескорыстие. Я Княгиню держу для князя Владимира Всеволодича без обмана: сам впереди, из-за того меня слушают здесь. Сам князь наш воин на поле и мудр в совете. Русские не любят трусливых князей. Сколько власти ни даст боярину князь, ничто моя власть без меня. Так издавна на Руси повелось, тем мы держимся. Не наймитами, не холопством — доброй волей. Рим упал от холопства, греки хиреют от холопства. Наймит не работник, холоп не воин. От холопства падают великие державы. Елснушка, найди-ка в том ларе, где записи мои, сказанье, которое мне передал перс: Ты, помнишь, читала его.

Боярыня открыла дверцы ларя размером меньше, чем первый, и достала несколько листов бумаги, скрепленных ниткой в тетрадь.

— Прочти нам, Еленушка, — попросил Стрига.

Боярыня приступила к чтению:

— «Сказание о шаиншахе — повелителе персов Нуширване Справедливом и о Дагане, который был судьей судей при Нуширване».

Рассказывал купец из индов, назвавший себя потомком персов, бежавших от арабов, они же сарацины и агаряне, к индам. Купец ехал через Шарукань в Киев. Заболев в пути, отдыхал в Кснятине.

«Был у персов шаиншах, самовластный властелин, наподобие греческого базилевса, по имени Нуширван, что значит Справедливый. Нуширван сверг своего предшественника, что часто бывает и у греков, и поставил одного из содействовавших ему, по имени Даган, своего ровесника и друга с детства, судьей судей. Много лет Даган, надзирая за судьями, утверждал приговоры к смерти также и замышлявшим против власти шаиншаха. Покоя среди персов не было, иные сочувствовали свергнутому шаиншаху, другие составляли заговоры, что обычно у персов. Настал черный день для Дагана. Его сын, служивший в войске, был обвинен в измене и приговорен к смерти. Даган, уверенный в сыне, возмутился и принес жалобу к ногам шаиншаха.

— Почему ты жалусься? — спросил Справедливый. — Разве судьи не те же, чьи приговоры ранее тебя не смущали? Разве прежде ты без моего ведома, по праву судьи судей, не приказывал вновь исследовать дела? Разве судьи не признавались в ошибках? Или, когда коснулись твоего сына, ты усомнился в правосудии? Может быть, ранее ты был небрежен? Или ты ослеплен родительской любовью? Помни: в беззаконии нет закона. Любовь, соблазняющая судью, превращается в порок. Иди же! Не мне ты служишь, но правосудию.

Даган приказал другим судьям исследовать обвинение. Новые судьи признали изменником Даганова сына. С уверенностью в невинности сына Даган второй раз уничтожил приговор. За нарушение правосудия Дагана изгнали с высокого места, другой стал судьей судей. Сына Дагана зарезали на площади, как многих и многих других, жену сына и двух его сыновей сослали в пустыню. Семьи изменников

у греков, у сунов и у многих других народов наказываются даже и смертью.

Дагана не казнили и не сослали, но лишь взяли имение. Имел он мало, ибо, надеясь на щедрость шаиншаха, тратил жалованное ему не копя. Заметьте! Не все люди стремятся к накоплению богатств. Быв судьей судей, Даган довольствовался властью, которая дает высшее наслаждение. Заметьте! Самые жестокие шаиншахи любят показывать милосердие, когда оно для них безопасно. Указывая на Дагана, персы говорили: «Справедливый милостив, Справедливый добр».

Даган стал уборщиком храма. В крохотной мазанке он спал на соломе и копил медные деньги, дабы послать нечто снохе и внукам. И посылал, не имея утешенья знать, доходит ли посланное.

Днем он не имел покоя. Присезжие издалека приходили в храм, чтобы потешить глаза видом унижения бывшего судьи судей. Заметьте! Люди радуются паденью сильных. Некоторые же заговаривали с участью. Одни встречались с ним раньше, у других были к нему дела в прошлом, но Даган не узнавал их. Третьи, ничего не зная о судьбе уборщика, просили пояснений о храме. И они, с опрометчивой смелостью осуждая Справедливого, вызывали Дагана сказать нечто дурное о словах и делах шаиншаха. Судья судей знал о людях, именуемых ушами и глазами Власти, их служба мнилась ему полезной и даже почетной. Ныне он понял иное.

Никто не мог добиться от Дагана неосторожного слова. И не было вечера, чтобы Даган, перебирая день, как прядельник шерсть, не дрожал на своей соломе. Тайное ухо может просто выдумать нечто для награды за горло бывшего судьи судей, оскорбившего правосудие Справедливого. Даган, трясся от страха за себя, за помощь снохе и внукам, и была вера рассыпалась трухой в его сердце.

Громко, дружно, согласно многие и многие ежедневно твердили: шаиншах Справедливый принес персам величие, покой, богатство. Стоя на крыше государства, так твердил и Даган, так он верил. Уборщик храма убедился во лжи восхвалений. Вспоминал он слухи о несправедливостях, когда затыкал себе уши. Спрашивал себя: ко скольким несправедливым приговорам ты, наслаждаясь жизнью, приложил печать шаиншаха? Замогильные жалобы невинных мучили его слух. Труха былой веры перемололась в пыль. Но оставалась в сердце. Ибо совершившееся несправедливо, и горечь воспоминаний нельзя выплюнуть, как

желчь изо рта. Ему хотелось проклясть Справедливого перед его ушами, он сдерживался.

Прошло двенадцать лет. Даган пошел в бани, его вымыли и постригли. За деньги он взял на один день чистую одежду. Перед дверью Справедливого он назвал себя, и дверь открыли быстро. Многие ждали месяцами и не удавались даже плевка. Даган увидел, что он не забыт.

Исполняя закон, он упал ниц перед Справедливым, но шаиншах приказал встать, и Даган поднялся сразу, ибо Справедливый ценил повиновение выше преклонений.

— Чего ты хочешь теперь? — спросил шаиншах, будто бы подданные могут желать. — Ты просишь пощобия на дряхлость?

Ободрившись, Даган ответил:

— Молю милости, Справедливейший из Справедливейших! Справедливый срок ссылки закончился. Благоволи приказать, чтобы сноха и внуки вернулись ко мне.

Справедливый не любил слышать о ссыльных. По истечении срока судьи назначали новый тем, кто выжил в пустыне, и так до смерти. По прихоти шаиншаха Дагану оказали небывалую милость. Сноха его состарилась раньше времени, внуки одичали, но их вернули живыми, не искалеченными. И Справедливый пожаловал Дагану постоянное содержание, о чем было объявлено всем персам.

Заметьте! Трудно понять свирепых владык, поступающих милостиво. Легче постигается причина жестокости.

Даган заставлял себя жить подольше, чтобы кормить сноху и снять кару с внуков. Справедливый тоже жил долго...»

Устав, боярыня положила листы.

— Жалко Дагана, — сказал Симон.

Лекарь Соломон хотел что-то сказать, но Стрига предупредил его:

— И я сказал то же самое персу. Перс возразил мне: «Сидя на крыше государства, Даган принимал несправедливое без исследования и очнулся, когда нож палача угрожал горлу сына. Но мой сын — это я сам. Подумай, когда пришел час Дагана, другие несчастные отцы тайно утешались его горем».

— Да, да, да... — закивал головой Соломон.

— Он творил зло по неведению. Раскаялся, — сказал Парфентий. — Далее он жил из любви. Бог его простит. Пошлет ему прозренья.

— Читай до конца, Еленушка, — попросил боярин.

— «Персы сотнями лет восвали с римлянами, — читала Елена. — Потом сотни лет персы восвали с восточными базилевсами. И базилевсы победили персов вскоре после правления Нуширвана Справедливого. Затем на персов напали арабы. Арабов было во много раз меньше, чем персов, но арабы победили, ибо души персов были сломлены дурными правителями. Арабы, утомясь резать побежденных персов, поработили нас, дали нам новую веру — ислам, взяли в жены наших дочерей. Потом турки до изнеможенья убивали арабов, и нас, и смешанных с персами арабов, и женщины стали обязаны рожать детей туркам. Нынче только за пустыней, куда ссылали персов персы же, только в восточных горах можно найти подлинных, чистых потомков былых персов. Они белокожи и голубоглазы, как я». Так купец из индов закончил рассказ.

— Страшное сказание! — воскликнул Парфентий. — Персы погибли от дурного правления! Можно ли верить?

— Можно, увы, можно, — сказал лекарь Соломон. — У всех народов есть притчи о плохих хозяевах, расточителях. Надеясь таких хозяев дурными свойствами, притчи повествуют об их разорении. Составители притч подразумевают государства.

— Известно, что персы были побеждены сначала греками, потом завоеваны арабами, за арабами, — говорил Стрига, — турками. Что же касается моей записи, скажу — слова переданы верно, перс был человеком не мелкого ряда и рассказывал гневно.

— Много страшных сказаний, много, — молвил лекарь Соломон и потупился, вспоминая.

Хотелось ему рассказать, многое нашлось бы, но раздумал. Предпочитал он событиям смысл, и судьба людей казалась ему важнее судеб империй: люди связаны совестью, империи — насилием. В долгой жизни своего народа, себя сохранившего вопреки рассеянию, он видел знак правоты своей мысли. Но о своих здесь он не мог говорить: в Киеве сидел Святополк Изяславич, младенцем сохранивший жизнь из-за умышленного лекарства Соломона. Князь вырос дурной, и дурной душой его пользовались, и на дурное поощряли для своей выгоды и ляхи, и германцы, и греки, и иные единокровные Соломона — жители Киева.

— Дурная слава бежит, добрая лежит, — сказал лекарь Парфентий, угадывая, быть может, чувства своего друга. — Послушася — битвы, сраженья, нашествия,

захваты, убийства владык, казни, истрбленье людей. Будто бы люди не жили, не населяли землю, не учились ею владеть.

Боярин Стрига рассмеялся было, но, взявшись за посеченную щеку, только замотал головой и, поневоле справившись с весельем, сказал:

— Ты, друг-брат, будто в воду смотрел. Мы с Елснушкой моей записываем, что в Кснятине было, что слышали. Так, по годам. Ныне запишем про долдюковский набег. А про спокойные месяцы, про весну, про пашню, сенокос, ныне обильный? Ни слова. Саранча налетит — скажем. Хорошее само собой разумеется. Как видно, человеку дано право на достаток, на покой, чтоб труд его награждался. Однако же есть у нас, знаете хорошо, много сказаний о былом. Сотнями лет они передаются изустно. Больше о хорошем, чем о плохом. Мы знаем — из древности у нас народное вече, из древности содержатся князья с дружинниками. Из древности же наши князья живут в селах ли, в городах ли, в простых домах за деревянной оградой. У нас не прятались, как в прочих странах, от своих же, строя в крепости малые крепости, собственные. Добрая слава тоже не лежит. Но злая должна бежать по свету на длинных ногах. Пусть же она опережает добрую. От плохого мы все больше учимся, чем от хорошего. Заговорил я о крепостях-замках. Есть такой город на сирийском берегу Средиземного моря: Библос, по-иудейски Гебал, а ныне он зовется Гиблетом — так, друг Соломон?

— Верно, — подтвердил лекарь.

— Там строения каменные и долго живут. Говорят, тот город построен вскоре после потопа. Ровесник тому, что на кснятинском месте стоял. Там донине сохранилось жильё владетеля Абишмуна или Абшимуна по имени. В цельной скале высечен колодезь глубиной сажен пять. Там под крышкой Абшимун сидел по ночам, страшась, что свои его сонного зарежут. Тому минуло десятка два столетий. Так? — обратился боярин к Соломону.

— Так, — согласился тот.

— Другой, подобный, только у греков, забыл, в каком городе, по ночам сидел с женой тоже в подобии каменного колодезя, а сверху его стерсгла отборная из отборных стража. Да и нынешние базилевсы запираются в Палатии со всех сторон и стражей окружны днем и ночью. На Западе все владетели сидят в замках. Французы, которые завоевали Англию, с первого дня стали себе замки ставить. Таких, — обратился боярин к Симону, — слушаются, гнутя

перед ними до земли. Часто только режут там владетелей. По мне, лучше жить, как Русь живет. Это шапка будет ко всем беседам нашим с тобою, друг-брат Симон.

— Нет еще, нет еще, — возразил лекарь Соломон, — подожди, ты мне душу поджег, дай и мне сказать. Слушайте меня. Потерпев несчастья, люди ищут виновных, упрекают правящих. Тысячу лет тому назад мой народ восстал против римлян. Было единодушие между бедными и богатыми, хотя бедные много терпели от жестокости богатых. Наши первосвященники не удерживали, но поощряли народ. Мы были ничтожны перед силой Рима. Наше восстание было безнадежно. Римляне разрушили храм, иудеи разбросаны по странам рассеяния нашего. Кто виноват? — говорил лекарь Соломон.

— Что нового сказано персом? — спросил Стрига и ответил себе: — Обучая лошадь грубостью и страхом, я испорчу ее, тварь по природе добрую и разумную. О людях нечего и говорить. Закон нужен справедливый, нужна и вольная воля.

Отец Петр сел на своей лавке, жалуясь:

— Память моя, память! Худо старому. То ли в молитве какой, то ли в житии святых слова такие есть — да не пошлет бог людям все, что они в силах перенести. Так-то, братия. Ибо неведомы пределы земли и человеческой силы.

— Я показывал гостю нашему Симону свидетельства исконной жизни наших предков в Кснятине, — сказал Стрига. — Как звался былой Кснятин, сколько раз его воздвигали и падал он, никто не запомнил, хоть и засеяно место костями щедрее, чем семенами пашня рачительного хозяина. Место, удобное для крепости, привлекало к себе внимание древнейших насельников, как и нас. Стало быть, ум в них и цель их были такие же, как и у нас. Сила нужна. Честная сила. По моей мысли, в предании о Дагане и Нуширване сказано о беде, когда силу подменяют насилием, и о трудности для человека распознать одно от другого.

Над Кснятином гаснет заря. На твердую землю, как на постель, примеряясь сначала к низинам, нисходит сумрак, а в небе медленно движутся стаи воздушных зверей. Играют они, или во имя чего-то иного, не для игры, этот вечер избран ими для подражания переселению народов. Верблюды с длинными шеями, двугорбые, одnogорбые, с вьюками и свободные, слоны с башнями, всадники, повозки на колесах.

сах, на полозьях, и толпы пеших людей, и стада струятся на юг с севера.

— Видишь, любушка?

— Вижу...

То ли не терпя пристальности взоров, то ли по собственной непонятной людям воле-желанью воздушные жители меняют обличья, падают верблюжьим головам, толпы превращаются в подобия волн, и весь караван, утончившись, тает — не как снег на солнце, не как туман после рассвета, но своим способом, безразлично исчезая в темной зелени, в густой сини небес. Что им, воздушным странникам неизмеримых высот! Покой и молчанье — такова их судьба.

Боярыня и боярин совершают обычный обход. Слышится сильный всплеск, будто играет крупная рыба в заветном для Стриги болоте. Нет там рыбы. Через лягушачий стон прорезается истошный вопль: охотятся ужи, наверное, и старый знакомый Стриги — только один раз вскрикнула холодеянка, сразу ее засосала широкая пасть. Остальным нипочем, орут. Не меня съели, и благо. Презренная тварь...

Тревожно... Разбередила душу беседа. Завтра гости уедут. Жаль, останется много несказанного. Сегодня Соломон и Парфентий, осмотрев щеску Стриги, решили —живает лучше, чем на молодом. Боярин прислушался к телу своему — крепок. Будто бы крепок он еще.

Раб, прикованный к жернову, либо холоп злого господина знают, что выгонит из дома хозяин, когда кончится сила, и день нежеланной свободы станет худшим днем подневольных годов бытия. Ремесленник, земледелец, вдова, которым бог не послал либо отнял детей, со страхом ждут старческой дряхлости, и копят, и копят, чтобы, купив себе заботу чужих, не умереть бездомной собакой.

У боярыни Стриги есть чем насытить и угреть себя в старости, есть что оставить вдове. Но он боится грядущего бессилия не меньше, чем раб или холоп. Не хочет он сходить с поля, ему невыносима мысль о бездействии.

— Знаешь ли, Еленушка моя, — сказал Стрига, — не было у меня радости, когда я срубил Долдюка. Не было, нет. Разве только, что выстоял я. Разумом знал, что хорошо совершил нужное. На сердце же не было радости, как случалось мне раньше. И не гордился удачей. Зверь для русских Долдюк, но и он человек ведь. Что же делается со мной? Когда пленные половцы запели, тут я обрадовался. Чудно мне все во мне самом. Сердце возликовало несогла-

сию половцев дать за себя много пленных на выкуп. Я только вид показал. Счастье было, что не придется половцев теснить, грозиться, запугивать. А ведь, бывало, я готов был рвать их голыми руками. Что со мной?

— Если б могла тебя больше любить, я тебя такого еще больше полюбила бы.

— А не слабею ли я? Велел я половцев хорошо кормить, не обижать. Велел водить их гулять, чтоб отдохнули на вольном воздухе. Для расчета, думаешь? Чтoб они, уйдя от злобы, меньше нашим пленникам чинили обиды? Нет, больше для того, что не лежит у меня душа теснить побежденного...

— Жить легче без злобы. Сам же признал ты — победил Долдюка, не дав душе замутиться, он же себя загубил яростью.

— Еленушка, лебедь моя, боюсь — слабею я. Говорю себе — нет во мне ничего, вид один. Сама знаешь, за князем у нас идут, а не князь гонит. Не пойдут, когда князь сзади останется. С бояр спроси еще больший. Не устоит Княтин без моей руки. Бывает со мной такое — не то что на Клязьму уйти по твоему совету, туда бы ушел, — Стрига рукой указал в темноту. — Сидели бы мы с тобой в хатенке из жердей, радуясь солнцу, всходам. Вечером я, намаявшись за день досыта, засыпал бы сладким сном. Другие пусть за меня думают. Хотим — здесь. Хотим — уйдем. Вольные птицы! Не вправду ли нам подумать о Клязьме твоей?

— Нет, — ответила боярыня, — нельзя, не посдем. Там ты изнаешь без дела. Спасибо тебе, открылся ты. Я давно чувствую смятение твоей души. Нет, любимый, нельзя нам уезжать и не нужно.

На пустынном валу слышны последние соловьиные песни, да не слушают их ни боярин, ни жена его. Елена знала — есть еще много сил у любимого. Не было б силы, он в слабости бы не каялся. Душа его ищет, живет и растет в нем таинственным ростом. Изменяется он, — стало быть, бьется в нем сильная жизнь. И радовалась женщина цветенью неизносимой мужественности того, кого избрала, быв еще девочкой. Доведись начать все сначала, опять его взяла бы из многих.

И стала рассказывать, как осень придет в непролазной грязи, как тесно станет в Княтине. Жужелец будет скуку развешивать, уча детей грамоте и споря с отцом Пестром о каждой мелочи, даже — с чего начинать обучение и как продолжать, ибо оба они учат по-разному. Ссоры придется

боярину разбирать, и на охоту будст он ездить, ловить ослабевших диких тарпанов, да и тура подстрелит, как случалось. В свободные зимние часы кто займется ремеслом, кто будет ворошить запасы зерна, чтоб оно не горело, кто овощи перебирать. Они ж с боярином будут книги читать, будет Елена записывать под слова мужа погодные его записи о событиях, что видел, что слышал. Будут разбирать древнюю книгу Малха о старинных князьях Всеславе, Ратиборе и других, о годах, когда русские звали себя руссичами. На двух языках писал Малх. Русский столь древен, что не все буквы понятны, разобравшись же с буквами, из пяти слов только два понимаешь: изменилась речь с древних лет, и хорошо, что тот Малх писал рядом по-гречески. Местами пергаменты почернели, местами червь съел... Однако ж можно добраться до смысла.

Оживившись, Стрига стал доказывать женины слова: Малх-писатель жил на Рось-реке, а потом перешел в Киев. Не удалось еще понять, был ли тогда уже Киев или начинался. Рска Лебедь Малхом упоминается и съезд крутой к Борисфену, по-гречески, — к Днепру, по-русски. С лет Малха изменилось и греческое начертание. Жил Малх в годы правления Юстиниана Первого, более пятисот лет тому назад. Удалось понять листы, на которых Малх рассказывал, как предки обучались стрельбе из лука, езде, воинскому строю. Воины они были лучше нынешних, умелые, могучие, смелые. С границы не уходили, хоть и жили под вечной опасностью от Степи. От них пошла воинская наука, с которой великий Святослав Игоревич ходил в свои походы.

Совсем оживился Стрига, и жсна, выбрав минуту, сказала:

— Пойдем к дому, час благоприятен.



ГЛАВА ШЕСТАЯ



В МНОГОЙ МУДРОСТИ МНОГО ПЕЧАЛИ

Кому в зрелости доводилось посетить памятный с детства берег, тот достигал жестокость будто бы ласкового моря. Даже сад, казавшийся далеким от воды, даже дом в его тенистой глубине — все исчезло. Смыта плодородная почва, разбито скалистое основание. Камни, привыкшие к древесным корням, теперь служат опорой для водорослей. Временность сущего очевидна...

Ранним утром двое русских стояли на одной из башен могучей стены, защищавшей Константинополь с моря. Базилевс Юстиниан Первый, обладавший империей пятьсот лет тому назад, по преданию, на этой башне любил встречать восход солнца. Здесь он, как говорят, размышлял о

благе подданных и о благе империи, что не равнозначно, по мнению философов.

Палатий оставался владеньем базилевсов, от города его отделяла стена. Но нынешний базилевс Алексей Комнин в эти дни командовал на Балканах войском, и охрана за некоторую мзду допускала осматривать Палатий людей почтенного вида. Юстиниан не водил войска, покидал Палатий лишь для отдыха на подгородных виллах, и в его дни Палатий не унижался любопытными.

Русские носили широкие плащи из тонкого, хорошо бесленного полотна, с застежкой на плече, штаны из этой же ткани были заправлены в низкие сапоги мягкой кожи, а длинные, до плеч, волосы удерживались тоненьким обручем. Это была одежда состоятельных и даже знатных людей, когда такие не хотели привлекать в себе внимание. Старшему русскому, Шимону, было лет сорок пять, другому, Андрею, — лет тридцать. Юстинианова башня, на которой они стояли, ветшала с годами, как все в мире, но выстояла: и ее, и стену защищали скалистые мели. Море могло сточить мели, но каменные глыбы, которые разбрасывали блюстители стен, мешали волнам. Империя тоже старилась. Бывали годы, когда она казалась неотвратимо обреченной, и все же она держалась.

— Как сохраняется империя? В чем ее сила? — спросил Шимона его спутник, недавно приплывший из Руси.

— Такой мыслью многие задаются, — ответил Шимон, — не замечая, как не замечаешь и ты, ответа в самом вопросе. Коль империя удержалась, мы можем легко справиться с прошлым временем: оно беззащитно. В нем, как в развалинах покинутого города, мы соберем то, что нравится нам, то, что подходит под уже известный ответ. Отбросив как ненужное все, с чем нам не справиться, мы воздвигнем легкое зданье и объявим: се есть истина. Иначе скажу: мы обязательно примем победы империи за добро, ее поражения — за зло. И утвердим — добро победило зло, поэтому империя и живет по сей день.

— Ты прав, — согласился Андрей, — а я поторопился. Действительно, слишком часто мы понимаем добро, как свою пользу, а свой ущерб принимаем за зло. Верно, верно... Победитель не всегда прав и перед своей совестью, и перед богом. И все же мы обсуждаем, и осуждаем, и ищем до последнего дыхания в груди...

— Человеку дана свободная воля, — ответил Шимон. — Я смиряю свою заносчивость, хочу понимать, объяснить.

Бог знает все, но человека он заставил выбирать. Вот, гляди-ка!

В утренней тишине море блестело, как отполированная плита. Под стеной там и сям торчали изломанные ребра каменных глыб. На них держались крабы. Эти странные существа, умеющие дышать и под водой, и на суше, стояли на тонких лапках, как причудливые изваяния. Маленькое, живое чудо.

— В долговесии стены чуда нет, — сказал Шимон. — Бури точат и растаскивают волнолом, зрители добавляя новые камни. Перестанут — и волна слижет стену. А эти, — он указал на крабов, — держатся сами. Волна их не щадит, рыба жрет, птица хватает. Ишь, как напряглись, чуть что — и бежать. На сухой земле солнце их быстро убивает. А у воды краб греется, думает что-то, ему сейчас хорошо. И ведь вот какой — клешню или ногу оторвут, он новую умеет вырастить. Друг другу они пощады не дают, сильный слабого не только съест, но просто для потехи сломает да бросит. Но держатся все вместе, не разбегаются, здесь у них целый город.

— Ты говоришь о них, как о людях, — заметил Андрей.

— И они живые, — ответил Шимон. — Камень, вода — все неживое легко постигается. Камень падает вниз, и вода течет вниз — вот их закон, и нет у них воли. Но как зашевелилось самое малое творенье — тут и тайна. Объясни — почему, как, зачем? Все движутся, устраиваются, спешат, толкаются, спорят. Все хотят знать, хотят оправдаться... И никто не признает себя виновным. Свободная воля... Много дано, друг-брат, много и спросится...

Налево от мыса, на котором стояли друзья, синяя рска Босфора терялась в зеленых холмах. Прямо за морем, на том, азиатском, берегу можно было различить отблески от золотых куполов. Там два города — Халкидон и Хризополь. За ними в неясной дали мягко синели Вифинийские горы, не скалистые кручи, которые вызывают мысль о трудном подъеме, а украшеные земли, сотворенные для радости человека.

— Было время, — напомнил Шимон. — когда имперская граница отстояла на тысячу и две тысячи верст на восток. За последние четыреста лет на том берегу побывали арабы и турки. И сейчас они сидят близко и точат нож на империю. В Азии двадцатой части не осталось от того, что Византия получила в наследство от Рима. В Европе тоже поубавилось, а в Африке и совсем нет ничего.

— Ты думаешь, что грекам близок конец? — спросил Андрей.

— Пророчат и такое, — ответил Шимон. — Возьми святое писание: от века пророки предсказывали бедствия и наказание за грехи. Войны, мятежи, голод часты, их легко предвестить. Но что будет после войны, мятежа? Как дальше будут жить люди? Я наверное знаю, что базилевс Алксей просил помощи у римского папы, чтобы западные христиане, невзирая на спор, помогли православным. Что выйдет, что будет? Я сам так сужу: тысячи тысяч человеческих желаний сплетают будущее, как канат сплетают из нитей. Даже тот человек, который будто бы ничего не хочет, ни к чему не стремится, все ж сотворяет нечто, называемое нами ничем. Бог дал человеку свободную волю. Кто сумеет сложить, собрать, взвесить все, совершаемое и желаемое нами сегодня, тот будет знать завтрашний день.

— Кто ж способен на такое? Только бог, — сказал Андрей.

— Стало быть, делай свое, внимай, гляди, постигай, что посильно тебе.

На площади Августы русские приостановились перед храмом святой Софии-Премудрости.

— Ты знаешь, когда был построен этот величайший в мире храм? — спросил Шимон.

— Читал я в книге Прокопия. Базилевс Юстиниан возвел храм на месте старой базилики, посвященной той же святой Софии, — ответил Андрей. — Базилика сгорела при великом мятеже народа против утеснений того базилевса.

— И об этом я тебе расскажу в свое время. Скажу тебе по правде, я восхищаюсь Софией, но не люблю ее. Вначале, лет десять тому назад, по новости для меня здешней жизни, я Софию видел и во сне. Целые дни проводил в ней либо около. На торжественных службах мне мнилось — я возношусь к небу. Еще больше я тешился великим молчанием часов, свободных от службы. Ты видел, сколько там золота, драгоценных камней? Серебро же — как дерево у нас — повсюду. Денно и ночью там стоит бдительная стража.

— Я не заметил, — прервал Андрей.

— Они умеют сторожить скрыто. Спрятанные в умно устроенных убежищах, они невидимы, но сами все видят. И я, зная о страже, все же ликовал душой, будто один находился в лесах, где нет ничего, кроме дыханья предвечного. А потом — устал. Богу нужна доброта души. Купол, покрытый золотом, мал против звездного купола неба. Рос-

кошныи колонны не сравнятся с величием вольных дубрав. Софией и ей подобными храмами греки оглушают нас, варваров. И оглушают сами себя...

— Ты разлюбил греков? — воскликнул Андрей.

— Я? А разве я любил их? — ответил Шимон. — Почему я должен любить какой-то народ? И значит, ненавидеть какой-то другой? Я хочу любить человека... И однако же, ты прав. Грски мне ближе, чем арабы, турки. Ближе даже, чем наши братья по крови — поляки, чехи, болгары. Я признаюсь в своей слабости. Но довольно об этом. Я вспомнил о сгоревшей базилике. Там, по старому обычаю, в заалтарных кладовых хранились многие имперские записи, книги, хроники-летописи. Все погибло при пожаре, и утеря эта невознаградима. Человек смертен. И все же смерть вызывает мучительную боль, и нет утешения, кроме надежды встретиться в ином мире. Из созданного людьми для меня всего дороже мысли, запечатленные на пергаменте, на бумаге. Их гибель — вечная, настоящая смерть.

Русские шли по площади Августы, направляясь к улице Месе Средней. По преданию, в глубочайшей древности здесь была тропа, пробитая средь леса людьми, переправлявшимися через Босфор, в годы, когда не было Византии и когда Босфор не назывался Босфором.

На площади всегда многолюдно. Длительные богослуженья в Софии, вмещавшей несколько тысяч молящихся, к которым всегда примешивались любопытные иновѣрные, величественная красота статуй, великолепные здания, дворцы Палатия, поднимающиеся над стенами, грандиозная гора ипподрома, увенчанная скульптурами, — все здесь привлекало глаз.

Достаточно было бы естественного движения палатийской охраны, служащих и слуг — одних поваров в Палатии было больше двух сотен, — чтобы площадь Августы не оставалась безлюдной. Но здесь было также излюбленное место для прогулок жителей, сюда ежечасно приливали сотни приезжих. Даже ночью здесь не бывало пусто. Лунные ночи на площади Августы славилась своей красотой. И, хотя после захода солнца улицы Византии становились небезопасны, любители прекрасного отправлялись группами в поздние прогулки.

Русская речь не привлекала внимания в городе, где звучали все диалекты. Беседуя, Шимон и Андрей приблизились к выходу на Месу. Толпа стеснилась. Почувствовав, как что-то скользнуло под плащ, Шимон резким движени-

ем поймал чье-то запястье и сжал руку вора, Андрей схватил вора за другую руку.

Молча сжав человека между собой, русские повели его, выбираясь из толпы. Вор рванулся было, но сразу прекратил безнадежное сопротивление.

Взяв влево, Симон остановился в громадной нише северной стены ипподрома, перед закрытыми воротами. Отпустив вора, русские встали между ним и площадью. Смирившись перед судьбой, неудачник спокойно ждал, шевеля локтями кистями рук, расправляя пальцы. В длинной рубашке из серого холста, в грубых сандалиях, которые удерживались ремешками, обмотанными вокруг щиколоток, в мятом холстинковом колпаке на голове, он ничем будто бы не отличался от рыбаков, носильщиков грузов, мелких торговцев вразнос или мастеровых, к которым Андрей успел приглядеться за долгие свои византийские дни.

Рядом с русскими оказался еще один человек, так же, но почище одетый, чем неудачливый вор.

— Господин, — обратился он к Симону, — я следил. Этот человек хотел тебя обокрасть. Прошу, господин! Дом епарха близко. Вы оба принесете жалобу, и преступник более не будет вредить.

— Следил? — переспросил Симон. — Я не хочу жаловаться.

— Но почему, господин?

— Он ничего не украл.

— Он хотел украсть, господин.

— Я не обязан заявлять! — решительно возразил Симон. Сыщик сделал движение досады. — Ты это знаешь, — продолжал Симон.

Сыщик с гневом махнул рукой. Андрею показалось, что нечто выскочило из его рукава и скрылось.

— Господин плохо делает, — упрекнул сыщик и отступил. Вор сложил руки на груди:

— Да благословит тебя бог, добрый человек! Да хранит тебя и твоих мать божья!

Сгорбившись, он скользнул между русскими и сыщиком. Соглядатай епарха схватил вора за шиворот рубахи. Но тот, присев, вырвался, ловко дал подножку свосму врагу и скрылся в безразличной толпе. Вскочив, сыщик пустился в погоню, расталкивая прохожих.

— Ты видел, как он выдал себя? — спросил Симон.

— Да, — ответил Андрей. — Он будто бы знает тебя.

— Наверное, знает. Византия полна ищеск. При Константине Первом содержали десять тысяч соглядатаев. Юс-

тиниан Первый имел их в два раза больше. Сколько теперь? Немало. Этот следил за нами. Зачем? На всякий случай. Известно им, Русь грекам не грозит и грозить не собирается. И все же... идут по следу, вдруг нечто найдется. Вор попался ему случайно.

— Но почему ты не выдал вора?

— В его глазах прочел я ужас, как у зверя. И простил его. По нашему закону. По здешнему закону его изувечили бы. Либо ослепили, либо обрезают нос и отрубили руку. Сегодня в моей сумке много золота. Срежь он ее — для меня большая потеря. Тогда сгоряча я, может быть, и отдал бы его на бесчеловечную казнь. Греческого закона я тоже не нарушил. По договору империи с Русью мы, русские, имеем право жаловаться на обиды от греков, но не обязаны жаловаться. И сыщик знает.

— Тонко судишь ты, — заметил Андрей.

— То-то. Поживешь — увидишь: здесь всё тонкости, все не просто. А заметил, что прохожие будто слепые? Ни один не подошел ни к нам, ни к сыщику. Здесь люди отучены соваться в чужое дело. За себя постоит. Коль мятеж — себя не жалуют и действуют скопом. Но так, попросту, вора брать? Не его дело. К тому же сыщиков они ненавидят.

— Но как ты сыщика узнал, он же обличьем почти как вор тот?

— По голосу. И есть в нем что-то. Я уже пригляделся. А видел, у него в рукаве что было?

— Что-то мелькнуло, — ответил Андрей.

— У него там кистень подвешен, — объяснил Шимон.

На Месе Шимон вошел в лавку, заставленную сундуками, шкатулками, ящичками резной работы, ларцами. Кивнув хозяину, как знакомому, Шимон прошел в глубину. Там в открытом ларе лежал по виду хлам. Быстро и умело поискав, Шимон остановил свой выбор на трех тонких обломках, связанных пеньковой ниткой. Распустив узел, Шимон сложил обломки — получилась дощечка, не то крышка, не то боковина малого ларца с выступающими фигурками. Достав две медные монеты, Шимон предложил их хозяину, который принял цену с поклоном.

— Приходи через три дня, господин, — пригласил хозяин, — бог даст, будет что-либо новое. Мне обещали.

— Что ты купишь? — спросил на улице Андрей.

— Все — и ничего, — шутливо ответил довольный покупкой Шимон. — Это копия, сделанная мастером по заказу какого-либо сановника по случаю брака базилевса

Романа Четвертого и базилисы Евдокии. Подобную работу я видел из слоновой кости, целую — дорога она слишком. Да и не нужна мне. О страшной судьбе Романа и Евдокии ты слышал? Дела недавние. Евдокия, вдова Константина Десятого Дуки, мать шести малолетних детей, стала регентшей по смерти мужа. Вскоре она влюбилась в тридцатилетнего полководца Романа и сделала его базилевсом, вступив с ним в брак. На мой сломанной дощечке, как и на слоновой кости, — Христос, благословляющий их брак. По дьявольской злобе Роман изображен с лицом мальчика... После того как погубили Романа и постригли Евдокию, владелец выкинул вещь.

— Но почему так дешево ценят? — спросил Андрей.

— Она никому не нужна. Сломанное дерево, они же ценят не работу, а материал. К таким купцам ходят мастера-художники, ищут лом и бой для образцов. Но нам пора, — прервал себя Симон.

Пройдя еще немного по Месе, он увел своего спутника вправо. Они шли узкими улицами, сжатыми высокими домами, в три, в четыре этажа, с крутыми лестницами, пристроенными к домам без плана, с единственной целью доставить многочисленным жильцам возможность поскорее спуститься и так же подняться. Безобразный ряд доходных домов внезапно прерывался стеной с глухо закрытыми воротами из толстых досок, обитых медными листами со шляпками громадных и нарочито грубо выкованных гвоздей. Близ ворот — железная дверца-калитка. За стеной виднелись крыши, большие деревья высоко поднимали кроны, и толстая вствь, протянувшаяся до половины улицы, вызывала воспоминания о сказочном лесе, замкнутом для людей, которые не знали слова. Это было владенье какого-нибудь сановника или просто богатого человека. Такие заранее устраивали себе крепость на случай частых волнений.

В нижних этажах домов и во дворах работали ремесленники. Пахло кожей, псарней, чадом кузнечного угля, красильни поражали обоняние острой вонью красок и смрадом гнилых раковин-пурпурниц. Встречались красильщики с багрово-синими руками, с пятнами краски на лице. Тяжело тащился кузнец в кожаном фартуке, согнувшись под кулем с железом, гвоздями, углем. На тележках, запряженных ослами, везли камень, известь, дрова, туши говядины, облепленные мухами, мешки с мукой, соленую рыбу, — там, на главных улицах и площадях, жила, стояла, гордясь, поражая и угрожая, великая Византия, импе-

рия Востока, Второй Рим; здесь — задворки, кухня и кишечник, плата за пышность, оборотная сторона златотканой на мешковине парчи.

Где-то в глубине переулков Шимон нашел стену, ворота, калитку, похожие на ограду владений сановных людей, но с приметным отличием: над воротами — крест, гвозди в воротах образуют тоже кресты, тот же крест на двери калитки. Шимон постучал кулаком в гулкое железо калитки, выждал и сказал:

— Во имя отца, и сына, и святого духа...

Дверь отозвалась: «Аминь!» Андрей заметил человеческий глаз, явившийся в окошечке, неслышно открытом изнутри. Глаз исчез, послышалось бряцание железной цепи, грохот засова, и дверь открылась ровно на столько, чтобы мог пройти один человек. Русские вошли и оказались в нешироком, крытом помещении монастырской привратнической. Высокий широкоплечий монах прилаживал на место засовы и цепь. Андрей заметил дубину с окованным железом концом, которая стояла в углу. Тут же на стене висел тяжелый меч в черных, потертых ножнах. Управившись с дверью, монах-богатырь, повернувшись к посетителям, приветствовал их:

— Во имя отца, и сына, и святого духа...

На этот раз «аминь» довелось сказать Шимону, и он осведомился у отца-привратника:

— Как спасение? — Монахов не спрашивают о здоровье.

Тот в ответ лишь вздохнул и горестно опустил голову. Но тут же, закончив с обязательным ритуалом, монах сказал:

— Вот, господин, в тот раз не решился, а ныне осмеливаюсь тебя спросить. С епископом, с просвященным Ионой уехал к вам монашек один, служка его Матфей. Не видал ли его? И тебя, господин, — обратился привратник к Андрею, — о том же прошу.

— Нет, не видал, — отозвался Шимон.

— И я не встречал такого, — ответил Андрей. — Русь, отец, велика.

— Может ли быть? — удивился монах. — Помнес же будет нашей державы! Как же не встретить Матфея? Он видный собой.

— Видный не видный, — возразил Андрей, — да Русь во много раз больше империи. Так-то. Иона проехал в Новгород. Туда от Киева будет подальше, чем отсюда до Рима.

— Ты позови отца Марка, — напомнил Шимон.

— Да я уж повестил, прежде чем дверь открыть, — возразил привратник.

Отец Марк, сухой постник в черной камилавке с нашитым на лбу крестом из белой, коричневатой от времени, ткани, вошел, прихрамывая, и смиренно в пояс поклонился посетителям. Русские ответили тем же низким поклоном. Не произнеся ни слова, отец Марк таким же поклоном и слабым жестом сухой руки пригласил посетителей следовать за ним.

По мощеному двору они, минуя встроенный в монашеское общежитие храм, вошли в узкую дверь первого этажа. Пахнуло маслом, бобами и еще чем-то съестным: кухня и трапезная близко. Отец Марк повернул влево — к церкви, сообразил Андрей, — и после узкого перехода они оказались в кладовой. Дверь в глубине ее, очевидно, сообщалась с храмом. На длинных полках стояли кадильницы, фляги с церковным вином, потиры, дароносицы, ковчежцы. Лежали богослужбные книги в роскошных переплетах, с тяжелыми застежками, кресты, свернутые спитрахили, фелони, золоченые домики — хранилища просфор с колонками и сводами или в виде голубей, с цепочкой для подвески над алтарем, светильники для масла в форме завитого рога, кораблика, дельфина, кита, в память о чуде с пророком Ионой.

В шкафах висели ризы, расшитые золотыми и серебряными нитями. В углу стояла большая крестильная купель. Из-под облезшего накладного серебра яро зеленела медь, — как видно, купелью не пользовались долгие годы. Сильно пахло смесью воска, застоявшегося ладана, меди, старой одежды, пыли и чем-то неуловимым и неповторимым — так пахнет в храмах, в монастырях. Не хорошо и не плохо, а особенно и незабываемо для того, кто слышал этот запах хоть однажды.

Так же молча отец Марк распахнул еще одну дверь. Это была вторая кладовая, меньшая, освещенная маленьким окном, забранным толстой решеткой. Здесь пахло плесенью и тоже особенным, тоже неповторимым запахом пергамента и египетской бумаги из листьев тростника — папируса. На полу лежало десятка три больших тюков и свертков, надежно, густо персвязанных веревками. Книги в переплетах из кожи и без переплетов, свитки разной толщины и ширины, от пальца и до отрезка бревна, просто листы бумаги, папируса, пергамента, подобранные по размеру, чтобы получился тук. Высовывались рваные, будто

объединенные, концы листов, светлых, желтых или почти черных.

— Всё? — спросил Шимон. В ответ отец Марк несколько раз кивнул. — Всё, что я видел, что осматривал? — переспросил Шимон и получил немое подтверждение. — Я обдумал, сравнил, — сказал Шимон, — Я могу заплатить пятнадцать номизм. Полновесных, не порченных, старых, одним словом.

Ничего не говоря, отец Марк ушел. Вернувшись довольно быстро, отец Марк нарушил свое молчанье:

— Отец игумен повелел мне сказать: тридцать.

— Семнадцать, — предложил Шимон, и отец Марк снова исчез.

Так повторялось несколько раз, и каждый раз отец Марк отсутствовал все дольше. Последняя цена в двадцать три номизмы, предложенная Шимоном как окончательная, была наконец принята после особенно долгого отсутствия.

Шимон ушел, чтоб нанять телегу. Наедине с Андреем у отца Марка развязался язык:

— Ты по-гречески говоришь? И читаешь? И пишешь?

Удовлетворившись, отец Марк перешел на латинский язык и получил те же утвердительные ответы. Тогда, указав на тюки, монах сказал:

— Там и арабские есть рукописи. Есть и иудейские. Однако таких не много там. Но не совсем уж и мало.

— Этих языков я не понимаю, — ответил Андрей, — но знатоки у нас есть. Я ж по-арабски лишь говорю, да и то плохо.

— Ты что ж? Торгуешь с арабами? — слабо заинтересовался отец Марк.

— Нет, собираюсь в далекую дорогу. На восток. И подучился немного.

— Без языка — не дорога, — согласился отец Марк и вздохнул, потеряв интерес к разговору.

Отцу Марку было горько. Тридцать лет отбыл он монастырским библиотекарем. Монахи, умевшие и желавшие читать, убывали, или так казалось старику, жизнь которого уже явственно замыкалась. Впрочем, отцу Марку было все равно, он пребывал среди своих книг, не видя греховного даже в грубых словах Плавта, Аристофана, Апулея. Игумены не замечали светских книг. А вот последний, нынешний, приказал: все светские писанья собрать, запереть. Даже отцу Марку было запрещено к ним прикасаться. Всё обрekli тлению, всё, всё... А потом пришел русский с разрешением самого патриарха отбирать и покупать в монас-

тырях ненужное, по мнению игуменов. И вот-совершилось — все светские писания уходят на Русь. «Пусть, пусть, — утешал себя отец Марк. — Только бы жило державное слово». Великое, дивное чудо даровано людям через воплощение деятельной мысли в слово. Богу все едино, писал христианин, либо язычник. По воле бога пишущий обращается ко всем народам. Чтение книг есть благо. Иные книги вызывают желание опровергнуть написанное, даже гнев против писавшего. Другие умиляют, возвышают душу, сообщая новые познания, разясняют бывшее тмным. И те и другие хороши, ибо и в гневе отрицания, и в радости согласия с пишущим одинаково трепещет живая мысль. От бога и Сенека, и Тацит, и Апулей, как святой Августин и апостольские послания. От дьявола — льстивое слово, угодническое, ползучее. От дьявола идет слово, усыпляющее мысль и душу в ложном покое, в бездеятельной самонадеянности. Бог сказал: «Изблюю тебя из уст моих за то, что ты не холоден и не горяч, а только тепел. О, если бы ты был холоден или горяч!..»

Первая добродетель монаха есть послушание. Прав отец игумен. Нekomу в монастыре читать светские книги, пусть просвещаются русские.

В предместье святого Мамы, названном так по храму этого святителя, с давних лет базилевсы отводили места для постоянного пребывания иноземных купцов, следуя не какой-либо выдумке, но общему и старинному порядку.

По древнеиталийской пословице, равные причины не равные предвещают следствия. Эта мудрость, подобно каждой подлинной истине, предупреждая о сложности жизни, не может быть применена ко всем случаям. Ничуть не сговариваясь с приборосфорскими властями, власти древнего Новгорода на Волхове с не запомнившегося летописцами времени отводили особые места для жительства иноземцев: в Новгороде гости германские, шведские и другие имели собственные подворья. В Кисве такие подворья назывались улицами, как и в Чернигове.

В константинопольском предместье прихода святого Мамы Русь владела собственным подворьем, по-латински — кварталом, где порядком ведал русский староста, консул — по-латински. Отношения с городскими властями определялись писанными договорами. На одну из статей договора и сослался Шимон, не желая выдавать на жестокую казнь несправедливого вора.

Из-за частых смут, из-за многих войн, подвергавших опасности нападения столицу империи, русский квартал был защищен особой стеной, и русские, заперев ворота, могли какое-то время и отсиживаться, и оборонять себя, свое добро. Ни городская стража, ни греческое войско не смели произвольно входить в иноземные кварталы. Сам городской епарх, называвшийся в римские времена префектом, или его помощники в случае надобности навещали иноземный квартал по предварительному условию.

Шимон с Андреем, идя вслед за тяжело груженной телегой, почувствовали себя дома, когда сплошные тележные колеса покатали по мостовым плитам своей русской улицы.

Дома со стенами тесаного камня — он здесь доступнее, дешевле дерева — выдавали вкус владельцев: есть лучше, есть и хуже, а такого нигде нет. Правда, не каждый, но многие дома глядели узкими окнами в резных деревянных наличниках собственного, русского дела, в котором нехитрый будто бы рисунок, сложенный кружками, крестиками, треугольниками да квадратами, радуя глаз, был в обманчивой своей простоте единствен и не повторен ни одним народом. Резная доска на коньке крыши, не тесовой, а местной крупной черепицы, не обходясь без петуха, делала крышу русской, своей — как знакомое лицо в чуждом уборе побеждает чужое обличье, и, забывая построй и узоры иноземного платья, смотришь только в милые глаза — они ведь окна души.

Откинув подворотную доску, Шимон распахнул ворота, и телега, подпрыгнув, въехала во двор. Из дома выбежали двое подростков. Шимон, скинув плащ на руки одному, велел другому открыть клеть и живо разгрузил телегу. В монастыре тюки таскал богатырь-привратник, а Шимон стоял с видом знатного человека, который не испачкает руки. Так здесь полагалось, как видно.

За обедом говорили по-гречески. Жена Шимона была гречанка, подростки — русские, отправленные родителями из Переяславля в науку к Шимону, им подобало учиться. Андрей пользовался греческой речью с удовольствием русского человека, легко осваивающего чужое. Шестым сотрапезником был человек в поношенной монашеской ряске, смуглый дочерна, с черными волосами, битыми проседью, как шерсть на спине серебристого лисовина. Знаток книг, Афанасиос гостил у Шимона, отдыхая после путешествия по Азии. «Шествую пешком, мы любой путь одолевашь», —

шутил Афанасиос. Теперь он собирался на Русь, и время отъезда его зависело от срока, в который подготовят к отправке очередные покупки книг. Он должен был доставить переяславльскому князю Владимиру Мономаху отобранные для него Шимоном книги, а остальные распродать русским любителям. Шимон почти двадцать лет занимался этим делом, получал достаточный доход, принимал заказы и брал учеников.

Для Афанасиоса поручение Шимона не было главным делом. Он был философ, по-русски — мудролюбитель или мудропоклонник. При Афонском монастыре лепилась кучка подобных людей. Одни из таких, приняв постриг, вели хронограф — погодные записи, другие оставались до старости послушниками, то есть, нося рясу, были обязаны лишь трудиться, а трудом были также и добровольные путешествия, о которых затем составлялись записи. Для Афанасиоса монастырь был домом, ибо некогда он дал туда вклад — хоть и весьма малое, как говорил он, зато все свое достояние.

За столом Шимон рассказывал Андрею:

— Вот подумай, друг-брат, я ведь за купленное ныне заплатил в десятки раз меньше, чем эти книги некогда стоили бывшим владельцам их.

— Почему же отдали? — спросил Андрей. — В монастыре не понимают цены?

— И понимают, и знают, — возразил Шимон. — Но книга, хоть ею торгуют, есть товар особенный, ни с чем не сравнимый. Возьми так. В купленном мною есть много испорченных книг, сгнилыми листами, наполовину и более истраченные. Что они стоят? Кто назовет цену? Коль говорить о монастырях, то многие игумены не хотят держать светских книг. И даже старых духовных книг избегают, ибо в них могут быть изложены еретические воззрения, а разобрать некому. А вот погодные записи, по-нашему — летописи, не отдадут. Могут согласиться переписать для заказчика. Такая работа стоит дорого, да и как ей быть дешевой! Чтоб написать книгу размером две четверти на полторы листов сотен в восемь, переписчику придется работать полгода. Собразуй, что стоит хотя бы только содержать писца. Но монастырская работа обходится дешевле, игумен всегда рассудит, что все равно монаха кормить нужно. Да и труд переписчика справедливо почитают богоугодным.

— Покупатель книг, — сказал Афанасиос, — подобен рыбаку или охотнику. Как у тех развивается некое чув-

ство, чутье, которое помогает им выбирать место для ловли, так и у книголюба бывает.

— У нас говорят: на ловца и зверь бежит, — заметил Андрей.

— Так, так, — одобрил Афанасиос. — И на этого ловца, — он указал на Шимона, — набегают. Его знают в столице у нас. И на дом к нему приходят с книгами.

К вечеру склесненные обломки дощечки высохли, и Шимон, освободив зажим, взялся за кусок пемзы, чтоб подчистить клей, выступивший из швов.

— Расскажу тебе, друг-брат Андрей, о тех, кто на дощечке изображен. Издалека возьму. В 1056 году умерла от старости базилисса Феодора, последняя племянница базилевса Василия Второго Болгаробойцы и младшая дочка Константина Восьмого. Никого из родных своих она не сочла достойным, старуха была сурова до жестокости, ибо свои родные угнетали ее без пощады, хотя бы старшая сестра, базилисса Зоя Распутная. И передала старуха престол немногим ее младшему военачальнику Михаилу Стратиготику. Стал он шестым базилевсом этого имени, которое, как тогда же заметили ученые люди, добра империи не приносило.

— Друг мой Шимон, — прервал Афанасиос, — грешить ты против бога истины и обижаешь ученых людей. Мало ли что твердят лжефилософы с историками, хиромантами, астрологами, гадателями на зернах, камнях, внутренностях! Наука и сущее-то, нынешнее едва может испытать, а будущее — нет, и при чем же тут наука? Коль будущее может чему-то открыться, то лишь вдохновенью!

— Нужно же чем-то и речь украшать, иначе слушать не будут, — усмехнулся Шимон. — Так вот, года не прошло, как Михаил Вурца, Никифор Вотаниат, Исаак Комнин и другие командующие в Азии избрали своей волей базилевсом Исаака Комнина. Мятежники с такой силой вышли на тот берег Босфора, что Михаил Шестой добром ушел с престола. Через два года базилевс Исаак, тоже человек старый, заболел, решил принять схиму и отдал престол знатному человеку и высокому сановнику Константину Дуке, первому своему помощнику по правлению. Они вместе успели сильно обрезать дворцовую роскошь, отняли имущество и именья, которые щедро раздавали своим любимчикам предыдущие, быстро сменявшиеся базилевсы и базилиссы. Крепко поубавили они церковные земельные

владенья, отменили особые денежные содержания, платившиеся храмам и монастырям.

— Все такое христиане одобряли, — заметил Афанасиос.

— Константину Десятому исполнилось пятьдесят два года, — продолжал Шимон, — когда он сел на престол. Умер он через десять лет, оставив жену с шестью детьми, малолетними. Евдокии тогда еще сорока лет не исполнилось. Была она больше чем на двадцать лет моложе мужа и, став вдовой, еще почиталась из первых красавиц, а в молодости ей, говорят, равных не было. К тому же светлого ума и великая книжница. Константин Десятый заранее нарек базилевсами трех старших сыновей, а от всего синклита, то есть от всех высших сановников и полководцев, были взяты клятвенные записи, что никого они не признают базилевсом, пока будет жить хоть один из младших Дук. Евдокию муж назначил базилиссой-регентшей на время малолетия сыновей. И с нее взял запись, что замуж она никогда не выйдет. Все покойник предусмотрел, да вышло иное...

— Иное вышло, — вмешался Афанасиос, — ибо нет у нас высшей силы, чтоб понуждать выполнять закон, хоть и есть он. У нас власть берет тот, кто одолеет.

— Верно говоришь, — согласился Шимон, — но везде так. Даже у нас на Руси хоть княжение и держится в одном роду, но между собой князья спорят. И даже брат на брата идет. Ты, друг Афанасиос, своих не слишком хули. Иль твое унижение паче гордости?

Афанасиос не ответил, и Шимон продолжал:

— Вскоре в Палатий под стражей привезли обвиненного в злоумышлении полководца Романа Дигениса, сына того Дигениса, которого без смысла загубил Роман Третий. Базилисса пожелала сама его допросить. Бог щедро наградила Романа красотой, силой, разумом с красноречием. Словом, объявили Романа очищенным от вины. Евдокия сумела получить обратно от патриарха свою запись, чтоб не выходить замуж. Так нашелся у Евдокии новый муж в том же году, когда умер старый, и венчали ее с Романом, нареченным базилевсом-регентом.

Жена Шимона вздохнула и сказала:

— Девчонкой была я. Отец меня на плечо посадил. Видала я их. Оба красавцы, и не скажешь, кто старше...

Шимон продолжал:

— Константин Десятый оставил плохое наследство. Повсюду были уменьшены войска, расходы на крепости урезаны, запасы оружия не возобновлялись... Что ж ска-

зять о законах? Пишут много законов и говорят: управляет закон. Люди правят, а не законы.

— Нсверно говоришь, — сказал Афанасиос. — Если уподобить власть базилевса сердцу, то сколько раз оно останавливалось? Три, пять лет проходит — и меняется власть. Перерыв, а? И длится он, пока новый не усядется, не оглядится. А империя живет. Мы привыкли. Имперские служащие учатся друг от друга, от старого к молодому передают умение. И судьи судят, и сборщики исчисляють и собирают налоги, и местная власть следит за порядком, и военная власть о свосм заботится. Почта медленная — дождь, снег, гололед портит дороги. Базилевс сменился, а там через месяц узнають. Еще уподоблю империю теченью реки: от внезапного ливня выходят реки из берегов, но не изменяют руслу.

— А теперь как? — спросил Шимон. — Теперь сильные владельцы начали по-своему делать, начиная снизу. Теперь они, между собой сговорившись, ставят базилевса из своих... Но позволь, друг Афанасиос, я продолжу свой рассказ. Итак, Константин Десятый верил в убедительность слова. Указы при нем писались красиво — об истине, о божьей воле. Уверяли, что, отбросив блуд, лень, благодущие, чревоугодие, корысть с жадностью, все подданные — от высшего сановника до последнего обозного в войске — сумеют сделать с малыми средствами много больше, чем совершалось прежде с великими силами. Турки же рвали себе кусок за куском, в Азии падали крепости, и никто не понимал, как подобное случалось. Могли бы Евдокия с Романом Четвертым запереться в Палатии, подобрать своих людей и думать о собственном благополучии. Но не такие они были люди. Вскоре после свадьбы Роман побил турок в Сирии, выгнал их из припонтийских областей. Зимами Роман недолго жил в столице. Зима здесь коротка, и каждое лето Роман воевал, и удачно. Но сильные его ненавидели, и особенно злы были все Дуки, родственники трех малолетних базилевсов, именем которых правили Евдокия с Романом. На четвертый год Роман с войском в сто тысяч сошелся с турками близ Ванского озера. Запасным отрядом командовал Андроник Дука, и лишь попущенью бога можно приписать доверие к нему Романа. Дука в нужнейший час боя злоумышленно отвел свой отряд назад, чем дал туркам победу. Роман сам бился до последнего, был ранен и взят в плен. Тут уместно упомянуть притчу, которую турки сложили про ромсев: «Создав ромея, аллах огорчился, но, по милости своей не желая уничтожить

свое творенье, задумался, как быть? И создал второго ромея».

— Это верно, — заметил Афанасиос, — однако и мусульмане, злорадствуя взаимной вражде христиан, не замечают, как краток был век единства ислама. Еще быстрее, чем у христиан, в исламе погасла мечта, будто бы единство веры оснует единство людей. Явь жизни обманывает мечтателей и предсказателей...

— Узнав о плене Романа, Дуки отвезли Евдокию в монастырь Богородицы на Босфоре, где насильно постригли в монахини, а правящим базилевсом объявили старшего из отроков — Михаила. Турки выпустили Романа за обещание выкупа. Султан предлагал ему войско, чтобы изгнать из Палатия Дук. Но не таков был Роман, не мог он сделать так, как делали предшественники нынешнего Алексея, которые наводили на империю турок и уступали им имперские земли за помощь. Роман хотел сам собрать силу, но не успел и сдался Дукам. Три епископа были поручителями условия, что Роман отрывается от престола и уходит в монахи. Иоанн Дука сделал себя и их клятвопреступниками: по дороге Романа ослепили раскаленным концом шатерного столба, и он умер от ужасных ран. Его тело привезли в монастырь к Евдокии и позволили ей сделать над могилой роскошное надгробие. Ты, друг-брат Андрей, можешь навестить монастырь и взглянуть на гробницы обоих несчастных.

— Хоть и в тревогах, но четыре года была она счастлива. Такое дается не каждой женщине, — сказала жена Шимона, вытирая глаза. Положив ей руку на плечо, Шимон продолжал:

— Не высчитываю, что Роман делал верно, в чем ошибался. Вот преданье. Из всех базилевсов такое люди сложили только юанем. Рассказывают, что в маленьком поселке Катани, в половине дня пути морем на восток от Синопа, летним утром рыбак нашел в своей лодке, вытасенной на берег, спящего под сетью человека. Незнакомец спасся вплавь с судна, утонувшего ночью, и так устал, что тут же уснул. Рыбак торопился. Незнакомец вышел вместе с ним в море. За один час им попалось столько рыбы, что пришлось возвращаться неслыханно рано. Так повторялось три дня, а на четвертый сосед, у которого заболел сын, попросил помощи, и ему улыбнулась удача. Другие стали просить и себе приносящего счастье, и скоро был установлен ни для кого не обидный порядок.

Счастливым, как его звали в глаза, выходил в море с каждым по очереди, и круглые сутки дымки сочились над коптильнями, и каждые три-четыре дня лодки ходили в Синоп, и рыба была так хороша, что ее покупали сразу, без торга, и требовали еще и еще, и рыбаки остерегались спрашивать Счастливого, кто он, откуда, желая, чтоб он забыл свое прошлое и оставался с ними навсегда. Он был молчалив, спокоен, но почему-то порой ужасался, вслушиваясь в речи людей, хотя что могли рыбаки рассказать друг другу? Всем известное, и ничего болсе. Счастливый старался что-то объяснить. Его не понимали, и скучали от его слов, и скрывали скуку, ибо боялись, что он уйдет и вместе с ним — счастье.

В то лето дождь выпадал всегда вовремя, на каждом огороде, на клочках тощей земли среди скал выросло столько овощей, что хватило бы на всех жителей, и каждое малое дерево обещало столько плодов, сколько не бывало на больших.

Пришел черный день, и Счастливый не захотел больше помогать рыбакам. Он много говорил, но слова его не складывались в связную речь. Вскоре он надоел всем горше чesотки, и ему сказали, что должен он либо по-прежнему ходить в море по очереди, либо уходить вон, куда хочет. Ибо теперь рыба перестала ловиться и люди лишились мечты, а потерявшие мечту злы. И Счастливый ушел, и никто не видел, куда и когда.

После первой осенней бури северо-восточный ветер выбросил на берег мертвого. Лицо было страшно изуродовано, будто бы море нарочно раздробило глазницы. А тело напоминало Счастливого.

Рассказ этот с небольшими изменениями обошел всю империю, но место появления Счастливого называли по-разному, упоминая и западные берега Евксинского Понта, и берега Эгейского моря, и даже провинции, расположенные далеко от морей. Там незнакомец приносил счастье не чудесными уловами рыбы, а пробуждением несбылого плодородия земли.

И всюду его изгоняли, и потом находили тело с изувеченными глазницами. Утверждают, что это появлялся тоскующий дух базилевса Романа-мученика, при котором сильные испугались, налоги облегчились и турки были бы изгнаны, не будь измены. Но как сумеют подданные защитить своего базилевса, коль даже слов его не могут понять!

— А дальше... — нарушил молчание Афанасиос, но запнулся, потеряв нить мысли. Встав, поискал на полке,

раскрыл книгу и прочел: — «Солнце ускорило свой ход, но убыстрилось и течение ночи. Время спешило, и все в мире спешило за временем, от созревания трав до рождения детей. Время спешило, как веретено в руках нетерпеливого прядильщика, и нить казалась бесконечной, и кокон будущего, с которого сматывалась она, казался безгранично богатым, тяжелым, плотным, как слиток. И не было ни у кого ощущения конца, ибо не было ни одного законченного действием дела, потому что жизнь не драма на арене, потому что только там, на арене, автор приходит к задуманному концу, утешая чувства зрителей искусной полнотой завершения. А великий автор не получил бы признания, ибо он знает, что нужно, начав, не закончить, а разорвать, тем самым возвысив свое сотворенье до истины...»

Чуть задохнувшись, Афанасиос воскликнул:

— Истинно так оно, так! — И, обращаясь к ученикам Шимона, строго потребовал: — Неустанно живым сердцем ищите, не гасите умственного огня! Чести не преступайте — и познаете тщету смерти. Нет смерти, ибо конец переходит в начало!

Ночь завершила подниматься к вершине и вниз пошла, тяжело кутая город вороньими крыльями. В улицах тесно от теней домов, уже проснулись добытчики пищи, пробудились слуги и рачительные хозяева, но отблески масляных свечей и пламя хлебных печей не светят прохожему, а спят его. Но вняты запахи, тянет жареным орехом, горячим хлебом, мясным варевом, луком, чесноком, пряностями южных морей: еще недолго — и развернется голодная утроба столицы, требуя мириадами ртов пищи, пищи, пищи, и да получит каждый насущный хлеб по заслуге своей.

Шимон с Андреем спешили к Палатию, чтоб увидеть церемонию утреннего приема базилевса. Их провожали в неблизкой дороге трое соседей с тяжелыми дубинками, а под плащами все пятеро прятали длинные кинжалы тмутороканско-корчевского дела, какими и колотят, и рубят. По попущенью божьему можно ввести в соблазн ночных воров. Ношение оружия воспрещалось подданным, а иноземцы обязывались к такому же воздержанию договорами с империей. Меняются времена, законы не отменяются, но снашиваются, как все на свете. Много лет, как стража не глядит на такое. Начальнику города — епарху сподручно

не возбранять иноземцам самозащиту, это выгодней, чем платить пеню за труп.

К пятерым русским пристроилось несколько человек. пожелав им доброго дела, потом нашлось еще несколько попутчиков, и Шимон отпустил провожатых. Так в последнюю улицу перед Палатисем оба друга вошли с кучкой десятка в два человек и оказались в тылу немалой и довольно шумливой толпы.

Мелкий дождь кропил невидимой пылью. Знаток здешних мест, Шимон отвел друга к стене. На уровне плеча нащупывалось подобие ступени. Опершись одной рукой на плечо Андрея, Шимон прыгнул вверх, протянул руку товарищу, и оба они оказались в глубокой нише. Когда-то здесь стояла статуя или большая ваза, по староримской манере, а сейчас нашлось укрытое место для гостей базилевса.

— Слушай, друг-брат, — тихо говорил Шимон, — вот тут пред нами множество не последних в империи людей. Разных людей — и признанных великими хитрецами, и просто разумных, и вовсе не славящихся умом, и совсем простодушных; есть жадные и щедрые, есть бескорыстные, но тщеславные, есть убежденные в себе и еле скрывающие робость, есть мечтатели, но также и безразличные ко всему, кроме собственного блага... Но всех их роднит вера в губительность сомнений, сближает вера в необходимость поддерживать однажды принятое. Верно тебе говорю, иначе они не пришли бы сюда: любопытных здесь, может быть, лишь мы двое. Пусть они верят только на словах. Но ведь само слово есть великая сила. Оно возводит и разрушает. Помнишь вавилонскую башню? Бог смешал языки, и строители бросили дело... Слово ползет муравьем, муравей вряд ли постигает дерево, по которому движется. Слово летит птицей. Оно может быть гнусным, как клоп, и прекрасным, как херувим. Слово объединяет людей и сотворяет народы. Но, думаю я, никогда и никто не мог заметить дня, начиная с которого мысль, облеченная в словесную плоть, покидает ее, и слова, камenea, слагаются в безжизненные стены. Слушай! Не в самом ли союзе мысли и слова заложено богом тайное условие: чем совершеннее мысль воплотится в слова, тем крепче станет ее плен, тем сильнее слова человеческие, освобождаясь от власти мысли, сами, плотно ложась одно на другое, будут строить гробницы для отца своего, духа? В Болгарии доведенные до отчаяния богами считают весь видимый мир твореньем зла. В далеких странах востока, куда ты собираешься, есть, говорят,

инды, которые уверены в том, что вся жизнь лишь сонное виденье, и поэтому они ищут настоящую сущность в вечном молчании и в одиночестве...

Ты недавно спросил меня, — продолжал Шимон, — не погибнут ли завтра греки? Скажу тебе — всегда находились люди, которые старались разрушить и вновь возвести крепости окаменевших слов словом же. Но разрушали железом. И обманывались! И обманывали других, утверждая победу железа, подобно, как больше тысячи лет тому назад Рим итальянский свалил былую Грецию, как потом франки свалили Рим итальянский. Обманывались и обманывали потому, что разрушенные на вид железом крепости слов, за которыми прячутся люди, на самом деле падали сами, истлевая в свой срок. Откуда мне знать, когда падет эта империя! Не верь мне, когда я ненавижу греков, — я люблю их, и я разыскиваю в них всякую скверну и проклинаю их потому, что люблю. Железо арабов и турок будет бессильно, пока не обветшают словесные стены. Да, мне кажется — здесь слово уже окаменело. Но что глаза и ум человека?

— Они — узкая щель, — ответил Андрей. — Да, щель узенькая, но я-то, друг-брат, чрез нее вижу нашу широкую Русь. Мой далекий путь — как петля, как круг. Пойду по нему, и Русь всегда передо мной будет. Ты же набрался великой мудрости, но душу себе замучил.

Хотел добавить Андрей, что пора бы Шимону вернуться домой — легче ему станет, но не решился из уважения к другу и к старшему. И молчал, а ветер упал с крыш домов в улицу, бросая дождь мокрой горстью. Тьма сгустилась и вдруг посерела — светает. Тучи рвались, как гнилое рядно, дождь хлынул ливнем и сразу прекратился, вылившись весь. Стали различаться фигуры людей, увиделись лица. В Палатии звонили колокола, заблаговестили городские храмы. Окончилась ранняя утренья.

Улица, вымощенная головами, шевельнулась, уплотняясь. Еще немного — и живой песок, безмолвно преобразившись в густое тесто, содрогнулся и липко потек, уминая и вдавливая себя в жесткий прямоугольник входа.

Шли, раскачиваясь, все вместе, с опущенными руками, чтоб сберечь ребра, неловко, мелко и быстро шагая, чтоб сберечь ступни в давке, и душно пахло мокрой одеждой, мужским телом, маслами для волос, сдобренными жасмином, розой, гвоздикой, мятой, и пахло сыростью, нечистотами, конским навозом, размятым ногами, и шли, топчась, удушая ступнями лужи, наполненные истолченной грязью,

и были сдавлены беспомощно, безвольно, как вода в желобе, и здесь не хватило б никакой силы, чтоб повернуться, свернуть в сторону, здесь сломили б медведя. Быть здесь, пройти через это испытанье было пробой смиренья, было неумышленным предупреждением тому, кто задумал явиться перед лицом власти: познай, ты случасен, мал и бессилен, когда собираешься в толпы, ибо в толпе каждый враг каждого, ибо только в рядах, построенных властью, ты будешь в безопасности, возможной для смертного.

Впоследствии Андрей рассказывал, что он испугался. Да, на него напал страх, настоящий, неизвестный раньше, в сравнение не идущий ни с чем, что случилось потом за пятилетнее путешествие в страну сунов на берегу Восточного океана и обратно на Русь.

Очевидно, эта мука входа, это течение к воротам продолжалось долго, ибо за воротами Палатия, где тело освободилось из тисков, а душа вырвалась из толпы, не было ни ветра, ни сумерек, а было солнце, которое успело восстать над зеленью Вифинийских гор, чтобы обозначить неизбежность победы света над мраком, чтобы обратить к себе венчики тех цветов, чьи стебли мудро послушны: ведь солнце бесконечно превосходит тысячи глаз, которыми глядит ночь. Знамение! Не мудр ли в людях тот, кто, обладая прекрасной гибкостью цветка, отдается воле единого светоча?

Здесь воздух чист, здесь шли вольно, оглядываясь. Здесь приветствуют друг друга. Но молча! Движеньем руки, головы и улыбкой. Много улыбок, улыбок. Пусть умело выражают радость, ибо мрачность здесь непристойна по этикету, но и вправду здесь хорошо. И как ловко умеют иные — и многие! — прибавив шаг, вырваться вперед и приостановиться, обернувшись, чтоб тебя увидели, заметили, запомнили твое усердие, от сердца идущее.

Этим — более чем тысяче видных, знатных людей — сегодня базилевс вовсе не нужен, и они ему не нужны. Сегодня только из служилых, только из высших сановников базилевс подзовет к себе для дела, может быть, трех, может быть, пятерых, но не больше. К чему же стремиться старательные сотни? Быть увиденными. Они будут молчать и присутствовать. Присутствие им зачтется, ибо они необходимы: пустые залы Палатия немыслимы, невероятны. Полные залы — собрание. Безгласное, но так и нужно там, где говорит один. Без них нет речи, но собрание, где может держать речь каждый, это мятеж. Тех, кто не ходит на

безгласные собрания по безразличию, по небреженью, по лени, кто-то в недобрый час может окрестить и мятежниками.

Великолепная охрана дворца холодно и спокойно скучала, и колокола звонили, звонили. Их звук не терял своей прелести, как теряет ее однообразно и часто твердое слово: животворящая мысль отвращается от собственных созданий, а звук меди бездушен, потому и бессмертен.

В дворцовой двери — евнух, белый, как лебедь, с золотыми ключами в бледных руках. Это Великий Папий, всегда евнух, управитель Палатия, государь всех дверей, блюститель дворцов, садов и подвалов, повелитель всех слуг. Он отошел внутрь, высыпав мелкую монету — диетариев, младших мастеров церемоний. Эти люди — люди быстрых движений, с бесстрастно-строгими лицами — распорядились верноподданными.

Удерживая одних, пропуская дальше других, они кого-то размещали в первой от входа зале, кого-то — во второй, кого-то — в третьей... Андрей спешил за Шимоном, а Шимона на невидимой привязи вел один из этих вертких людей, скользя на мягких подошвах, плечом вперед, никого не задевая, дальше и дальше. Внезапно для Андрея, но на самом деле по точнейшему расчету, проводник-диетарий поставил обоих русских в широком проеме дверей перед пустой залой. В глубине ее — узкая дверь, блестящая серебром.

— Это Золотая зала, сюда выйдет базилевс, мы на лучшем месте, — шепнул Андрею Шимон.

Диетарий, друг Шимона, трудился по дружбе, а не за золотые номизмы, которыми оплачивались подобные услуги. Диетарий был любителем книг, посвященных Эроту — Амуру, и Шимон уступал ему такие без ущерба для своих русских заказчиков. Чего только не находилось в покупаемых гуртом библиотеках, а судьбы иных книг причудливей судеб человеческих!

В торжественном молчании четыре спальника принесли нечто златотканое и с почтительной осторожностью опустили на скамью близ серебряной двери: так пришествовала туника базилевса из ризницы. Тут же кто-то — старший диетарий, объяснил Шимон, — на цыпочках подкрадываясь к двери, постучал в нее, и серебро отозвалось, дверь открылась, и явился Девтер, помощник Великого Папия и тоже евнух. Всю ночь он сторожил изнутри дверь в личные покои базилевса.

По человеческому несовершенству, друг-дистарий иной раз одаривал Шимона дворцовыми сскретами без выгоды для себя, и, коль подумать, не без риска. Про Папия с Девтером он говорил: «В сих божьих твореньях, исправленных человеком, тайное погибает, как слепые котята в колыбде». Спальники подняли тунику вчетвером, как поднимают икону, и унесли ее внутрь. Мгновение — и базилевс Алексей вступил в Золотую залу. Квадратный вырез туники открывал сильную шею, из коротких рукавов высывались мускулистые руки. Блистая золотым шитьем, базилевс глядел поверху, чтоб не встретиться с кем-либо глазами. Уверенным шагом сильного телом человека, привыкшего и к седлу, и к ходьбе, он повернул к восточной стене, где в нише его ожидала икона Христа. Опустившись на колени, он молча молился, падал ниц, поднимался, протирая руки, как человек, просящий о помощи в крайней нужде.

Андрей сочувствовал Алексею-базилевсу. Этот — и восвода, и сам храбрый боец — взял власть и умом, и мечом. Его предшественник, Никифор Третий, грязный и распутный старик, полководец, захвативший престол насилем и хитростью, за недолгое правление расточил империю в борьбе с соперниками. Последний из них, Никифор Мелиссин, командовавший войском в Азии, заключил союз с турками и за военную помощь уступил им все ранее захваченное ими, даже Никею. Оба Никифора собирались договориться, и, не вмешайся Алексей, они поделили бы остатки империи себе на прожиток, как купцы — прибыль. С запада герцог Апулийский нормандец Гискар собрался завоевать империю по примеру нормандского герцога Вильгельма, завоевателя Англии. Алексей отбил, отбросив врагов, но только на несколько шагов. Империю сравнивали с больным стариком, дряхлость которого делает опасной любую болезнь. Базилевсу есть о чем молиться...

И все же публичность утренней молитвы была обрядом. Подданные должны были видеть общенье владыки с богом. Давно уже базилевсы так начинали свои приказы: «Во имя отца, и сына, и святого духа, моя от бога державность повелевает...»

Такое совсем не пусто от смысла, как понимали русские. Ибо, коль бог допустил восшествие к власти, коль позволил патриарху благословить базилевса на престол своим именем, нет верующим бесчестья почитать в базилевсе божьего помазанника, и ему не бесчестье напоминать подданным о божьей воле.

В Золотой зале на возвышении стояло большое изукрашенное кресло. Это Священный престол, на котором базилевсу было положено восседать в особо торжественные дни и принимая послов. Налево и прямо на полу — меньшее размером кресло, обтянутое пурпурным шелком, назначенное для церковных праздников. Направо, тоже на полу, раззолоченное кресло для будних дней. В него и сел базилевс после молитвы, а перед ним склонились Великий Папий с Девтером. Базилевс что-то сказал, и Папий заструился к выходу из зала, где стояли русские, сел на скамью у входа, отдуваясь и всем видом показывая усталость. К нему подскочил малый сановник адмиссионалий — входящий. Великий Папий приказал ему нечто, и тот пошел, негромко восклицая:

— Великий Логофет! Великий Логофет!

Не заставив себя долго ждать, к Папию подбежал чернобородый сановник и поклонился с уважением, но не слишком низко. Сморщив улыбкой безволосое лицо, Папий утомленно поднялся со скамьи, на которой он один имел право сидеть, и повел сановника в Золотую залу. Перед креслом базилевса Великий Логофет пал ниц, целуя высокие пурпурные сапоги Алексея, по его жесту поднялся и заговорил, удерживаясь от жестов, Папий же вместе с Девтером отступили подальше.

Великий Логофет по должности ведал внешними сношениями империи и содержанием дорог. От входа в Золотую залу до кресла базилевса было, на взгляд Андрея, не меньше тридцати шагов — звуки слов гасли, и базилевсы, соблюдая этикет, занимались государственными делами перед лицом подданных, но втайне.

Шимон коснулся руки Андрея, и оба они потихоньку попятились. Освобожденное место заплыло, а русские с благопристойной медленностью покинули первую приемную. Часа через два общий прием прекратится, и посторонние освободят Палатий, дабы отдохнуть и подкрепить свои силы. Через три часа после полудня вся церемония повторится. Так бывает, если не происходит особых событий. От тысячи до двух тысяч людей дважды в день посещают Палатий не для того, чтобы делать что-либо, но чтобы показать свое усердие.

Стоя в первом ряду, Андрей ощущал подобие жужжания пчел в улье. Во второй присмной звук усилился: здесь разговаривали чуть громче, но тоже не шевеля губами и не глядя друг на друга. Особое умение. Но в

следующих, отдаленных приемных уже различались голоса.

Русские уходили не одни, из дворца сочился живой ручеек. «За последние годы, — говорил Шимон, — этикет ослабел».

Солнце стояло высоко, от ночного дождя не осталось следа. Прошел час или немногим более. Андрей пожаловался, что устал, будто болен: в седле от зари до захода так не устанешь. Шимон утешил — и ему не легче, место такое и давит, будто ты льняное семя под гнетом.

Вечером за общей беседой Шимон говорил:

— Нет правителя, который замышлял бы зло, мысля о подданных: сделаю так-то и так-то, чтобы в моем государстве люди жили хуже. И нет более легкого дела, как осуждать дела правящих.

— Отказываясь от суждений, человек отказывается от свободной воли, дарованной богом, — возразил Афанасиос, — и делается подобным животному. Принимая безгласно дурное, человек соучаствует в нем.

— Но где мера? — спросил Шимон. — Я разумею меру для намерения.

— Дело есть мера, — возразил Андрей. — Зверь неразумный или дитя поступают, не зная зачем. Первый — от голода, второй — для забавы.

— Нелегко указать на первую причину в государственных делах, — ответил Шимон. — Она может быть скрыта, как сила, которая оживляет росток в семени. Мы с тобой, Андрей, видели сегодня, как высший сановник всенародно глотает пыль с сапог базилевса. Такой обряд соблюдают уже сотни лет. Зачем он? Почему он вечен? Здесь бывает и так, что высоких сановников за малую вину при всех обнажают и бьют палками, как рабов. Избыв вину, сановник продолжает служить базилевсу. Такое не считают позором, но уподобляют отеческому поучению...

— Если б князь тебя на Руси... — вскинулся Андрей, но Шимон остановил его:

— Не сравнивай! Одному — одно, другому — другое. Было — и я, сравнивая, рассекал имперские порядки, как нож воду. Изучая, постигая, я изменил скороспелым суждениям. Рассудим. И четыреста лет тому назад, и больше, и совсем недавно законы империи ратуют за земледельца. Не было базилевса, который не понимал бы, что достаток, жизнь империи идет от земледельцев: пища для всех, нуж-

ный ремесленнику материал, воины для войска, налоги в казну. Многие законы начинались словами: «Еще в евангелии сказано, что богатому труднее войти в рай, чем верблюду проникнуть в игольное ушко, что бедные будут у бога, а кто не трудится, тот не ест». Неоднократно базилевсы отбирали монастырские земли, раздавая их земледельцам. Богатым запрещалось не только захватывать землю обманом, но даже покупать ее. Все эти законы не отменены и действуют по нынешний день. Иные базилевсы, как Василий Болгаробойца, убивали сильных, делили захваченные земли на участки и раздавали бывшим наемникам и слугам убитого сильного. Жадных сановников постоянно укорачивали, даже смертью. Заботились и о налогах, чтобы земледельцы могли платить, не разоряясь, не теряя охоты к труду. Итак, я сказал о намерениях, изложенных в законах. Хулить такое не должно. Отсюда же я коснусь униженья высших. Базилевс всех равняет, потому-то сановник ползет перед ним, как низший слуга.

— Ты прав как философ, — согласился Афанасиос. — Однако ж позволь мне напомнить, что учитель мудрости призывает к делу. Без дела желания и вера мертвы. Почему в империи при добрых намерениях получается инос? Против такого ты не возразишь.

— Слово расходится с делом. Базилевсы обманывают — вот тебе легкое объяснение, — ответил Шимон, — но неверное. Сущность вижу совсем в ином: империя находится в непрестанной войне. Как часто в те же годы, когда сочинялись добрые законы, империю брали за горло. Сам этот величайший во вселенной город разве не бывал осажден с моря и суши? Разве не спасался он только прочностью своих стен, которые легко оборонять изнутри? Империя не остров. И где тут беречь подданных, когда смерть наступает! А с кого взять деньги? С земледельца. Была бы империя островом... Юстиниан Первый мечтал превратить в остров весь мир, распространив империю и христианскую веру до пределов земли. Он хотел добиться единства веры в империи, и того даже не добился. Но мог бы достичь желаемого, будь он базилевсом острова. Но, повторяю, империя не остров, а укрепленный лагерь, палисады которого ежедневно ломает враг, внутри которого беспрерывны пожоги...

— Да, друг, — ответил Афанасиос, — и мне казалось подобное, и даже от других слышал похожие слова. Воистину, империя не остров, и иное было бы с ней, находись она на острове. На острове, может быть, добились бы урав-

нения всех на службе империи, и базилевсы, требуя исполнения законов, сотворили бы легкую жизнь даже для убогого калеси.

— Вы оба ищите оправданий, — вмешался Андрей. — Но, по мне, коль законы хороши, а получится плохо, то не мудрец законодатель и не добрый человек, а напрасный мечтатель. На Страшном Суде будут нас судить не по мечтам, а по делам, и тою же мерой отмерится правителям.

Афанасиос возразил:

— Ты, русский, ищешь пытливым умом. Достаточно ль ума? Шимон живет среди нас не двадцать ли лет, ты, Андрей, ста дней еще не прожил. Пусть глаза зорки, пусть остры суждения, а все же...

Затруднившись, Афанасиос продолжил:

— Ты, друг Андрей, сегодня впервые видел почитание базилевса. В языческом Риме императоров приветствовали, поднимая руку. И еще можно было поцеловать в плечо. Потом опускались на одно колено. В христианской империи обряд еще усложнился, и вскоре начали ползать, как ты видел сегодня. Но что на душе у ползущего? Любовь или подделка, подобострастие? Удивляетесь? А тому не дивитесь, как часто у нас вслух клянутся в любви к базилевсу, к империи? Ты, Шимон, не наслушался?

— Да, слышал и слышу, — отозвался Шимон.

— Но ведь многие, многие, — продолжал Афанасиос, — воистину любят. Заподозрив в другом холодность чувств, такие разъяряются, могут даже убить. Такие доносят не из выгоды. Подобная любовь к властям для нас, людей посторонних, есть извращенная похоть...

— Это грех, — заметил Андрей, — ибо что сказано в первой заповеди? Не сотвори себе кумира и всякого подобия!

— Ты судишь, как русские, — возразил Афанасиос, — русские суть недавние язычники, воспринявшие веру в простоте учения. Мы, древние христиане, отличны от вас...

После паузы Афанасиос продолжал:

— Друг Андрей, ты видел сегодня роскошно вооруженных телохранителей базилевса. Это избранное войско еще недавно пополнялось норвежцами, шведами, датчанами, исландцами. Эти северяне, люди воинственные, были привлечены роскошью и жалованьем. Ныне преобладают англичане. Они здесь женятся и остаются навсегда. Нормандцы лишили их родины. Ты скажешь, Англия осталась? Остались название и толпа, которую нормандцы обтесывают себе на потребу. Нет там обычаев, привычек, свободы.

Значит, и родины нет. Что человек, как не сын человеческий? А империя не плавильный ли тигель?

Шимон и Андрей не отвечали. Афанасиос сказал:

— Трудно постичь империю. Уподобления уводят в сторону. Сравнения, без которых не обойтись, убедительные сегодня, завтра теряют силу. Позвольте мне, друзья мои, предложить вам рассказ, чтоб ум отдохнул от рассуждений?

Не встретив возражений, Афанасиос начал:

— Еще и сегодня некоторые народы, как в отдаленной древности, живут простой жизнью. Счет родства они ведут по материнским линиям, ибо не знают брака. У них ребенок не будет покинут, больного, старого, увечного кормят без укоров. Добытое одним делится между всеми. Все они равны во всем, нет между ними богатых и бедных. Там каждому тепло, как овце в стаде.

Не золотой ли век? — продолжал Афанасиос. — Не о таком ли люди хранят память, разукрашая ее сказками? Но некогда пришло время, когда люди, наскучив общностью, разделились. И мужчина сказал себе и другим: «Вот моя жена и мои дети!» И женщина соглашалась из любви к мужчине, и они оба уходили, ведя за собою детей. И почитали своей собственностью землю, обработанную ими под пашню, и колодезь, вырытый ими, и рощу, и деревья. И научились говорить «мое», «наше», и не допускали других к своему, возражая: «У вас есть свое, а нашего не берите».

Так они жили, объединенные любовью, и ветер дул на них, и не было защиты у них, кроме собственной руки, и хотя одна семья селилась рядом с другой, но у каждой было свое поле, свой скот и вся остальная собственность. И вот империя прислала к ним писцов, и писцы измеряли, сколько югеров пашни, и добывались знать, сколько чего родилось за последние десять лет, сколько оливковых деревьев, сколько югеров под виноградными лозами, сколько самих лоз, и сколько лугов, и где пасут скот, и сколько скота, и сколько ставят стогов, и нет ли соленой воды, чтоб выпаривать соль...

И вычисляли: сколько платить за пашню по ее урожаям, сколько за масло, за вино — по числу масличных деревьев и лоз и по их силе, и за пастбища, и за скот, и за луг, и за лес, и за соль, если она добывается земледельцем. Но если соль не добывалась, то за соль не брали. Так же брали за жилища — по числу очагов, от которых поднимается дым по утрам, и за каждого человека, который

дышит, — эта подать называется «воздух» — «аир». И сверх того особый сбор на возведение крепостных стен и другие... И также самому сборщику подати, что называлось пошлиной, ибо сборщик шел к плательщику, а неплательщик шел к сборщику. И сверх того, тому же сборщику погонные на содержание помощников сборщика. И еще нечто, ибо сборщики были ответственны перед казной базилевса, а казна, имея списки, знала, сколько должен принести каждый сборщик, и за недобор требовала от сборщика не объяснений, но денег. Не получив денег, могла взять жизнь сборщика. Хотя жизнь сборщика имела цену лишь для него самого, но, взяв ее, казна получала устрашение другим сборщикам, что для казны полезно. Еще были самые деньги, которые изменялись, ибо в целях выгоды империи базилевсы выпускали более дешевые деньги, примешивая к золоту серебро и медь в большем количестве, чем прежде, а налоги взымали по расчету старой монеты, и был такой счет тонок и труден даже обученному человеку, а плательщик не знал грамоты.

Был такой же военный постой — митатон: обязанность дать кров и пищу солдату. И доставлять хлеб для войска по особо дешевой цене. Своей силой участвовать в строевании крепостей, возить камень, дерево, песок, известь, а также строить военные корабли. Живущие вблизи государственных дорог обязаны содержать в порядке дороги и на своих участках возить на своих лошадях имперских служащих.

И еще было войско, которое шло на войну, и солдаты брали все у своих же, и пасли лошадей на полях, и разводили костры из плодовых деревьев, и военачальники не мешали солдатам, ибо от этих солдат они завтра потребуют самоотвержения, стойкости перед смертью, а живет человек не три раза, и не два раза, а только один и в тоске повторяет: лучше живому псу, чем мертвому льву, и при мысли о битве, навстречу которой он идет, рвет сегодня куски с жадностью пса.

И все беды из-за того, что человек сказал: «Моя жена и дети мои», и захотел заботиться о них, и привязал себя к куску земли, и не может бросить свой удел, ибо земля дает жизнь тем, кого он любит, а без любви жизнь не имеет цены, и он, грубо и зло проклиная себя и любимых, несет свою ношу.

Он говорит своим волам: коль на вас бы столько навалить, сколько на меня! И пашет, и смеется, и слагает песню, потому что он человек и нет конца человеческой силе.

И вдруг он останавливается. Колокол сельской церкви дребезжит: «длинг-длонг-длинг». Что случилось? Пахарь развязывает сыромятные ремни, сбрасывает ярмо с бычьих шей и бегом гонит волов. Из дома выбегают его жена, его дети, каждый тащит на себе самое дорогое, о чем вспомнилось в страхе, и, навьючившись сами, они выгоняют со двора свинью, овец, осла, и все бегут к лесу на ближней горе и гонят глупых животных, непослушных, заразившихся страхом от хозяев. Туда же бегут соседи, кто-то несет больного ребенка, тащат бессильных стариков, старух. Видны яркие, праздничные платья — то девушки уносят лучшее достояние на себе, чтобы освободить руки для другой ноши. На северо-востоке, там, где поворачивают между невысокими, но крутыми, поросшими лесом хребтами и речка, и прорытая ею долина, и дорога, протоптанная со времен сотворения мира, вест облачко дыма. Набат умолк — звонарь спасает свою жизнь.

Через реку вброд, воды по колено. Зимой и в ливни река разливается в поток, который уносит вековые деревья, как щепки, летом воды едва хватает. Люди и животные гремят окатанной галькой. Скорее, скорее! Волы бегут медленно, их бьют. Никто не оглядывается. Не к чему, не к чему оглядываться. По узким тропкам, пробитым между зарослями колючих кустов, беглецы вламываются в лес. Вперед, еще глубже, еще дальше. Убедившись, что все свои — женщины, дети, волы, свиньи, овцы — здесь и теперь в безопасности, будто бы есть безопасность в этом мире, мужчина отстает. С ним его сын, старший, лет двенадцати, помощник, который уже умеет все, знает все, не хватает лишь силы. Мальчик захватил — не забыл! — отцовский лук и колчан из луба, обшитый овечьей шкурой, отцовский меч, боевой топор на длинном топорище и деревянный щит, окованный железом, с широкими бляхами, подбитый двумя слоями толстой кожи. Старший и младший, утирая пот, возвращаются на опушку. Из леса слышен голос, женский голос, протяжный крик, в котором оба различают — один свое имя, другой — имя отца. Поворачиваясь, мужчина отвечает, в ответе—приказ и утешенье.

На опушке двое — большой и малый — оказываются не одинокими. Десятка два таких же отстали и вернулись. Все вооружены, здесь все умсют держать оружие. Они ждут, пользуясь тенью. Они видят, невидимые. Пыль, пыль, пыль. Всадники. Передние уже у домов, передние уже проскочили мимо домов. А там, левее, все клубится пыль. Нашествие? Набег?

Конные толпы движутся медленно, лошади идут шагом. Это передние скакали, отряд разведчиков, глаза войны, чтобы осмотреться, чтобы высмотреть, нет ли засады. Десяток всадников скачет к реке, прямо к мелкому броду. Муть уже улеглась, ее унесло тихим течением, но свежий навоз выдаст, выдает влажная галька, которую солнце еще не успело просушить с теневой стороны, — у разведчиков глаза — осиное жало. Видно, как лошади тянутся к воде, как всадники не дают им пить. Мелко, подпруги затянуты; лошади вредно низко опускать голову, когда затянута подпруга. Осторожно, чтоб не разбить копыта лошадей, всадники движутся по широкому руслу. К лесу. По следам. Все сразу они поднимают коней в галоп, скачут, нарастая, увеличиваясь. Защитники леса жмутся в тень — знают: солнце сзади, солнце бьет всадникам в глаза. Тетива лежит в вырезе стрелы. Пахарь привычно шурит левый глаз, мускулы вздуваются. Мальчик стоит справа, готовясь подать новую стрелу в руку, которую отец отбросит назад после выстрела. Шагах в ста от опушки всадники с криком, в котором слышится особенное, гортанное «ааа!», круто берут в стороны, и пестрая стремительная стая в развевающихся ярких повязках на острых шишаках, в вихре длинных лошадиных хвостов, во вспышках крыльев плащей, с топотом, звяканьем стали разлетается, отброшенная невидимым препятствием, и — назад, круглые щиты подскакивают на спинах, и — стой, стой! Вот они все вместе. Их, казавшихся толпой, вряд ли больше десяти, они — кучка, лицом к лесу глядят, ждут. Чего?

Люди жили в раю, был мир, лев и ягненок пили из одного ручья.

За широким ложем рски с узенькой лентой блестящей воды идут конные. Налево, в проходе между горами, стало ясно — пыль улеглась. С опушки видны обломки каменных стен над проходом. Когда-то и кто-то построил там крепость, замкнул долину. Когда-то и кто-то разрушил ее. Кто и когда? Неизвестно, бог знает. Дети Каина или потомки Авеля? Других нет, все люди братья.

С развалин крепости видно очень далеко. Там живут старик и старуха, их содержат складчиной. Это они подняли дым, который увидел звонарь, пробивший тревогу.

Разведчики хотели узнать, кто в лесу. Хотели вызвать движение, бросились назад, будто увидели и чтобы вызвать стрелы. Но никто не сорвал тетиву, они ничего не узнали. Что они будут делать дальше?

А они не рискуют больше, каждый держится за жизнь: прожить лишний день, лишний день взять у судьбы. Человек понимает человека, все люди были братьями, от родства остается способность понимать, хоть бог и смешал языки, мстя за грех вавилонского столпотворения. Но в лес хонные не пойдут, сарацины и турки любят чистые поля. И — хотят жить.

Разведчики посылают коней к реке, находят глубокое место, выпаивают лошадей. Исчезают. Войско идет. Идет много сотен конных, тысячи, наверное, отсюда не сочтешь. Верблюжьи шеи поднимаются, как змеи. Пахари знают, что сарацины, турки, кто бы там ни был, не остановятся здесь. Весна в начале, ранние посевы едва всходят, под поздние еще пашут. Дальше к югу, на половину дня ходьбы, долина расширяется, там широкие луга покрыты травой, там нашествие остановится на ночь. Местные пахари знают, чужое войско тоже знает. Не в первый раз. Так было, так будет.

Отец подсаживает сына на дерево. Ловкий, как ласка, мальчик исчезает в молодой листве ореха. Ствол толщиной в два охвата несет лес раскидистых ветвей. Вершина, опаленная молнией, суха, и оттуда видно далеко. Мальчик спускается, прыгает на землю, от него пахнет яблоком — аромат листьев ореха. Никого не видно, пусто у домов, и вся дорога пуста — сарацины ушли.

Ушли? А не вернется ли кто-то из них, чтобы застать людей врасплох? Сарацины и все, кто воюет, ловят людей.

Дождавшись сумерек, мужчины возвращаются. Сарацины походя разгромили, что попало под руки. Плодовые деревья изрублены мечами, ссеченные ветки валяются на земле, стволы изранены. Двери сорваны, ограды повалены. Дома, сложенные из неотесанных камней, связанных глиной, слишком тяжелы, чтобы их можно было походя свалить, но сарацины побывали всюду, ломали столы и дощатые кровати, били корчаги для воды, глиняные миски, скамьи, нарочно оскверняли жилища нечистотами. Тайники, вырытые под землей, где припрятывают зерно, семена овощей, запасное платье и другое, в чем не нуждаются каждый день, целы, но ущерб все же очень велик, все нужно починить, все исправить своими руками, все сделать заново. Уйдут дни и недели тяжелой работы. Не теперь, теперь еще не к чему стараться — рано.

В лесу, за первой складкой горы, за колючими стенами жестких, как из рога, кустарников, бьется невысыхающий

источник сладкой воды, там — пещерки, подрывные в мягком камне под слоем крепкого камня, там всегда прячутся, так как туда нет дороги, туда не топчут троп, подходы туда берегут и ходят, даже в бегстве, поврозь. Теперь будут жить там, пока не прекратится война сарацинов с империей.

Живут в норах-пещерках. На рассвете, как только по кручам, по лесу можно пролезть, а через кусты можно протраться, мужчины, и подростки, и мальчики, и девочки, и женщины, и девушки — все, кто может и обязан перед своими и перед собой, уходят из убежищ на свои поля — нужно кончить с посевом. Одни гонят волов, четырех волов, которых можно запрягать в тяжелый плуг. Таких сборщики налогов называют зевгарями, у таких больше земли, такие больше платят. У других — пара волов, эти платят меньше, у третьих — один вол, у четвертого нет вола, такой пашет на себе, ему помогает осел, но осел плохой пахарь, и его владелец записан у сборщиков пешим.

Из тайников достают семена, пашут, у одного больше поле, у другого меньше, но все работают одинаково — в полную силу. Проходит один дождь, выпадает другой, семена превращаются в зеленую поросль, в стебли, стебли колосятся. И падает третий дождь, и колосья наливаются так, как давно не бывало — бог смиловился и посылает урожай. Старшие говорят: «Такого не помним». Они помнят, но им хочется думать о будущем, а прошлое не имеет цены. О прошлом рассказывают сказки, так как песни забылись.

Было так — за великим Дунаем на черной от жира земле, в которой ни камня, ни корня, хлеба стояли, способные скрыть конного с пикой. И по сю сторону Дуная были обильные урожаи на красной земле. А как же здесь оказались? Прадедов переселил базилевс. Какой? Забыто имя, забыто, почему поселили, зачем. Нет ответа. Бог знает. Божье всеведение необходимо, так как люди знают слишком мало: ничего не знают, как говорит священник, который однажды в год приходит, дабы окропить могилы усопших святой водой и дать отпущенье умершим в его отсутствие, благословить браки, крестить новорожденных, принять исповедь, отпустить вольные и невольные грехи и приобщить святых тайн. И проверить, как помнят молитвы, и напомнить о соблюдении постов. И, отслужив литургию в развалинах церквушки, на развалинах звонницы которой надтреснутый колокол будет звонить благовест, а не

набат, священник в проповеди своей будет обещать рай всем и ад — непослушным.

Новая луна народилась, минуло полнолуние, наступили темные ночи, ячмень созрел, и его сжали. Сушили на поляне в лесу, вылушили зерно, перебрав руками, чтобы не пропадало ни зернышка, солому спрятали в зарослях. Сарацины же не возвращались, и ни одна живая душа не появлялась. Сарацины могли вернуться другими дорогами. Сарацин могли победить. Однако же разъездные торговцы всегда проезжали во время созревания ячменя и возвращались к жатве поздних хлебов. Год был хорош, израненные плодовые деревья дали больше, чем в прошлом году. Богато родили лесные деревья. Орехи сидели семейно — и пять и шесть крупных ядер в зеленом кожаном глянце на одном черенке. Наливались масляны. Стебли пшеницы подсыхали, колосья склонились, еще немного — и пора жать.

Имперское войско пришло в тот же час, что сарацинское, только с другой стороны. Конница походя травила поля лошадьми. Жители бросились к начальникам. Начальники отвернулись. Потом навалилась пехота, подобно второй волне саранчи. Пешие успели порыться в домах, около домов и, с чутьем на чужое добро, добрались до иных тайников. Насыпали сумы зерна, взяли из одежды, что показалось им лучшим, а начальники пших так же отворачивались от жалобщиков, как начальники конных.

Едва пятая часть от обещанного богом урожая досталась пахарям — тяжелый пришелся год, год гнева божьего. Свое войско наделало бед больших, чем вражеское.

Все, что в силах человеческих собрать, собрано. Дикие деревья обобраны, как и посаженные человеком. В лесу не оставлено ни одного яблока-кислицы, ни одной дикой груши, ни одной ягодки красного кизила, ни одного мелкого ореха с кустов, крупного — с деревьев. Все, что нужно сушить впрок, высушено, накопчено на дымных сушилках. Ходили вверх по течению реки. Там, за поворотом и узким местом, которое берегла былая крепость, некогда жили люди. Ныне развалины домов и одичавшие, но обильно родящие деревья. Ходили и вниз по течению реки, в широкое место долины, где тоже развалины, много развалин, там жили, наверное, тысячи. Широкие луга захвачены дикими травами и зарастают кустарником. С гор спускаются деревья. И все же кое-где еще чувствуется след плуга, межи, торчит отесанный камень, на котором высечены буквы. Это хозяин обозначил границу владенья.

Есть преданье, что здесь, как и вверх по теченью, жили люди одного языка. Их всех — много тысяч семей — переселил давным-давно базилевс, имя которого они забыли, из страны, именуемой Фракией. Земли они взяли, сколько хотели, сборщики налогов к ним не ходили. Знались они с полководцами, которым давали воинов, и сами себя защищали. Плохо было выбрано место: далеко до леса, а проходящим войскам удобная стоянка. Поэтому и погибли здешние жители. Это истина. А прочее, наверное, сказка, бог знает... Здесь много дубов, желуди — хорошая пища для людей, когда нет иной.

Стало холодно, от частых дождей вздулась река, настало время мира. Мира без хлеба — собранного урожая едва хватит на семена. Разъездные купцы приезжали с опозданием из-за войны. Базилевс победил врагов: сарацин — в Азии, болгар — в Европе. Когда напились допьяна крепко выбродившейся браги из слив, один купец пустился обличать победы — они-де хуже поражений; другие ему заткнули рот: язык твой — враг твой. Это истина, бог знает.

Торговали плохо. Шерсть и кожа были нужны самим, чтобы соткать одежду и сшить обувь вместо украденных и отнятых войском, сало нужно самим, чтобы не отощать без хлеба, не было меда и воска — ульи разбила сарацины. Брали в долг, с отдачей в будущем году, но купцы назначили большую лихву, двойную цену, нужно дожить, люди смертны. По необходимости отдавали купцам последнее — не на словах, на деле, — серебряные монеты миллиарисии и золотые номизмы, по-старому — солиды, или статеры, извлекаемые из немыслимых тайничков, устроенных со змеиной хитростью, которой человека наделяет только любовь к своим и на которую не способно себялюбие.

После купцов приехали сборщики налогов для базилевса. Старший начальник, двое помощников, трое воинов, нанятых сборщиками для охраны. Развернулись свитки списков. Начался счет: за пашню, за плоды, за скотину, за дым, за дыхание души, за рубку, за хворост, за воду. К итогу добавить — первая добавка. К итогу добавить — вторая добавка. Ко всему добавить по закону для сборщика. То же — сборщику за помощников, то же — за охрану, те же, сверх всего, — первый новый налог, и еще, сверх всего, второй новый налог.

Пахали каждый порознь. Жали — каждый для себя. В лесу собирали кто сколько мог. Бежали вместе, защищаться хотели вместе, жили в пещерках вместе, теперь вместе.

все два десятка хозяев, считали — привычно и споро, — раскладывая цветные камешки и палочки, назначенные для дела, все одинаковые. Никто не знал грамоте, но все умели считать, и все помнили счет, и всё держали в уме, а камешки и палочки служили для доказательства — как записи. Однако же сбивались, отвлеченные сложностью выводов сборщика, мудреными его рассуждениями, утомлялись и, чтоб не казаться глупцами, кивали, делая вид, что понимают. И вот наконец против каждого имени в одном списке записано, сколько номизм и миллиарисиев он должен дать. Во втором списке — сколько всего отдаст с причетом второй добавки. И в третьем, и в четвертом — дополнение по новым законам.

Все двадцать отказались платить. Нет ничего. Сарацины разорили дома и порубили деревья. Свое войско потравило поля и отняло оставшееся после сарацин. Нет ничего. Пусто. Голод. Смерть.

Сборщик излил каскады звучных слов: базилевсу нужны деньги, иначе сарацины и другие враги империи воспрянут, разорят империю, разрушат храмы, уведут в рабство христиан и сделают их язычниками, что есть бедствие хуже смерти, ибо люди лишатся рая. И опять убеждал, и вновь другими словами говорил то же, с чего начинал. Не убедил.

Прибегнул к сильным словам: не выдумывая, перечислил казни, заключения в тюрьмы, продажу в рабство, пытки — удел неплательщика. Не испугал. Упорствовали — «ничего не имеем».

Обратился к хитрости: встретил-де купцов, рассказали о покупках, жители-подданные имеют, на что покупать, имеют, чем платить налоги. Пахари не поверили, ибо знали, что купцы, поневоле обсергая своих должников, их не выдали, чтоб не причинить себе убытка.

Тогда сборщик объявил решенье именем правящего базилевса, великого, мудрого, защитника закона, любящего праведных подданных и ненавистника злобной корысти лжецов: в залог недоимки он, сборщик, именем закона берет весь скот — волов, коров, ослов, лошадей, если они есть, свиней, овец и коз. И десять недоимщиков, которых он назвал по именам из списка, обязаны гнать их под надзором сборщика и его людей в город, где скот будет продан и выяснено, покрыта вся недоимка или нет.

Все двадцать долго молили о пощаде. Не вымолив, умолкли и вдруг накинудись и связали всех шестерых прежде, чем кто-либо успел защититься. Сборщик угро-

жал, напоминая о городе, о воинском отряде, который, придя на поиски, дознается, и все будут казнены, как мятежники. Не слушая, бунтовщики вытащили шестерых на берег реки, вздутой дождями. Шестеро просили о пощаде. Сборщик клялся всеми святыми и спасеньем души, что прощаст недоимщиков, что в городе заявит казначесю о вопиющей нищете разоренных войной подданных, что недоимка будет с них сложена. Не верили. Всех своих они собрали на берег, кроме самых малых, несмышленных детей. Одним ножом резали сборщика, передавая нож из рук в руки, мужчина — мужчине, женщина — женщине, подросток — подростку, чтобы каждый был соучастником, и так покончил жизнь старший сборщик и все, кто был с ним, и все участвовали, и никого нельзя было уволить от страшного дела, ибо один неучастник мог всех погубить. Тела зарыли далеко за горой, куда никто не ходит, и позаботились, чтобы не осталось и нитки из того, что принадлежало убитым. Сохранили только оружие, которое в тот же день размягчили в горне и отковали совсем иное, чем было. И молчали, не вспоминали, будто бы ничего не было. Вечером бог послал ливень. Дождь лил всю долгую ночь, будто купель, чтобы омыть грешных людей и землю, обогрешенную кровью. Двадцать пахарей не стали бы пачкаться холодно обдуманном убийством беззащитных для собственной пользы. Ныне же не только сами загрязнились, но осквернили и своих — тех, для кого совершали, ибо в любви, как в бою, как в войне, приходится делать то, от чего хотелось бы потом навсегда отказаться. Для спасенья слабых заставили слабых делать едва доступное, сомнительное даже для сильных, чтобы молчали. Заговор против власти. Участники? Все. А «все» равносильно «никто». Почти равносильно...

Священник вместе со служкой приехал на ослах, опоздав против обычного времени. Старый духовник, который многих крестил и по многим отпел панихиды, недавно занемог и опочил после долгих лет многотрудной жизни. Вновь назначенный был молод. Отпрыск сановного рода, наследник имени если и не выходящего из среднего ряда, то и не бедного, он, едва достигнув тридцати лет, отказался от мира и от соблазнов его. Шум Константинополя не умолкал и за толстыми стенами столичных монастырей. Постригшись в монахи, новичок инок выпросил у патриарха назначение в дальнюю обитель, мечтая, наверное, даже о подвиге. Грубость жизни в малом монастыре, укрепленном, как цитадель, в приграничном городе, некогда бога-

том и многолюдном, ныне наполовину запустелом, но сохранившем могучие стены и глубокие рвы, показалась сладкой будущему подвижнику. Умиравший духовник дальней деревни передал свою паству пресмнику, завещая ему быть строгим, о строгости же напомнил и игумен, напутствуя неопытного пастыря душ человеческих, ибо нет ничего беспокойнее людских стад.

В конце первого дня пути из города священник и служка нашли ночлег в селении, не пострадавшем от весеннего набега сарацин. Далее путь их лежал в пустыне. Служка, всегдашний спутник умершего пастыря, был проводником. Простодушный монашек, в удаленном прошлом неудачливый ремесленник — скорняк-кожевник, нашел тихое пристанище от угрозы разорения. Принеся в дар монастырю кое-какие остатки малого достояния и смиренный характер. То ли от простодушия, то ли по неосознанной храбрости, вторую ночь он сладко спал в развалинах некогда богатого владения, рассказав новому своему преподобному страшные истории о бывших владельцах, которые были погублены базилевсом за участие в заговоре. Среди подробностей, достойных по своей точности пера ученого хрониста-бытописателя, не хватало одной — имени базилевса. Базилевс есть базилевс, имя — случайность. Так — и не в первый раз после начала новой жизни — бывший столичный житель убеждался в бесконечном удалении простых подданных. Они даже не пальцы, не ноги, коль пользоваться обычным сравнением империи с телом. Они столь удалены от главы — базилевса, столь чужды, как если бы жили от Босфора не в десяти днях пути, но в тысяче.

Третий день уже не пути, а путешествия был утомителен. Служка спешил достичь засветло известного ему места, жалуюсь: «Мы по болезни усопшего отца Иеронима запоздали, дни укоротились, да и скользко после дождей». И в словах слышался не то упрек, не то наивное сожаление — пораньше б умереть бывшему духовнику...

Ехали берегом реки, то удаляясь, то приближаясь к мутноватой от дождей быстрине. Иногда, показывая то в одну сторону, на дальнее устье лесистого оврага, то в заречье, где тоже, как путники, отходили и опять приближались горы, служка поминал о людях. Там скрыто живут будто бы, хозяйничают, кофмятся какие-то. «Кто?» — «Да христиане. Говорят, выходят один раз, меняются с купцами, берут товары на воск, на мед, на шкурки куниц. Горная куница подороже лесной. Иной раз в город прихо-

дят — для торговли. Но троп от себя не протаптывают, ходят лесом, без следа».

Объяснением служила сама местность со следами былой жизни. Здесь виднелся фундамент здания в виде угла из замшелых серых камней. Там кроны деревьев намечали прямую линию, недоступную природе. Некогда населенная земля была опустошена всковыми войнами империи с наступлением мусульман и теперь отдыхала, ожидая победителя и хозяина, безразличная к тому, кто выиграет спор.

Остатки, живые обломки таились в горах. «Не еретики ли?» — спрашивал новый священник. «Бог знает, — отвечал служка. — Христиане, однако же». — «Но как же без богослуженья, без исповеди? Без отпущенья грехов?» — «Бог, видно, так решил». — «Как же без бога-то!» — «Да вот так, будут в аду, если бог не простит, не зачтет земную тяготу».

Для глаз недавнего жителя Константинополя — даже для них — была великолпной долина между не слишком высоких, но сильных резкостью гор в безыскусственной окраске осенних лесов, в переходах от пепельно-сизых оттенков к ярко-глянцевой зелени вечнозеленых лавров и дубняка, с россыпью цветенья листьев, тронутых порфиром и золоченой медью, цветенья особенного, которое, пусть увядая, могло поспорить с весенним.

«То-то хорошо, величественно, как в храме, — говорил служка, — а по весне здесь бело, одеты горы белым, дички яблонь цветут, груш, да и сладких не мало».

Однако же усопший отец Иероним вещал: более красоты в осени, ибо она, душу возвышая, скорее подходит отрскшимся от мира. Он, весенний цвет, мало полезен человеку. Вызывает стремленье к земной любви, говорил преподобный отец. Надо воздерживаться. Ибо бедствия происходят от людского множества, в тесноте пробуждается злоба, от нее грех человекоубийства. В древние годы о сарацинах слуха не было. А как расплодился он, им своего не хватило, пошли за чужим. Так отец Иероним вещал.

Нравилась пустыня молодому священнику. «А зверь?» — спрашивал он служку. «Зверь? Что ему? Он безгрешный. Не тронь его — и он тебя не тронет. Вон, гляди-ка туда! — показывал он на дальние выступы голого камня. — Вон, видишь, видишь? На лысине!»

Вглядевшись, преподобный различил черное пятно на серой площадке. Не верил. Постой-ка! Было — и не стало ничего.

«Вот, вот! — радовался чему-то служка. — Медведь. Поглядел на нас и ушел к своему делу. А будь человек? Мы бы думали, не замыслил ли чего против нас, да кто такой он, беды не оберешься с людьми-то».

Незадолго для захода солнца добрались они до развалин большого селенья. «Отсюда полдня пути до нашего места», — объяснил служка. Убежищем послужили три стены с остатками свода, который мог укрыть и от дождя. Четвертую стену заменял завал с узким проходом. «Мы тут всегда колючкой завешивались с отцом Иеронимом, — сказал служка, — и спокойно, хорошо, будто дома, в келье».

А в темнеющих горах, да и здесь поблизости, уже начинались невинные, но тяжкие для человеческого слуха разговоры сов. Уханье, выкрики, вызовы, отзвывы непонятно зачем, для чего, сплетались с вечерними тенями. «Покричат да и уймутся, — утешал служка, затаскивая в проход сухие колючие лозы ежевики. — Вот так-то хорошо, — приговаривал он, — хорошо будет. — И, уколовшись, высасывал больное место. — Я прежде, грешник, думал, совы людям сулят недоброе. Отец Иероним осудил за грех на птицу; поучил всеревкой малость, объяснил: языческое суеверие это. Птицы для себя кричат, так им от бога положено. Объяснение сущему надо искать в священных книгах, да не обучен я чтению. Псалтырь читаю по памяти, так же и ответы даю в святой литургии».

Ослы сами зашли под свод и стояли, понутив голову. Колючки были охраной для них, священник знал, что зверь, осенью безопасный человеку, может польститься на животных.

Стемнело. Утомленный служка заснул на сухом месте рядом с ослиами. Священник тоже задремал от усталости, но, как ему показалось, тут же очнулся. Совы молчали, из-под зазубренного края каменного свода глядела яркая звезда, воздух был холоден и неподвижен. Преподобный слышал глубокое, спокойное дыхание служки и тревожное, чуть слышное похрапыванье рядом с собой. Он сел и коснулся плечом осла. Поднявшись на ноги, священник почувствовал, как осел сунул голову ему под мышку. Разбудив человека, осел замолчал. Зато там, за колючей преградой, что-то было.

По привычке, священник, шевеля губами, прочел молитву господню раз, второй, третий. Стало легче. Затаившись, он слушал, вспоминая, что, идя в монахи, искал покоя душе, а покой находят не в бездействии, но в исполне-

нии долга. Ему было страшно, но не так, чтобы закричать, разбудить службу. Высечь огня? Нет, нужно терпеть, бог заповедал терпенье. И ему было бы стыдно перед служкой, которого он разбудил бы. Он затаил дыхание, чтобы лучше слышать. Ничего. И осел отошел в черную яму тени под сводом. Священник опустился на землю; зябко кутаясь в грубую шерсть рясы. Спрятав руки, он прижался спиной к спине служки и очнулся, когда пришел день.

Служил литургию, совершая таинство превращения хлеба и вина в подобии алтаря, отделенного занавесом восточного придела ветхой храмины. И ни одной иконы, ничего, кроме креста, высеченного барельефом на стене. Будто бы в годы свирепства иконоклов — уничтожителей икон!

Старший — к нему обращался священник, по ошибке именую старейшиной, а он был старшим только годами — на упрек отвечал, как все и всегда, отводя вину на других: сарацины-де, из-за них-де нельзя иконы держать, набегут, предадут осквернению, ныне был набег, сами едва успели бежать, покинуть иконы — грех, мы уж в сердце... И кто-то добавил только два слова: «Им грех». И пока священник искал глазами, — кто? — еще один голос молвил: «Свой похуже». И не нужно было искать, ни первого, ни второго, в сумрачном полусвете все будто на одно лицо. Колокол же не благовестил, а жаловался надтреснутым дребезгом раненого металла. Почему? Священнику показали яму в полу звонницы, куда колокол опускали, отвязав канат. И покрывали дыру досками, а сверху сбрасывали землю. В этом году не успели. Сарацины канат обрубili — колокол пал и треснул по краю. Кузнецы щель связали скобами, чтоб колокол не пропал совсем, но звон уже не тот. Нового взять неоткуда и не за что.

«Кто же забыл позаботиться?»

Помялись, стоя около звонницы, опустили глаза, и никто не ответил.

«Кто же?» — настаивал священник, обращаясь к старшему. Тот развел руки и, глядя в сторону, рассказывал: «Было то, сеяли тогда, в поле были. Вот, выпрягли, бежали, пыль, скачут уже, грех-то... Видно, не вспомнили, грешны мы, бог попустил».

Молодой священник не знал строгости отца Иеронима; служба не рассказывал, приглядываясь к новому своему владыке и таясь, по невинной, внутренне-естественной монашеской не то хитрости, не то осторожности. Отец Иероним умел поучать столько же посохом или веревкой,

которой подвязывал рясу, сколько словами. Побои из рук священника, на коем почиет благодать, не поношенис, будто даже и больно не так. Не менсе строго отец Иероним обращался и с паствой: назначая епитимью бичевания, сам помогал, не доверяя, для пользы кающегося, собственным рукам грешника, получать очищенье души через страданья тела. Для пользы твоей всякая вина виновата!

Священник обошел несколько домов, в душе ужасаясь бедностью: «Как люди могут жить!», и, объявив, чтобы через малое время все христиане явились исповедоваться, вернулся в церквушку. Жалкий дом божий успели кос-как прибрать. Присев на короткую скамью, священник обратился мыслями к делу, которое тяжело и больно лежало у него на душе. От этого дела он отвлекался в пути величием пустынных красот, усталостью тела, необычайностью своего положения; самые тревоги и, он не хотел себе лгать, даже недостойные ночные страхи — да, он боялся — служили ему облегченьем. Ныне час пришел. Отец игумен, напутствуя пастыря к его служению, приказал узнать, что случилось со сборщиками государственных податей. В трех селеньях они были обязаны побывать, и следовало им вернуться, и не вернулись, и более десяти дней прошло от крайнего срока. По просьбе местного управителя сборов налогов и пошлин градоправитель собирается послать воинский отряд для сопровождения расследователей. Игумена же правитель просил — на этом слове игумен сделал особый удар, — итак, просил повелеть духовнику узнать... Вздохнув, отец игумен посетовал на смерть отца Иеронима. Тот, крепкий столп веры, все б сделал. «А ты справишься ли, не знаю. Не по молодости, но опыта нет у тебя. Однако благословляю на труд. Не ошибись!»

Входили по одному, становились на колени у скамьи, тихо рассказывали: и в том грешен либо грешна, и в том, и в том... «А еще?» Вспоминали, добавляли: и в грубости, и в злобе, и в мыслях нечистых, и пост нарушал, нарушала, и еще, и еще. И шли унылой чередой кающиеся, и грехи их, и каждого духовник спрашивал: «А еще? А еще?» А заканчивал вопросы: «Не убил ли, кровь не пролил ли человеческую, не покушался ли на жизнь ближнего?» Спрашивал не потому, чтобы игумен мог ответить правителю города, но следуя своей совести. Каждый и каждая отвечали: нет, нет, не грешен, не грешна. «Имя как?» И, покрыв голову кающегося епитрахилью, отпускал грехи носителю временного имени именем бога предвечного.

Покончив со взрослыми, исповедовал подростков, детей, трудясь до вечерней звезды. На следующий день причащал частицами привезенных просфор и красным вином которое служка умело и в меру разбавил. Совершил три брака, крестил пятерых детей разного возраста, родившихся за год, отслужил панихиды на двух могилах умерших, подумав, что упорное племя людское все же добавилось в числе, вопреки вопиющей нужде и непрестанному ужасу от ожидания нашествий. Божья воля. Она и в той плотской любви, от которой он отказался и которой не хотел больше, хоть и познал в мирской, грешной жизни ее жгучие тревоги.

Ходил по домам и в каждом доме служил молебен, прося милости бога к живущим в нем, к их достоянию, к их трудам, да не оставит их бог без призрения и благословит их на добрые дела. Что бы ни делал, чувствовал, как далек он от этих людей, чьи души ему доверены. Говоря, ощущал будто стену; через нее проходили слова: «да», «нет», «да», «нет», — стена опять замыкалась. Угощали — он не отказывался, хотя служка привез сухарей на двоих, крупы и флягу масла, — он принимал, чтобы не обидеть и трижды в день вкусил угощенье, каждый раз в новом доме: пасомые, видимо, заранее между собой поделили и честь, и расходы. Ел, беседовал — через стену.

В последний вечер, в четвертый, собрал всех мужчин и всех женщин в церквушке и прямо спросил: «Когда были сборщики податей и где они ныне?» Не получив ответа, спросил ближайшего. Тот назвал и дни, и сколько налога начислили, и что все уплатил. Следующий не ожидал вопроса, и все, до последнего домохозяина, говорили одно и то же, менялись лишь уплаченные деньги — у кого больше, у кого меньше.

Собравши налоги, сборщики уехали. Куда? Обратно. В город... Здешние подданные живут на краю империи. В город сборщики не вернулись!

Молчат. «Не знаете?» — «Не знаем, не знаем...» — «Никто не знает?» Молчат. Робко кто-то сказал: «А не похитили ли их скамары?» И все, выдавая волнение и заботу, как понял бы другой расследователь, а не молодой монах, заговорили: скамары, не иначе как скамары.

Скамары, иначе говоря — беглые разбойники, грабители, которые прячутся в горах и живут в иных местах от поколения к поколению. Служка по пути ничего не говорил о скамарах, поминал об ином, о мирных людях, прячущихся от всех из-за непрерывных войн. Кос-как новый

пастырь добился от своей замкнутой паствы рассказов о людях, христианах, которые иной раз заходят сюда кое-что выменять.

«Не грабят вас?» — «А что с нас взять? Взять нечего». — «Их вы и зовете скамарами? Почему?» — «Не знаем, нас не обижали, а сборщики едут с большими деньгами».

Навестил пастырь и сторожей — старика и старуху в развалинах неизвестно кем возведенной крепости, глянул с обломка башни в неизмеримые дали открытого на север пространства, которое, излившись меж гор, где-то обрывалось в море. «Нет, до моря еще далеко», — сказали ему. Неблизко было и до жилищ мусульман. Ничейной землей временами владели войска в меру случайности войн, а постоянными хозяевами были птицы небесные и звери лесные — как в раю, до сотворенья Адама. Но здешний рай был дорогой бедствий.

У старухи не слушались ноги, и муж от нее не отлучался. Ласковый, крепкий старик и чисто умытая, одетая в чистые лохмотья жена его, о которой заботился муж, как о ребенке, их незлобивая, ясная старость напомнили преподобному сказки о Дафнисе и Хлое, о Филемоне и Бавкиде, будто они нашлись на краю света и на пороге могилы...

Провожали нового пастыря все. А пятеро мужчин, вооруженных луками и мечами, дошли до первого ночлега в разрушенном селении, вместе ночевали под остатками свода и потом еще шли, как охрана, полдня. Расстались. Служка сказал: «Полюбили тебя, отца Иеронима провожали по его повелению, а ты не приказывал. Однако ж отец игумен может тебя поставить на правило». — «За что?» — «Да за сбор». Действительно, участники оставили на скамье, единственном сиденье церквушки, меньше монет, чем было людей, и все медные, коль не считать четырех серебряшек.

Пастырь, с сердца которого упал груз подлинной тяжести — дознание о сборщиках, — шутил: «Что ж ты мне там не сказал, я бы потребовал». «Нет, — возразил служка, — я тебя понял: ты бы не смог».

Да, он не смог бы. Но по невольной подсказке служки преподобный добавил к жалкому сбору четыре номизмы, которые он захватил с собой из остатков достояния, дабы особенно нуждающимся дать в милостыню. И не дал по жалкой забывчивости, так как, подавленный сначала предстоящим следствием, затем томительностью стены отчуждения и расспросами, не вспомнил о маленьких златницах, бережно зашитых в полу суконной рясы. Пусть теперь по-

служат не для выкупа его вины, а для обеления чести новых подопечных его пастырской совести.

Рассказывая игумену, монах хранил в душе виденье. Быстро очистилось бывшее от внешней грязи, и осталось нечто высокое о людях великого мужества, безропотно добывающих свой хлеб в поте лица своего, и вместе воинов, подвижнически живущих на границе христианского мира. Так сильно было виденье, что игумен, прервав расспросы, похожие на допрос, заметил: «Ты, я вижу, мечтаешь!» — и поставил мечтателя на колени, и приказал исповедоваться, под исповедью же до мельчайших подробностей добывался узнанного о судьбе сборщиков и, благословив по обряду, отпустил молодого монаха с неудовольствием.

У священника осталось в душе сомнение: не нарушил бы игумен тайну исповеди? И он думал о тяжести жизни и о шумном мире, которого, как видно, не избежнешь и под монашеской рясой. Не попроситься ли через бывших друзей у патриарха о переводе в другой монастырь? Нет, его тянуло к людям, которых он оставил в горной долине, и он тешился новой мечтой — выпросить у игумена благословенья на постоянное житие среди них для заботы о душах. Мечтал, уверенный в своем постижении истинного пути, не зная, что жизнь коротка, а истина скрыта и одному человеку не дано совершать. И все же был прав, ибо хотел дела, а не покоя созерцательного жития.

Таковы пути жизни, — заключил Афанасиос, — сами судите, друзья мои, каков закон, и каково намерение, и что есть свободная воля, и каков свободный выбор. Мой ум слабнет...

Шимон возвращался к недавнему своему постижению, которое хранил и будет хранить в тайне: воистину ад страданий и горя здесь, на земле, в жизни сей его проходит человек, и нет такой муки, такой казни, которой можно избежать. Одинок человек, от одиночества он ищет спасенья в дружбе, в товариществе. Совершенней всего против одиночества любовь мужчины и женщины. И ничто так не ведет в сущий ад, как любовь, ибо большее всего мы страдаем от несчастий нами любимых...

Голос Андрея вызвал Шимона из забытья. Андрей спрашивал:

— Но откуда упало зерно, из которого выросла великая сила арабов?

— Может быть, — сказал Шимон, — ты найдешь ответ в рассказе, составленном мною из достоверных известий и моих мыслей?

И, найдя рукопись, он начал чтение:

— «При базилевсе Юстиниане Первом некто Ассим, житель Баальбека, жаловался на черную тоску другу своего умершего отца, богатому купцу:

«Воистину, утром я вздыхаю о вечере, а вечером желаю, чтоб пришло утро...»

«Тебя излечит путешествие», — сказал друг.

Вскоре Ассим оказался далеко от Баальбека. Не так уж далеко, если положить дни на следы копыт. И очень далеко, коль измерить расстояние отраженьем в душе. Бедави, жители пустыни, которым друг доверил Ассима, удалялись от города к востоку. Но также и к северу, и к югу. Иногда они шли даже на запад, будто желая вернуться по другой тропе. Каменистая Аравия и Счастливая Аравия, она же Песчаная, она же Страна Фиников — все это единая Великая Аравия, где каждый придет к цели, хотя бы и шел в никуда. Шейх Ибн-Улла однажды в год подходил к Баальбеку для торговли. Он объяснял Ассиму: «Баальбек — значит возвышенность в долине, хотя эта долина сама была бы горой, не будь с ней рядом Ливана и Антиливана. Греки звали этот город городом Солнца, ибо Солнце возвышенно. Но ведь каждый город возвышен. И каждый дом тоже. Не следует человеку гордиться своим ростом, ибо кто может поспорить величиной тела с верблюдом? А Баал — имя бога, то есть Высокого. Как Солнце. Мы, бедави, вернули городу старое имя, ничего не исправив по смыслу. Слова меняются, ибо они живы. Как я, как ты, эта лошадь! Неизменны могильные камни, а живые смертны, и это великолепно, Ассим! Так мы говорим, мы, бедави, бедуины, арабы. Имена изменяются, они смертны, ибо изреченное слово полно жизни. Говорят, если бог поднимет нашу Аравию и опустит на Индию, она покроет две трети маленькой Индии, набитой людьми, деревьями, тварями. Нет, Аравия больше Индии. И всех других земель тоже, Ассим!»

Три сотни полных жизни смертных бедави перемещались от источника к источнику, от русла одной пересыхающей речки к другому руслу, незаметно подчиняясь временам года и каждому дню, сочтенному по изменениям неизменной Луны. Для каждого дня было свое место на просторах Великой Аравии, где бедави обязаны были получить этот день и обменять на другой в щедрой казне Времени. Таков Закон. О нем Ассим узнал не скоро, так как бедави не нарушали его, а настоящие Законы, не выдуманные, умеют спать молча в тени бездействия.

Да, соблюдая Закон, бедави будто нечаянно оказывались там, где созрели финики на деревьях, принадлежащих роду Ибн-Уллы. Находили бобы, посаженные ими для себя столько дней тому назад, сколько нужно для созревания. Женщины копили верблюжий пух, собирали красящие растения, пряли, ткали для своих и на продажу, выделявали кожу, шили обувь. Женщины бедави прекрасны лицом и телом, сильны, скромны. И послушны.

Оберегая покой Закона, бедави останавливались, где хотели, и никто не томился тоской, не вздыхал от нетерпения. Вдруг как бы нечаянно тропа рода Ибн-Уллы пересекалась с другой. О, встречи в пустыне! Друзья одаряли друзей, получая взамен равноценное. И пели, поощряя пляски молодежи, и состязались в речах, становившихся поэзией, и слова рассказов-поэм блистали самоцветными камнями и живыми цветами, какими полно аравийское небо. Слова гремели грозой — и небо бывало, как обгорелая шкура, и вселенная корчилась, и призраки, закрыв лица плащом, совершали невозможное. Небо оставалось ясным, вселенная тихо спала, и не было призраков... Сила поэзии преображала сущее. Бедави сотрясались от ужаса и любили его.

Порой мужчины, взяв лучших лошадей, где-то исчезали и иногда возвращались с добычей. Однажды они привезли несколько трупов своих и молча похоронили их в песке. Эти смертные ушли. Они изменились, и только. Кто признает исчезновение живого, какой безумец поверит в Смерть! Как! Я, ты, он — нас больше не будет! Кто утверждает подобную глупость? Никто.

Ассима не брали в набеги: его баальбекский друг чем-то обязан Ибн-Улле, остальное понятно без слов. Ассим жил с бедави. Большие шатры, в каждом спят и сорок, и тридцать мужчин, женщин, детей. Нигде нет укрытий, ты всегда у всех на глазах. Совершаемое тобой видят все, и ты видишь всех, и приучаешься не видеть, не слышать, ибо здесь все просто в своей необходимости и необходимо своей простотой. Супруги зачинают детей, и женщины рожают, и никто не замечает творимых таинств, а нуждающийся в одиночестве берет его перед всеми. И получает его, и воздух становится непроницаемым для зренья, для слуха, и вы более скрыты, чем если бы притаились в подземных дворцах Баальбека.

Так было у бедави, именно так. И не потому ли они совершили то, что в дальнейшем смогли совершить?

Ассим стал бедави: его глаза и уши замыкались сами собой, он никому не мешал, и ему не мешали. Он не впал в соблазны желать назначенного не ему, не вождедел невозможного и освободился от отвращения к естественному. Он стал чист...

Но откуда пришли в мир бедави? В городе Мекке есть место, где стоял шатер Ибрагима-Авраама. Туда архангел Гавриил принес Ибрагиму святой камень. Для него Ибрагим построил храм Кааба, или Куб. Рядом хранятся изображения малых богов арабских племен, их столько, сколько дней в году. Там погребен Измаил, предок всех арабов, и там могила Агари.

Было так. Ибрагиму исполнилось восемьдесят пять лет, когда жена его Сарра, став бесплодной от старости, дала мужу служанку Агарь. И Агарь родила сына Измаила, и бог обещал ей: умножая умножу потомство твое так, что нельзя будет счесть его от множества. И будет Измаил среди людей, как дикий осел: руки его — на всех, и руки всех — на него. Жить он будет перед лицом братьев.

Потом милостью бога Сарра родила сына Исаака. Измаил посмеялся над ним, и Сарра сказала Ибрагиму: выгони рабыню Агарь и сына ее, чтобы не наследовал сын рабыни вместе с сыном моим. Ибрагим огорчился, но бог сказал ему: слушайся голоса Сарры, ибо в Исааке племя твое. И от сына рабыни я произведу великий народ, ибо он тоже племя твое. Ибрагим изгнал Агарь с Измаилом, и бог был с отроком, отрок вырос, и стал жить в пустыне, и сделался стрелком из лука.

По предку бедави-арабы суть измаильтяне. Их зовут также сарацинами, бедуинами, но имени агарянина они не признают. Не из-за того, что Агарь была рабыней, а бедави больше всего чтут свободу. Свою, конечно. Других они охотно лишают свободы. Впрочем, и в этом все люди — братья. Вопреки разноречью мы склонны считать благом свою прибыль, а злом — свой ущерб... Но об Агари: называть человека по имени матери есть оскорбление, а бедави обидчивы.

Ассим полюбился Ибн-Улле. Глядите, из сидячего араба вылупилсЯ бедави! Ибн-Улла обещал Ассиму дочь, обещал и вторую жену, коль гость останется навсегда. Но Ассим излечился от тоски и отклонил предложение с тонкостью подлинного бедави.

Вернувшись в Баальбек, Ассим ощутил новое для него желание — беседовать. Его общества стали искать, его называли поэтом. Но ведь он теперь говорил, как бедави, и

только! И он думал: «Откуда сила речи нищих бродяг? У них нет вещей, их пища скудна, простая их жизнь не изменилась от века. Откуда великое Слово?»

Передохнув, Шимон продолжал чтение:

— «Вскоре после того, как Юстиниан Первый покинул этот мир, младенец Магомет увидел аравийские звезды через прорехи ветхой крыши. Это было на окраине Мекки. Отец умер до рождения сына, вскоре за ним ушла и мать. О мальчике заботился дед, деда сменил нищий дядя. С раннего отрочества Магомет стал пастухом. Это занятие почему-то считается низким, особенно если скот принадлежит другому, хотя животные красивее многих людей и благороднее почти всех: они отвечают добром на добро, любовью — на любовь, ласка не утомляет их и не делает наглыми, и тому, кого они полюбили, они дают все до последнего толчка сердца.

Среди этих друзей в часы, когда воздух дрожит и струится над раскаленной землей, и в тихие ночи, и в предсветных морозах, и в урагане Магомету являлись виденья, которых не купишь казной базилевса. Иногда его тело падало в судорогах, а дух успевал за мгновение облететь вселенную. Это священная болезнь.

Пастуху был двадцать один год, когда богатая вдова Хадиджа поручила ему ведать имуществом. Магомет ходил с караванами по западному концу Шелковой дороги, которая начинается в стране сунов, у берегов Восточного моря, а кончается на берегу Средиземного. Везде он беседовал, стремясь к смыслу жизни.

Хадиджа полюбила Магомета. Женщина была старше его, он впоследствии любил многих других, но оставался преданным Хадидже до конца: она была умна, верна, скромна и послушна.

Ему исполнилось сорок лет. В пути, когда Магомет ночевал в пещере у горы Хыр, к нему пришел архангел Гавриил. Он принес не камень, как Ибрагиму, но приказ бога: «Ыкра!» — «Проповедуй!»

В мир уже приходили Ибрагим, Моисей, Исса — Христос. Через нового пророка бог хотел сказать людям новое слово, и каждую проповедь Магомет начинал словами: «Бог сказал!»

Его сила была так велика, что близкие, привыкнув видеть его в слабостях бренного тела, поверили сразу. К Хадидже, к дочерям, к двоюродному брату Али, к рабу Зейду присоединился молодой богатырь Омар, отдавшийся проро-

ку как глоток воды. Богач Абу-Бекр принес в дар себя и имущество.

Завистники попрекали пророка: ты — нищий пастух! Грамотные возмутились дерзостью безграмотного. Он проповедовал! Его род исключили из арабской общности, и корейшиты, хозяева Мекки, назначили сразу многих для убийства смутьяна. Прежде чем сомкнулся круг ножей, пророк бежал, и Медина, завидуя Мекке, признала его своим главой. Тогда Магомету было пятьдесят два года. От его бегства начинается хиджра — отсчет лунных годов Ислама, начавшийся в шестьсот двадцать втором году христианского летоисчисления.

Мединские иудеи хотели видеть в Магомете обещанного им Мессию. Молодое вино не вливают в старый мех. Командуя тремьятами всадниками, Магомет победил шестьсот мекканцев и захватил охраняемый ими караван. Он изгнал иудеев из Медины, взяв их достояние на дела веры. Он, заметив непочтенье книжников и поэтов, казнил нескольких. Аравия почувствовала новую силу.

Вскоре Магомет взял Мекку приступом, а Ислам овладел десятками тысяч душ. Отныне пророку подчинялись десять тысяч всадников и тридцать тысяч пеших воинов, из которых каждый крепко держал в руке ключ от рая, обители вечного блаженства для храбрых.

Магомет приказал написать ближайшим правителям — базилевсу ромеев, шаиншаху персов, владыке абиссинцев: откажитесь от заблуждений, примите веру в единого бога!

Никто из правящих и советников правящих не постиг рокового значенья посланий пророка. Правители живут сегодняшним днем, советники — минутой вниманья правителя. А слова ясновидящих подданных — это полова, брошенная на ветер.

Через десять лет после бегства Магомета из Мекки в Медину Абу-Бекр с помощью Зейда записал откровенья пророка. Потом Омар добивался стройности корана. И кто-то еще. Не стоит искать имена. Все владели речью бедави, и коран — великая поэма, объяснившая арабам бога, вселенную, человека. И руки Исмаила поднялись на всех, а руки всех — на него.

На шестом году хиджры арабы ударили в дверь Византии: их трехтысячный отряд проник к Мертвому морю, но был разгромлен при селении Мут. Убитые арабы завещали своим месть. За что? Нападающий не думает о справедливости. Еще через шесть лет арабы обложили крепость Босру. Другая их армия подошла к Дамаску, была отбро-

шена — долг крови, навязанный арабами империи, все возрастал. Но вскоре Босра пала, а византийское войско было бито в новом сражении под Дамаском. Империя широко открыла глаза, вспомнили о странном послании недавно скончавшегося нового пророка. И базилевс Ираклий послал восемьдесят тысяч войска — все, что имел.

Судьба решилась близ Тивериадского озера, оно же Галилейское море. Эти места священны для христиан. Русские Галилейское озеро-море называли бы Ильменем — речным разливом. Пройдя через него, река Иордан кончается вскоре в тяжелых водах соленого Мертвого моря. Поражение арабов могло свести их движение к одной из многих пограничных войн империи, ничтожной в сравнении с недавним разгромом персов. Их, с которыми не могли справиться римские императоры и все базилевсы, только что и навсегда сломал базилевс Ираклий!

Арабы спустились в Иорданскую долину. Трижды желая конница Византии сминала легкую арабскую конницу. И трижды арабские жены, матери, сестры, бывшие в армии для заботы о своих, бросались под копыта беглецов, возвращая их в бой. Византийцы не выстояли. Брат базилевса Феодор вырвался с немногими. Десятки тысяч христиан уснули вечным сном на поле сраженья. Затем пал Дамаск, великолепная столица Сирии, пали Эмаса, Бальбек, Антиохия, Алеппо. Побережье от Газы до Лаодикеи стало арабским. Поднимаясь к северу, арабы разгромили остатки персидских сил при Кадесии, и через три года Персия превратилась в арабскую провинцию, а Византия бессильно взидала на крушение мира. Такого не предвидели ни маг, ни провидец-отшельник, ни астролог, ни поэт: будущее отказалось открыться и науке, и вдохновению. Базилевс Ираклий увез из Иерусалима святыню — Древо Креста. Вскоре Иерусалим, святой город и сильная крепость, был взят измором.

Не останавливаясь, арабы бросились на Африку. Отрывая от империи кусок за куском, на восьмидесятом году хиджры арабы увидели волны Океана — Моря Мрака. Но еще до этого они взяли Среднюю Азию, ворвались в Индию. А их флот лето за летом появлялся в Мраморном море, и арабское войско брало в кольцо осады саму столицу Восточной империи».

Мы привыкли, — продолжал Шимон, — к чуду превращения зерна пшеницы, за три месяца создающего стебель и колос, вес которых в сотни раз превосходил вес крошки семени. Но как за немногие годы ничтожные беда-

ви стали великим народом? Такое мне непостижимо. Я возвращаюсь к Юстиниану Первому. Он отдал жизнь объединению империи, чтобы около нее собрать весь мир, превратив его в подобие мирного острова. От его гонений обильные еретиками Сирия, Палестина, Египет, Африка лишились большей части населения. Не он ли набил лебязьим пухом арабские постели? От кого Ислам заразился мечтой мировладычества? И не явилась ли сила арабов от величия Слова-Глагола бедави?

Так русский книжник закончил рассказ. Андрей отдыхал на мыслях о близком, завтрашнем дне: Арабский купец, с которым он отплывает, в Антиохии поручит русско-го купцам, которые ходят в Персидский залив. Там его сведут с другими. Арабы ходят по морю и суше через индов до страны сунов, желтых людей, живущих в своей империи по своим законам. Дорога ждет длинная, но ни за что на свете Андрей не уступил бы своего места другому.



ГЛАВА СЕДЬМАЯ



РЫСЬИ ГЛАЗА БЛЕСТЯТ В СУМЕРКАХ

Никто не знает, сколько поколений всадников выбивали конскими копытами степные тропы. Никто не назовет имени первого всадника. Смотри, там, на краю степи, пасутся дикие кони. Скажи, кто первый посмел изловить зверя, приучил конский рот к железу, а спину — к седлу? Кто?

В степи человек без коня — ничто. Кто же отдал тебя, степь, человеку? Молчит степь. Людей же спрашивать нечего. Разве что посмеются: много знать хочешь, больше других. Но не спеши обвинять людей в неблагодарной забывчивости. Великое Небо создало землю, человека, лошадь. И — довольно об этом. Коль ты желаешь все знать, ступай, на восток, за Стену, к сунам. В их древних книгах

все сказано, и чем древнее книга, тем больше в ней истины, а ищущие нового — безумны. Учись, наслаждайся десятками тысяч знаков и беспредельностью их сочетаний. В старости найдется ответ на забытый тобою вопрос: мертвые — мертвы.

Тропы струятся по степям, как ручьи; как вода, текут всадники. Как ручьи, извилисты тропы, потому что ни человек, ни зверь не могут двигаться прямо к своей цели, подобно тому, как видит глаз и как бьет солнечный луч. Приглядишься: птица и та не летит прямо, и стрела, взмывая сначала, вынуждена потом опуститься. Не дано никому власти двигаться прямо. Земля — как жизнь, нет прямого пути.

Тропы извилисты, а путь не случаен. От долины к долине, из долины на перевал, вниз и вверх, вверх и вниз — для того извиляются тропы, чтобы вести к речному броду, к поселению, к городу, чтобы обойти озеро, чтобы сберечь конское копыто от каменной осыпи, чтобы миновать болото, где топь, чтобы опетлять смольный солончак — он хуже топи, чтобы в лес не завести — в чаще конному нечего делать, разве что, покинув коня, укрываться от погони.

Для всего этого и выются тропы, отброшенные горами, отклоненные лесом, но упрямые, как старики, которые все испытали, все поняли, которым уж совсем ничего не нужно, кроме одного — настоять на своем. И степные тропы своего добиваются, как ни петляют, а ведут с востока на запад либо с запада на восток — это как будто одно и то же.

Будто бы так? Ан нет, не так. На ходу лошадь бьет зацепом копыта и опускается на пяту. Умеющий видеть прочтет знаки копыт и скажет, в какую сторону едет больше людей, в какую — меньше.

Вдоль троп, да и по всей степи много могил. Бег жизни неровен, иногда время спешит, как погоня за вором, иногда дни замирают, как шаги погибающего от жажды. Но всегда, всегда жизнь слишком коротка, слишком много забот, чтобы воскрешать умерших. И без того мысль о смерти обременяет живого. Коль встанут мертвые, живым среди них не пробиться. Тому, кто не убежден в этой истине, скажем — есть и еще доказательство, оно неоспоримо, но, переданное словами, лишается силы — каждый обязан познать его сам. Познав — понимает, почему в начале многих рассказов нужно напомнить, что мертвые — мертвы.

Сидя на месте, опыта не добудешь. Слова, как люди, считаются родством: путь, опыт, путный, опытный, пытли-

вый, путать, испытать. От одной мысли, как горошины из стручка, рассыпались в речи эти слова. За путевые труды путь одаряет путника опытом, опытный убережен от беспутства, без пути пропадешь. Но пути у людей разные, и слова они понимают по-разному, и время старит слова, и слова осыпаются, как листья в лесах, и выводятся новые: как листья, пока живет лес, как звуки, пока живет мысль живая в живом человеке.

Не случайно молчит стéпь: тропы ее стучатся в сердце, стучатся, как судьба. Вот от большой, торной тропы отбивается тропочка. Опытный глаз сразу видит: по ней редко ездят, но она не пропадает многие годы. Потому что там, за холмами, Великое Небо создало угодье, где тепло жить. Степняк не творит — он находит.

В долине нет реки, есть ручьи с водой, которая не исчезает в самое жаркое лето. Воды немного, как невелико и само угодье. Трава обильна на мягкой земле, но долина узка и земли мало. Здесь ничто не соблазнит завистника, мечтающего о большом или о бóльшем, чем табун лошадей, десяток коров, стадо горбоносых овец. Склоны долины лысы и круты, поэтому тропка кончается в долине.

В тупике хорошо жить взыскующему покоя. Он, испытав крутизну лестниц ханских дворцов, сам узнал, что воспевающий бури поэт только лъстивый наемник: подвиг связан с убийством слабейшего сильным, победа — это грабеж без возмездия, а величие — насилие одного или немногих над совестью всех остальных.

Для счастья людей азиатские степи заставлены горами. В горах и в холмистых предгорьях Великое Небо сотворило долины. Они, поставленные вдали от торных троп, суть мирные озера покоя.

Дела Великого Неба многообразны, дела людей — двойственны. Испытавший бури наслаждается молчанием. Всего более он ценит свободу.

Медленно-медленно движется пасущееся стадо. Хозяин, бросив поводья, дремлет в седле. Лошадь тоже пасется, переступая за стадом.

Человек спит и не спит. Перед очами его души проходят виденья, столь же неторопливые, как стадо, такие же вольные, как он сам.

Свобода. Нет власти, которую видит глаз, слышит ухо, ощущает живот, шея, спина. Великое Небо пошлет град или молнию. Или выпадет слишком много снега. Такие несчастья подобны болезни, старости. Посланные высшей силой, они не унижают человека: коль придется погибнуть,

человек погибает свободным. Только власть другого человека может лишить свободы. Только может? Или обязательно лишает? Что это? Игра словами или игра головами людей?

Очам души Гутлука, дремлющего в седле, доступно все. Он или видит, или вспоминает другого человека, совсем молодого Гутлука, который движется в обширном мире. Не видит и не вспоминает, а рассказывает себе. Не рассказывает сам, а другой Гутлук, молодой, будто бы рассказывает нынешнему, и вместе сплетаются звуки и образы.

Как в старой сказке о человеке, голова которого выросла так, что в ней вместился и весь мир, и сам тот человек, весь мир покачивается и дремлет в седле, дремлет и грезит, а конь переступает за пасущимся стадом, срезает желтыми зубами и жует траву. Может быть, и конь тоже грезит, не зная, что сейчас человек на его спине так же велик, как Брами Создатель, сны которого — это жизнь людей и лошадей и жизнь всего движущегося и неподвижного, ибо камни тоже живут своей жизнью. И Земля жива, она дышит, любит, страдает своим дыханием, своей любовью, своим горем, непонятными людям, как непонятна им жизнь камней.

Так говорил о Земле святой из Тибета, с которым Гутлук повстречался не на степной тропе, а по дороге в столицу сунов, там, за Стеной.

Начальники Стены заставили хана Онгу, которого в числе других провожал молодой Гутлук, ждать ночь, день и вторую ночь, прежде чем пропустили в ворота Стены. Святой просто шел, его не спросили ни о чем.

Онгу догнал святого за Стеной, сошел с лошади и предложил святому сесть. Святой отказался. Онгу велел устроить сиденье, подвешенное между лошадьми, как делают для почетных стариков и для больных. Святой отказался.

Тогда все спешили — с ханом Онгу было почти сто человек, — и все шли, ведя лошадей в поводу, чтобы почтить святого, и старались услышать его речи. И все изнемогли — монгол не умеет долго ходить пешком. Тогда святой отпустил Онгу, сказав, что хочет остаться один.

В то время глаза и уши Гутлука были жадны, как в засухо степь жадна к воде. Тот Гутлук не умел смотреть внутрь себя и слушать себя, искать смысл внутри. Так говорил святой, но Гутлук не понимал. Но как степь, которая вбирает дождь и, сверху сухая, будто прошлогодняя полынь, хранит воду, так и Гутлук впоследствии нашел

много дел и слов, которые стоило сберечь: старая кожа — кора, под ней крепкая древесина познания.

В столице хана Онгу поселили в большом доме с крышей, края которой были загнуты, как поля войлочной шапки, и заставили ждать. Давали странную пищу из рыбы, зерен, травы, птицы, а мяса — только оно нужно монголу — совсем не хватало. Зато вволю пили настой черных листьев, называемый «ча», «ша» или «ташуй». Напиток освежает и приятно бодрит. Через два или три дня приводили женщин для развлечения, и эти женщины дарили особенную, жгучую любовь.

От странной пищи и от странной любви все ослабели. Утомляла и неподвижность: монголов не выпускали дальше двора. Жители Поднебесной не любят чужих, даже если эти чужие — гости. И верно. Когда Онгу со своими ехал во дворец Сына Неба, жители, несмотря на почетную охрану, кричали нечто дурное, коль судить по выражению лиц.

Людей в столице сунов несчетно много. Цветом кожи и волос, формой глаз суны похожи на монголов, но речь их странно криклива. Потом Гутлук узнал, что в Поднебесной слова речи — как звуки песни. Но певец измененьями голоса ласкает душу, а у сунов смысл слова зависит от тона. То, что выкрикивают суны чужим, значит: северные дикари, глупцы, степные черви, вонючие змеи...

Во дворце Сына Неба пришлось снять сапоги. Зал, куда провели босых монголов, мог бы, наверное, вместить тысячу человек. В глубине на возвышении стояло золотое кресло. Даже издали оно казалось большим. Хотя кресло было пустым, много сунов, ожидавших монголов, кланялись креслу, приседая, становясь на колени и доставая лбом пол. Хан Онгу тоже поклонился. Подражая хану, все монголы по-степному сели на корточки и по несколько раз кивнули головами. Толмач принял из рук Онгу подарки Сыну Неба: пучок степных трав, мускус кабарги в пузыре, связку сурчиных шкурок, пару остроносых сапог, кожаные штаны, кафтан и плащ из кротовых шкурок, шапку, лук в налучье с двадцатью тремя стрелами, по числу родов племени.

Толмач брал из рук Онгу вещь за вещь — в них во всех вместе было весу для одной руки — и, низко приседая, передавал кому-то. Тот — другому, другой — третьему. Так степные подарки достигли золотого кресла и успокоились на возвышении.

Там и остались, кроме пучка травы. Особенно пышный сун, коснувшись трав кончиками пальцев, указал на них

соседу, и скромный пучок по той же живой цепи вернулся к хану Онгу. С той разницей, что теперь важные суны не кланялись, а горделиво выпрямлялись. Последний, собственноручно возвращая травы Онгу, сказал по-монгольски:

— Священный Сын Неба жалует тебе Степь. Охраняй ее и пользуйся, как и раньше, величественными милостями Владыки Поднебесной.

За хана ответил толмач:

— Слышать — значит повиноваться.

Онгу же молча улыбался — он был щедр на улыбки, что вводило в заблуждение иных людей. Сейчас хан был искренен: кончилось томление, скоро под копыта лошади ляжет степь. Нежный запах степи, в котором добрые чары, сочился из сухой травы, как светлый ручей в тяжелых ароматах, льющихся из курильниц дома Сына Неба.

Монгольскую степь пожаловали монголам! Суны любят пустые обряды. Мне подарили мое же. Попробуй не дать!..

Гутлук не знал силы обрядов, не понимал железных цепей церемоний, поклонов, могущества будто бы пустых слов, которые, будучи вколочены в людскую память, превращаются в оружие. Не понимал, что для сунов согласие монголов на обряд перед тронном есть признание ими подданства. Так же не понимал, как не постигал силы знаков — цзыров, — нарисованных на длинных полосах бумаги, которые висели на стенах и колоннах дворца, утомляя монгольский глаз, как черные скопища невероятных насекомых.

Сунский сановник, ободряемый улыбками хана Онгу, говорил о подарках, которые сейчас получит хан, дабы он со своими конными воинами охранял границу от диких людей, коль такие нагло помыслят вторгнуться в Поднебесную. И дабы он ловил сунских разбойников, бегущих за границу, они же изменники и враги трона, да, они спасаются от справедливого возмездия. И дабы хан хватал каждого, кто вознамерился в злобе покинуть Срединное государство, не получив от властей разрешения...

Сановник говорил, медленно роняя слова, подбираемые с некоторым трудом, и заполнял паузы торжественными жестами. Монголы бесцеремонно переминались, зевали от скуки и глазели на остальных сановников. Те расходились, подобные стае птиц в своих длиннорукавных и долгополых разнообразно ярких одеждах, птиц старых, усталых, так медленно они двигались, сгорбленные, нахохлившись под странными шапочками с разноцветными значками на тем-

ни. Их обязанностью было поразить северных дикарей величием, конечно непостижимым для «степных червей», но подавляющим.

Слепой силе грубых тел следует противопоставлять непонятное. Превыше всех та мудрость, достижение которой наиболее трудно, ибо она никогда не сделается достоянием многих. Оставаясь уделом избранных, наука наук питает вершины. Вечное — неизменно, неизменное — вечно. Таков круг, в центре которого находится Поднебесная, именуемая по праву Чжугу, то есть Срединной страной. Она — ось вселенной. Никаких перемен — в этом и цель, и средство прочности государства.

Пока блюстители постоянства таяли, как туман, растворяясь в дверях, чьи-то руки покрыли золотое кресло громадным желтым полотнищем. Желтый цвет есть цвет Сына Неба, а покрывало легло с таким искусством, обманывая зрение, что казалось: там, в кресле, невидимо уселось Нечто великое. Закончив речь, сановник пал ниц, обожая это Нечто, чтобы привлечь к нему внимание и подавить вонючих степняков. Поднявшись, он отпустил монголов жестом руки, скользнувшей, как змея, из широкого рукава.

Онгу, Гутлук и двое-трое других чуть задержались, чтобы выслушать последние слова сунского благоволения из уст толмача.

Остальные, толкаясь и спеша, топтались в гряде сапог, выискивая свои: босой монгол — не монгол!

Затем приступили к подаркам Сына Неба, к хорошо зашитым в кожи или грубую ткань тюкам разных размеров, но одинакового веса, чтобы один человек мог взвалить груз себе на спину или навьючить на лошадь. Толмач, глядя на длинную полосу бумаги, испещренную цырами, перечислял содержимое. Ча, или ша, — самое дорогое монголу лакомство-питье, разные по толщине и качеству ткани, но все синие, как цвет воды любимого монголами голубого Керулена. Украшения. Ножи, сабли, медная посуда... Все нужное, известное, привычное. Подарки, которые монголы считают данью-платой за мир с подданными Сына Неба. Сверх всего — четыре сумки, которые кажутся особенно тяжелыми из-за малого объема: серебряные та-эли, четырехугольные пластинки, на которые можно сменять у купцов любую вещь.

Перед дворцом Сына Неба монголы встретили святого и склонились перед ним от души, не так, как перед золотым креслом. Вся Степь чтит святых, которые поражали

душу монгола. Едва одетые, босые, с головами, не знавшими иного укрытия, кроме собственных волос, бескорыстные, святые выражали нечто пусть непонятное, но высшее. Небо защищало их, иначе разве могли бы они, почти голые, не бояться зимней стужи, ходить по льду босыми ногами, спать в снегу!

Зачем? Святых не допрашивают. Иногда святой даровал монголу счастье оказать гостеприимство. Иногда святой говорил. И даже если не все было понятно, в душах оставалось нечто неповторимое.

Онгу просил святого навестить монголов в отведенном им доме — и святой, и монголы чужие в столице сунов. Святой согласился исполнить просьбу хана, и счастливый Онгу приказал Гутлуку привести святого, когда он сможет. След в след Гутлук поспешил за святым.

В саду, где купы странных деревьев чередовались с не менее странными домами, святого встретили несколько человек, похожих для Гутлука на тех, кто стоял в зале Сына Неба. Они упали перед святым, как перед золотым креслом, и сердце Гутлука открылось для дружбы к умным сунам. Святой ответил на приветствие, указав вверх. Гутлук знал — святой напоминает сунам о равенстве всех живых перед Небом.

Домик, куда Гутлук вошел вслед за святым, был сложен из разноцветных гладких плиток, почти таких же нежных, как прозрачные чашки, в которых всем, и Гутлуку, подали горячий чай. Не такой темный, какой пьют монголы, но светло-желтый, вкусный, с запахом незнакомых цветов. Сидя за спиной святого, Гутлук сосчитал сунов: десять и четыре. Он следил за лицами, готовый слушать. Но слушать было нечего.

Один из хозяев, с пятью шариками на шапочке, быстро-быстро чертил на сероватой бумаге знаки — цзыры. Святой, следя за рукой суна, прерывал его жестом и сам с той же чудесной легкостью чертил, чертил, и все вставляли, теснились, заглядывая, и вот уже каждый спешил изобразить нечто, спешил выразить ответ, и сказать свое, и задать вопрос.

Как видно, разгорелся спор. Как видно, при чудесном мастерстве черчения цзыров кисточки не поспевали за мыслью.

Первым святой, подняв левую руку ладонью к немym собеседникам, указательным пальцем правой руки изображал на ладони не видимые для Гутлука, но понятные сунам знаки. И сразу несколько голосов прерывали святого

резким выкриком «хо!» и отвечали немой речью на своих ладонях. И это длилось, длилось бесконечно для Гутлука.

Он устал. Его переполняли впечатления дня, уже долгого, теперь — нескончаемого. Метанье пальцев, шуршанье жесткого шелка одежд сунов, рассеянный свет пасмурного дня, отраженный, преобразенный разноцветными блестящими стенами... Насколько же легче провести в седле весь день, от утренней звезды до вечерней!

Плохая пища, без мяса. Женщины, сначала желанные, но потом — тоска и отвращение. Гутлук хотел спать. Он боролся, из самолюбия сдерживая перед чужими зевоту, хотя вредно укрощать естественные желания. Спать, спать...

Святой резким жестом поднял обе руки, и Гутлук очнулся. Святой говорил:

— Наши владыки мысли прислали меня к вам, владыкам мысли сунов, с вестью. Так как будущее грозно. И я не могу передать вам весть. Не по вашей вине. Не по моей вине. И не по вине кого-либо третьего. Между мною и вами, между каждым двумя из вас стоит преграда из цзыров, из знаков вашего письма. Между мыслью и действием, между мечтой и действительностью стоят знаки вашего письма, ваши цзыры. Чтобы воплотить мысль, нужно слово. Вы не имеете слова. Слово есть плоть мысли, а цзыр — лишь знак ее, лишь указание на то, что существует, но не выражение сущности мысли. Уподобьте слово живому человеку, а цзыр — скелету умершего, и вы поймете, в чем виновны знаки-цзыры. Доказательство? Все, что я сказал вам сейчас, есть доказательство. Ибо сказанное мною н е л ь з я изобразить цзырами. Знаю, можно нарисовать знак, изображающий отрицанье знаков. Вот он! — И святой, взяв бумагу, нарисовал кисточкой квадрат, а в нем много пересекающихся линий, углов, точек и фигурок, названий-которых Гутлук не знал.

Раздались короткие поощрительные восклицания — суну поняли. Святой продолжал:

— Итак, этот новый знак понятен — отрицанье знаков. Но он, новый знак, не может — он только знак, цзыр — передать сущности отрицанья. Отрицанье есть движение. Новый же знак н е п о д в и ж е н. Добавьте к нему другие, поясняющие, но сколько бы вы ни прибавили новых знаков, движенья не будет. Так как отрицание, выраженное новым цзыром, не отрицание. Оно — утверждение, будто бы существует н и ч т о. Но н и ч т о не существует! Значит, знак этот есть ложь знаков.

Гутлук, всеми силами души стремясь постичь, запоминал. Опять навалилась усталость. Желтые лица сунов, сморщенные или круглые, с редкой растительностью, через которую просвечивала кожа, сделались одинаковыми, как близнецы.

Святой молчал. Внутри Гутлука отзывалось, как эхо, — ложь, ложь... Свет погас. Когда Гутлук очнулся, святой говорил:

— Цзыры выражают названия, меры, счет, вес, свойства, качества, ценность всех вещей. Все действия. Все приказы родителей детям и власти — подданным. Все желания. Все чувства. Все ощущения. Наставления хозяина работнику. Объяснения работников, нужные для совместного труда. Рассказывают о всех событиях. Цзыры выражают все. Но не живую душу человека, вложенную Вечным с известными Вечному целями. Знаки держат душу надежнее, чем границы, и, как стража границ, закрывают государство. Знаки живут своей жизнью, знак порождает знак, как человек — человека. Знаки роднятся между собой своим видом, а не содержанием, которое вы хотите вложить в них. Поэтому знаки искажают мысль. Взгляните — вот родовое имя человека: Бао. А вот слоги, они вместе с родовым дают личное имя человека: Бао Тзэ-тзун, или Бао Гдце-гдцун... Произносимые по-разному, последние два слога одинаково изображаются знаком солнца. Знак солнца есть также и знак творящей, созидающей силы. Я, читая имя человека «Бао Гдце-гдцун», вижу вместе с тем — «Бао-творец». Когда после имени «Бао Гдце-гдцун» стоят цзыры доброты, богатства, благоденствия, я осознаю Бао Гдце-гдцуна как творца знания, богатства, благоденствия. Таким путем знаки-цзыры, как говорил я, способны искажать. Как мне различить, добр ли Бао Гдце-гдцун по характеру своему, или он является творцом добра?

— Но мы различаем, — заметил один из сунов.

— И, различая, вы, созерцая цзыр, ощущаете Бао и тем и другим, — возражает святой.

— Ты прав, — согласился сун с пятью шариками на шапочке. — Всегда правы люди, находящие в чем-либо несовершенство, ибо ничто не совершенно. Наши цзыры созданы людьми, они несовершенны. И мы пополняем нашу сокровищницу, улучшаем цзыры. В беседе с нами ты создал новый цзыр: ты доказал, что равен нам в знаниях. Мы будем размышлять над твоим цзыром. Но что может нам заменить цзыры и зачем? Люди Поднебесной, живущие уже на день пути одни от других, не понимают друг

друга. В Поднебесной больше десяти десятков наречий. Средняя объединена цзырами. Цзыры создали однообразие обычаев и привычек. Уничтожьте цзыры, и многоязычная Поднебесная рассыплется, как горсть сухого песка.

— Я не призываю вас к уничтожению цзыров, — ответил святой. — Такой призыв был бы подобен совету раздеться на морозе тому, кто не имеет другого платья. Иное мне поручено — нарушить покой. Не Поднебесной, не законов, но покой вашей мысли. Вы, ученые, управляете Поднебесной. Высшие почести в Поднебесной воздаются знанию. Мудро и благородно с древнейших времен и до сегодня вы никому не препятствовали добиваться знания. Вот земля земледельца. Заметив живость ума одного из сыновей, отец освобождает мальчика от всех обязанностей. Семья содержит его, расходуется на учителей. Тяжелая наука и самоотречение близких приносят плоды. В памяти сына скопились десятки тысяч цзыров, он владеет искусством красивого письма, познал из книг законы, историю, получил сведения о вселенной, постиг учения мудрецов о духе и смысле жизни... Отец и мать давно скончались, братья самоотверженно содержат ученого и его семью. Сочтя себя подготовленным, такой человек, презревший все ради науки, приходит к вам. Однажды в год вы собираете много таких. Они не молоды, тела их увядают, а головы полны знаний. Вам все равно, дети ли сановников и богачей перед вами или сыновья беднейших ремесленников и земледельцев. Вы дадите каждому уединенное место, заботясь, чтобы никто не мог помочь испытуемому обмануть вас. Он пишет сочинение. Способности людей не одинаковы, одни сочинения не равны другим. Но редко кому вы отказываете в звании, так как редко кто приходит к вам невеждой. Остальные получают разные степени, но позволяющие занимать должности на государственной службе. Человеку, не прошедшему испытаний, нет места в управлении Поднебесной. Я обращаюсь к вам, ибо вы управляете государством.

— И это великолепно, — сказал сун с пятью шариками на шапочке. — Ты рассказал мою жизнь и жизнь многих из нас. Ни в одном месте за окраинами Поднебесной нет подобного. Повсюду властвуют невежды по ложному праву наследования власти либо захватив власть насильем войска. За нашими окраинами есть правители, которые плохо владеют даже грубыми знаками собственного письма! Из всех выделяется римский первосвященник христиан. Он пытается установить власть священников. Их наука нич-

тожна, но священники все ж более учены, чем воинственные правители западных дикарей.

Немного отдохнув, сун продолжал:

— Иностранцы жалуются на грубость, встречаемую ими от нашего народа. Жалобы справедливы, ибо высший не должен оскорблять низшего. Однако подданные Сынов Неба правы, привыкнув считать других людей ничтожными дикарями, правы, привыкнув презирать всех иностранцев. Самый невежественный и ничтожный подданный, грубыми окриками оскорбляя даже иноземных послов, — что запрещено! — знает: его сын, его внук могут стать учеными, сыновья и внуки иностранцев — никогда. Мы совершеннее других народов цветом кожи, красотой лица, тела, волос. Еще более возвышаемся обычаями и устройством жизни, государства. И безгранично превосходим в науке. Мы — Середина вселенной.

Слушая своего, ученые суну привстали. Когда он кончил, все опустились в низком поклоне: сказано хорошо, добавить нечего. И сидели, склонив головы в шелковых шапочках.

Склонил голову и святой: любовь к родине есть великая добродетель, родина прекрасна. Но в величии добродетелей прячутся нетерпимость и насилие, а родина святых — весь мир. Мягко, как бы стараясь успокоить, святой ронял слова, как капли дождя, которые начали падать на звонкую крышу фарфорового дома.

— Опасно людям отказываться от порядка жизни, установившегося из древности. Народ не путник, который утешается переменами мест. Забвение отцовских заветов погубило не одно племя и сделало многих несчастными. Племена, не сумевшие создать свою самобытность, ушли, имени своего не оставив. Поднебесная побеждает даже своих победителей, преобразуя их в себя. Да, ваши цзыры и ваша наука — сила, подобная той, которая связывает песчинки в жерновой камень. Земледелец, затеявший преобразование своих полей, обязан иметь запас, чтобы не умереть от голода в годы преобразований. Будущее известно только Небу, земледелец же не знает, хватит ли ему запаса.

Святой обвел суну долгим взглядом, спрашивая без слов. Суну ответили одобрительными кивками.

— Вы поняли меня, — продолжал святой, — я не зову к разрушению и отрицанию. Вам известна двойственность творенья. С нее я начал; к ней возвращаюсь! Ищите! Не довольствуйтесь тем, что имеете уже. Будущее чревато

грозой, но разве когда-либо случалось, чтобы не зрели бури? Покой не есть неподвижность мысли, но — свобода ее движения. Я пришел вестником тревоги. Вы пользуетесь познанным, не увеличивая уже известное. Вы лишены движения. Горы и камни живут не познаваемой нами жизнью, и даже их жизнь — движение. Движение внутри человека — вы препятствуете ему. Надлежит допускать нечто новое. Вы блюстители цыров и правители науки. Пославшие меня из любви к людям смиренно просят вас — способствуйте свободе мысли.

— Как? Каким способом? — спросил старший сун.

— Известным вам. Или тем, который станет вам известным. Ибо в вашем деле только вы судьи. Если есть способ, только вы его найдете.

Сохранив каждое слово, лицо, движение, Гутлук сложил все в свободные кладовые памяти, как вещи ценные, но употребления которых не знает человек, случайно нашедший нечто непонятное, но, по догадке, значительное.

В молодости воспоминания детства затмеваются богатством открывшихся возможностей. Молодые силы требуют испытания, дни полны, и, хоть кажутся длинными, их не хватает, чтобы взять, овладеть, воспользоваться, отдаться разочарованию, сменить радость на тоску, слезы — на смех. Раньше или позже, как у кого, но всегда внезапно воскресают воспоминания детства. Не стыдясь их, человек понимает, что вступил на порог зрелости. И за этим порогом он еще сделает находки из прошлого, дивясь в неповторимости собственной жизни тому, что до него познавали другие: ничто не потеряно зря, все нужно — в памяти накоплены настоящие богатства. Могут отнять нажитое имущество, но то неприкосновенно для других.

Впоследствии слова святого и сунов очнулись в памяти Гутлука, к радости невольного хранителя, но, что ключом, который открыл хранилище, был собственный опыт, Гутлук не подумал. Он начал с вопроса: а почему святой не сказал сунам прямо, что окаменелые цыры — знаки хоть и охраняют Поднебесную лучше армий, но самый страшный ее враг? Ответ разыскался в мудрости святого и его братьев, обитающих в гималайских убежищах: стремясь убедить, будь терпеливо-осторожен; а когда убеждаемый учен, будь осторожен вдвойне, если нет у тебя силы, чтобы ломать упрямые шеи... Так, к дальнейшему счастью Гутлука, суждено будет распусться сухим почкам его памя-

ти. (А силу он добавит, защищая самобытность монгола!) Но эти события мысли свершатся гораздо позднее. А в тот день, еще не подозревая его значенья, Гутлук ласково тянул святого за обтрепанный рукав: «Теперь пора, Онгу-хан ждет тебя, все ждут, пойдем».

Кажется, они были уже близки к воротам в стене, замыкавшей обширные столичные владенья Сына Неба, когда, к величайшей досаде Гутлука, их догнали. Какие-то суны, окружив святого шуршаньем жесткого шелка, увлекли его, оставив Гутлука ждать.

Кочевник привык соглашаться с властью признанного им самим хана. Среди считающих себя счастливыми обитателями Поднебесной Гутлук выделялся не столько одеждой, сколько дерзкой для чужого глаза вольностью поведки. Святой как бы прикрывал Гутлука. Оставшись один, он резал прохожим глаза, заметный как воронье перо на желтом ребре бархана. На монгола оглядывались с подчеркнутой неприязнью. Поспешные шаги умерялись, кто-то останавливался, всем своим видом выражая недоумение: что здесь делает «степной червь»?

Гутлук не замечал беспорядка, нараставшего среди прохожих. В фарфоровом доме он, присмотревшись, отличал ученых одного от другого. Здесь же все были на одно лицо, и Гутлука занимали не люди, а вещи. Деревья были подрезаны, подстрижены — шары, острые грани, груши. Зачем? Среди странных древесных куп вверх выгибался угол крыши низкого дома. Особенная форма; простая причуда на первый взгляд, при внимательном осмотре приобрела неприятную значительность: сравнить ее было не с чем. Даже крыша, как и деревья, как стена дома, была совсем непонятна.

Прохожие, позабыв о своих делах, собирались заняться делами степного дикаря, забравшегося в дом Сына Неба, конечно, с недобрыми целями, чтобы высмотреть, сделать что-то дурное... Не замечая сунов, Гутлук перешел тропу, дорогу, улицу — ему все равно, как называлась мощенная мелким камнем земля, — чтобы лучше рассмотреть полосу толстой бумаги или проклеенной ткани, подвешенной на шесте. Над столбцами знаков, о которых Гутлук теперь знал кое-что, было вырисовано лицо суна. Глаза из косоватых орбит смотрели вбок и вверх. Сзади, из центра, скрытого головой, исходили стрелчатые черточки, напомнившие Гутлуку лучи солнца.

Святой, наберись Гутлук смелости спросить, мог бы прочесть знаки-цзыры, и получилось бы иное, быть может,

чем то, что решил Гутлук. Гутлук же, в меру понятого им о цырах, решил: на бумаге сообщается имя и величие изображенного человека. Это был творец. Но чего?

Кто-то схватил Гутлука за плечо. Естественным движением Гутлук рванулся, высвободил плечо и оглянулся. На него наступала целая толпа. Суны молчали, все на одно лицо, все злобно оскаленные. Гутлук попятился с неприятным сознанием незащитности спины, не больше, так как не видел причины для настоящего испуга. Он отходил медленно, как от собак: пока не дашь повода сам, ни одна не бросится.

Споткнувшись, Гутлук удержался на ногах, но вызвал нападение. Кто-то ударил его палкой. Злость не придала удару меткости и силы, а Гутлук, рассердившись, вытащил из-за голенища нож. И тут же, ощутив спиной стену, остыл. При виде ножа остыли и нападающие. Немного отступив, суны переговаривались крикливыми голосами. Толпа все прибывала. Гутлук ждал — придет святой и его оставят в покое.

Вместо святого, который все может, через толпу, отбрасывая зазевавшихся, пробирались воины дворцовой стражи. В высоких шлемах с причудливо загнутыми полями, в украшенных на груди латах, воины держали копья с широкими клинками. Что-то говоря, один из них грозно наставил копье. Мгновение — и нет Гутлука! Спасаясь, Гутлук схватил копье за древко, под клинком, и толкнул воина. Тот потерял равновесие и упал, не выпустив копья. Гутлук прыгнул на воина, вырвал оружие, но тут-то на его голову и обрушилась стена.

Он очнулся лежа, уткнувшись лицом в землю. Согнутая ветка распрямляется, если не сломана. Гутлук подтянул руки, приподнялся, встал. Ему не помогали и не мешали. Укрепившись на ногах, он заметил горку свежевырытой красновато-желтой рыхлой земли. Дальше была глубокая яма. Долго думать не пришлось. Его схватили, веревка стянула руки, ловко и сильно закрученные назад.

Два воина своими шлемами, узорчатыми латами и копьями напомнили о случившемся. Но место было совсем не то — Гутлука куда-то отвезли. Здесь и там на взрытом пустыре торчали широкие остроконечные крыши из тростника, опиравшиеся не на стены, а на столбики выше человеческого роста. Крутой глиняный вал грубо и грязно зажимал это место, в котором было что-то отвратительное.

Перед Гутлуком вал был пробит воротами с тяжелыми — издали видно — створками.

Несколько сунов около Гутлука спорили. Он видел это по жестам, не чувствуя слов в странных, нечеловеческих для него выкриках. Ему набросили веревку на шею. Кто-то закатывал рукава, обнажая толстые, налитые желтым жиром руки. Другой, выбрасывая коротенькие выкрики из растянутого улыбкой чернозубого рта, вертел коротким, очень широким ножом, будто и сверлил, и строгал нечто в воздухе, и, перекашивая рот все больше и больше, подмигивал Гутлуку, и подходил маленькими шажками, разглядывал и целился ножом, явно издеваясь над незащищенным живым мясом.

Смерть падала, как лавина, сброшенная горой. Гутлук, опираясь на гордость, единственную опору свою, заставил себя не попятиться перед ножом. А! Он бежал бы, он бился бы, не будь связаны руки, не будь петли на шее. Он просто выбрал единственное, что оставляло его самим собой, как всадник, не думая, выбирает единственно нужное положение тела, чтобы удержаться в седле при броске лошади, испуганной зверем, неожиданно прынувшим из-под копыта.

Что-то крикнули. Нечто короткое, приказ. Человек с ножом отступил, превратив устрашающую гримасу в маску разочарования. Веревку на шее потянули. Чтобы не упасть, Гутлук повернулся и пошел, как корова на привязи. Его подтащили к ближней из странных крыш без стен. Он ощутил смрад, сочившийся изнутри. Там, за столбиками, зияла дыра, нечто вроде зева колодца, но очень широкого.

Гутлуку развязали руки, с шеи сняли петлю, под мышки продели толстую веревку, которая тут же натянулась, рванула, и Гутлук повис над пустотой колодца. Прежде чем он что-либо сообразил, его уже опустили глубоко, в темноту. Ноги коснулись мягкой грязи и ушли по колено. Веревка ослабла, потом ее дернули и ослабили опять. С трудом — руки одеревенели — Гутлук освободился от петли, и она исчезла наверху.

Теперь Гутлук догадался, куда он попал. Грязь засасывала. Оставив сапоги, Гутлук едва вырвал ноги и ступил прямо перед собой, в темноту. Топь сразу обмелела, и Гутлук уперся лбом в твердую землю, с которой беззвучно потекла струйка пыли, набившейся в рот. Подняв руки, он понял, что земляная стена уходит не прямо, а заваливается внутрь.

Подземная тюрьма Поднебесной: ловушка, из которой не убежать. В Степи убивают сразу. Убивают мучительски. Берут выкуп. Изгоняют. В Степи нет тюрем, но Степь слыхала о Поднебесной. О многом. Конечно, и о тюрьмах.

Роят яму глубиной во много ростов человека. Круглую яму. Книзу ее постепенно расширяют: желто-красная земля Поднебесной держит сама, без подпорок. В другой земле такую тюрьму не устройшь — осыплется. Сверху накрывают крышей от дождя и окапывают. Тоже от дождя, иначе земля разбухнет и обвалится. Спускают на веревке, на веревке и поднимают, кого нужно, когда нужно. Наверху сторожат, чтобы никто не пришел и не вытащил пленников.

Не было и нет таких мест, откуда бы пленники не убегали. Из самых высоких башен, из подвалов, из крепких крепостей, от сторожей, глаз не сводивших. Из подземных тюрем Поднебесной никто не убегал. Нет людей хитрее сунов.

Притерпелись глаза. Гутлук начал если не видеть, то различать середину ямы, куда хоть едва-едва, но падал свет. Притерпелся и к страшному смраду, так притерпелся, что уж и не чуял.

Через несколько времени сверху спустили бадью с водой. Можно было бы счесть, сколько здесь у Гутлука невольных товарищей. Но ему так хотелось пить, что он, отбросив кого-то, вцепился в край бадьи и пил, как лошадь, опустив лицо в воду, и не давал себя оттащить, пока не напился и не набрал в шапку воды. Шапка, приклеенная к волосам кровью, осталась с ним. Она, вероятно, и спасла череп от удара, оглушившего — Гутлук понимал — на много времени. Додумался он, что его собирались похоронить, как мертвого, и, не очнись он на краю могильной ямы, пришлось бы ему захлебнуться сунской землей.

Впоследствии, приведя мысли в порядок, Гутлук вспомнил все из своих ощущений, вероятно, без умысла, как обычно бывает, исказив многое в лучшую сторону: всю пережитую мерзость помнить нельзя и не нужно.

Спал он, сидя под самым земляным откосом, в том месте, куда сразу выбрался и которое счел как бы собственным — даже в сунской тюрьме не обходится человек без своего угла, хотя что уж там выбирать, под землей...

Штаны и кафтан набухли, пропитались гнусной грязью. Монголы не моют ни тела, ни одежды, нося однажды надетое, пока не истлеет, так как Небо не любит видеть мытье и побивает громом владельцев Степи, если они

предаются такому недостойному делу. Но та грязь была степная, другая, своя. Гутлук терпел сунскую грязь.

Бадью с едой спускали однажды в день. В первый раз Гутлук опоздал. Когда, дорвавшись, он запустил руку, то на самом дне вырвал из чьих-то пальцев кусок едва ли не камня. То была не то лепешка, не то остатки после отжима масла из бобов. Скобля зубами странную вещь, Гутлук не утолил и не обманул голода.

Ночь, предупредив о себе угасанием серого пятна, навалилась мраком, плотным, как сама земля. Зато подземная тюрьма, будто бы разбуженная мраком, заговорила. Кто-то тянул песню, монотонную, унылую, похожую на степную, но голос звучал глухо, как если бы певец держал перед ртом глиняный кувшин. Двое разговаривали. Вмешались другие голоса, певец умолк, и вдруг вспыхнула драка, вызванная непонятными Гутлуку словами. Он слышал удары, кто-то хрипел, кто-то стонал. Ноги шлепали по невыразимо отвратительной грязи, увеличивая зловоние. Густой всплеск известил о падении, кого-то давили, топили, — Гутлук слышал, как кто-то захлебывается в смрадной жиже. Забывшись, Гутлук позвал. Возня прекратилась. Срывающийся голос ответил с чужим звуком, но понятно: «Эй, иноземец! Где ты, иноземец? Эй, пес!»

Сжавшись, Гутлук прислушался, как к нему вдоль нависающей земляной стены подбираются все ближе, как густая грязь чавкает под ногами, как тот же голос спрашивает: «Иноземец, отзовись, где ты?»

Руки коснулись шапки. Неизвестный враг что-то завопил, ища горло Гутлука, которого он распознал на ощупь, по шапке. Ударив изо всех сил обоими кулаками, Гутлук ощутил голую костлявую грудь. Человек странно икнул. Гутлук слышал, как отброшенное тело упало в грязь, чуть повозилось и замерло.

И здесь, в тюрьме, суны так же ненавидят иноземцев, как в городе! Это мнилось Гутлуку невероятным, и все же так было. Ждать ли еще нападения?

Он ждал, прижавшись к земляной стене спиной, сидя в ямке, продавленной им в густой, как творог, грязи, согретой его теплом. Потом сон сморил его. Он очнулся от боли в щеке. Какое-то крупное насекомое хрустнуло под пальцами, по лицу текла кровь. Гутлук опять забылся, и опять его разбудил укус. Нечто гнусное забралось в рукав. Здесь жили свои хозяева, свои кровопийцы, которые коварно ждали ночной тьмы и сна пленников, чтобы пользоваться.

Вверху вернулось серое пятно, опустив вниз не свет, но нечто подобное самой темной ночи, осенней ночи, когда не видишь собственные руки, — день тюрьмы. Опустили бадью с водой. Метнувшись к ней, Гутлук наступил на что-то, затянутое жижей, и, напившись, понял, что это было мертвое тело, вдавленное в грязь.

Тот, что напал на Гутлука? Или тот, кого ночью душили сами суны? Гутлуку было все равно. Коль он убил, то убил защищаясь, и виновен зачинщик. Такова справедливость. Он один против всех с той минуты, когда его оставил святой.

После схватки за пищу — на этот раз Гутлуку достался плотный ком просяной каши с шелухой, которая царапала язык и десны, — несколько пленников уцепились за пустую бадью, не давая ей подняться, и о чем-то переговаривались со сторожем. Это продолжалось долго. Наверху хохотали и грозились вперемежку. Потом бадья поднялась, опустилась и опять поднялась. Оба раза, когда она появлялась вверху, Гутлук видел руки и ноги, свисавшие с краев. Ночью число пленников уменьшилось на два.

Гутлук потерял самое простое — счет дней, ибо считать было не для чего. Зато он научился слышать и понимать все звуки. Научился ловить спуск бадьи и быть если не первым, то в числе первых, встречавших ее внизу. От укусов гадов вздувались нарывы. Не будь Гутлук среди врагов, он подговорил бы других выдать его за мертвого: ему казалось, что достаточно лишь вырваться наверх. В какую-то бесчисленную ночь он тешился надеждой на бегство. Утром он понял бессмысленность затеи для всех, не для себя одного. Он молчал, отвечая другим мычаньем во время схваток у бадьи. Боясь, что его, чужака-иноземца, опознают по шапке, он бросил ее, как убийца — улику.

Он обращался с немой молитвой к Нсбу, жалуясь на злобу сунов, и, напрягая волю, думал о святом, передавая просьбу о помощи. Стараясь мысленно прикоснуться к святому, он внутренне повторял все его слова, раз за разом читая их, глубоко вырезанные на чистой доске памяти. Это облегчало и поднимало. Гутлук не понимал, что ему было лучше, легче, чем сунам, утопавшим вместе с ним в размокшем от нечистот земляном полу подземной тюрьмы.

Он еще не был женат. Он знал свою невесту, его ждал брак, по обычаю племени, не оставляющего мужчину холостым после достижения зрелости. С родителями его не связывало, как и многих других, что-либо большее обязательного уважения младшего к старшим. Но и будь Гутлук

отцом, будь он единственной опорой родителям, нашлись бы родственники, чья забота, по обычаю монголов, замеснит отца детям и сына родителям.

Кто-нибудь из сунов тоже, вероятно, обладал этой удачей в несчастье — быть одним. Но другие? Для кого-то тюрьма была также и нищетой близких. Для иных, по закону сунов, над кем тяготело обвинение в государственном преступлении, предстоящая казнь была также и казнью семьи и всех родственников близких колен. Для таких оставалось одно — ожесточив сердце, бежать от самого себя. И ожесточали. И бежали.

К Гутлуку можно было применить присловье другого народа: одна не болит голова, а коль болит — то все одна. Он решил жить и выжить.

Он дожил. Его позвали сверху по-человечески, то есть по-монгольски. Спустилась бадья, и Гутлук забрался туда, в это носище воды, пищи, людей, мертвых или живых — для тюрьмы все равно.

Гутлука звал Онгу. Гутлук не узнал голоса хана и старшего в своем роду. И не Онгу принес благодарность — святому. Ему упал в ноги Гутлук, видя, что немые посланья приняты.

Святой не побрезговал прикоснуться к голове жалкого существа, смердящего хуже, чем падаль. Только святому мог подчиниться Гутлук: снять с себя все и здесь же, в одной из ям, где едва не нашлась ему могила, вымыться отваром золы, не боясь грома и молний.

И тут же в седло. И тут же в путь. В счастливый путь. Святой шел впереди шагом, более широким, чем шаг лошади. Чтобы не отставать, монголы рысили. Святой приказал им остаться в седлах, так как монголы не умсют ходить пешком.

За нападение на мирных жителей и на стражу суны приговорили Гутлука к смерти. Особенно увеличивало вину то, что Гутлук обнажил оружие в пределах дома Сына Неба. Сунский суд получил два десятка свидетельских показаний о буйстве Гутлука, хотя достаточно было двух. Так рассказывал Онгу. Гутлук пробовал оправдаться, хан остановил родича:

— Я знаю, ты смел, но ты благоразумен и не напал бы один на многих только с ножом в чужом городе. Однако что можно было нам сделать! Тебя спас святой — твое сердце поняло. Разве мы сами могли бы узнать, где ты и что с тобой? Твои глаза заросли гноем и грязью, ты не заметил коротенького суна в шапочке с шариками. Он боль-

шой сановник и мудро почитает святого. В Поднебесной свои обычаи. Я заплатил пять пригоршней серебра. За этот выкуп наняли какого-то суна, и вчера его казнили вместо тебя.

У западных ворот города, и на стенах, и на кольях, вбитых в землю, торчали головы казненных и висели доски, испещренные знаками. Сообщалось о справедливо наказанных преступленьях.

Суны напоминали прибывающим и отъезжающим о законе, который стоит на страже добродетели и неумолимо карает злых. Ибо человек по своей природе добр и лишь нуждается в поучительных примерах для достижения совершенства. Так учат старые книги, слова из которых с собственными пояснениями приводил толмач, сопровождавший к Стене презренных «степных червей».

Гутлук видел уже немало примеров в виде отрубленных голов на пути в столицу Поднебесной, но не обращал на них внимания. Теперь он глядел с особенным и непонятным для него чувством: среди жалких обрубков есть голова и того, кто умер за Гутлука, соблазненный серебром. Зачем мертвому нужны деньги?

Онгу не знал и не хотел знать. Для него суны — все равно что собаки волку. Человек, монгол, не должен обременять себя постижением обычаев сунов. К тому же только глупец будет рисковать, пытаясь заглянуть змее в глаза, чтобы понять ее мысли.

Толмач с десятком сунских воинов провожал гостей для почета, наблюдая, чтобы чужие не сворачивали с большой тропы с целью вызнать Поднебесную и обидеть жителей. Скучая, сун ответил любознательному Гутлуку длинными рассуждениями об обязанностях детей беспредельно почитать родителей, о великой добродетели самопожертвования, о мудрости многочисленных законов Поднебесной, которые все предусматривают.

Хотя толмач будто бы свободно владел монгольской речью, Гутлук, запомнивший состязанье святого с учеными сунами, не понял многого из сказанного толмачом, а понятое показалось неубедительным. Так в игре, поначалу увлекшей зрителя, действия игроков начинают казаться нелепыми, когда вступают в силу условия состязания, неизвестные зрителю.

Вопреки желанию толмача, изображаемое в Поднебесной знаками и по законам знаков не поддавалось объяснению словами: мысль воплощается в слово по живым, собственным законам и сердца, и разума.

Толмач расстался с монголами сразу за воротами в Стене. На прощанье хан Онгу подарил ему горсточку серебряных денег, нарочно на глазах сунских солдат, которым он не дал ничего: пусть поссорятся. Хан Онгу любил шутку и шутил, как умел. Подарок толмачу был тоже шуткой — хан унижал болтливого суна, как наемника.

Вскоре монголов покинул и святой. Куда он шел? Никто не осмелился спросить. Сойдя с лошадей, монголы склонились перед святым так низко, как позволила земля, и выслушали поученье: жизнь человека совершается по начертанному Небом кругу, человек не должен искать изменений, об изменениях заботится Небо, совершая их в известный ему час; помня об этом, человеку не следует противиться Небу; счастье человека — в созерцательном познании души, ибо внутри человека находится мир больший, чем видимый глазами.

— Не осуждайте других, кто чтит Небо, называя его иначе, никому не препятствуйте молиться, как он умеет и хочет, уважайте священнослужителей всех племен, — так он приказывал, а просил святой. — Ни один из Учителей не желал людям ничего, кроме добра. Зло происходит от невежества людей.

Сурово упрекая Поднебесную в желании ослабить развратом души, святой повелел забыть коварные угощения женщинами, искусными в неназываемых уловках.

И святой ушел своим собственным шагом, будто поднимаясь над землей, будто тело его было легче, чем у людей, и подобно телу птицы. Он ушел на юг, где над желтой мглой еле виднелись призраки гор. Монголы глядели, как святой исчезал, подобный орлу в поднебесной пустыне. Для монголов не было бы ничего невозможного, прикажи он сражаться. Да, сражаться — у них не было более высокого для принесения жертвы...

Поднебесная говорила с ушами и глазами монголов, соблазняя их тело, и монголы жили в Поднебесной в недоверчивом и лживом для обеих сторон мире. Изредка Степь пересекали святые, беседуя с душами монголов, давая высочайший пример. Время шло, и будто бы ничего не изменялось, и будто все изменилось.

Скончался хан Онгу. Ханом синих монголов стал Арик, того же старшего рода. Скончался и он, и его погребли с конем и оружием.

Ханом пришлось быть Гутлуку, по праву рождения и по праву признания племенем, как и его предшественникам.

Гутлуку больше не доводилось навещать Поднебесную. Он не хотел. В его нежелании не прятался страх перед опасными неожиданностями. Поднебесная внушила ему отвращение, и нечего ему было там делать. Находилось и без него довольно желающих сопровождать ханов на прибыльный обряд свидания с золотым креслом владыки, которому нравилось именовать себя Сыном Неба и называть подарками плату, покупавшую спокойствие монголов. Став ханом, Гутлук потребовал, чтобы пустой обряд совершался в Туен-Хуанге. Гутлук не хотел позволять Поднебесной учить монголов разврату.

Через оба эти города — Су-Чжоу и Туен-Хуанг — проходит главная тропа восток—запад—восток. Вскоре после Туен-Хуанга она распадается на две: одна ветвь — через Памир в Индию, другая — через Самарканд, Мерв во все остальные страны, какие есть в мире.

Как на небосводе рассеяны звезды, так на монгольской земле разбросаны места, пригодные для жизни. Горы, бесплодные камни, пески разделяют угодья, из которых каждое принадлежит одному из монгольских племен, поэтому монгол не пустит к себе чужого, как оседлый не пустит чужих в свой дом. Поэтому не пропустит он никого чужого и по тропам, которые монгольские лошади, верблюды, коровы, овцы пробили от ручья к ручью, от озера к озеру, от пастбища к пастбищу. А многоученые суны, управляющие Поднебесной, думают, что они платят монголам за охрану границ. На самом деле они не покупают и дружбу, ибо дружба не продается.

При ханах Онгу и Арике монголы несколько раз напали на Туен-Хуанг, на Су-Чжоу, иногда останавливали караваны на большой тропе. Это не было войной с Поднебесной. Монголы не разрушали; если убивали, то немногих. Схватив добычу и пленных, они так же стремительно отходили, как появлялись.

Вскоре в Степь приходили послы правителей Су-Чжоу и Туен-Хуанга, которых встречали с почетом. Завязывались многодневные, многословные переговоры. Послы упрекали монголов в непочтении к Сыну Неба, в нарушении договоров, в неподчинении, намекали на силу армий Поднебесной. Хань Онгу или Арик, с помощью старших, поминали о древних и новых монгольских обидах. Какие договоры? Какие обиды?

«Состязание в красноречии и трата слов — дешевое занятие в мире, где правят силы с насилием, пригодное для удовлетворения потребности во лжи. Кому не по силам де-

ло, тот зарывается в сухой траве слов», — так думал Гутлук. Ему не было дано радости еще раз встретить святого, который спас его жизнь и поставил на тропу познания. Приходили другие, редкие посланцы Высшего. Как тот, и эти святые поднимались над страданиями тела. Иначе и их слова, как слова надоедливых сунов, пролетали бы мимо монгольского уха, так же как пух весенних цветов мимо камня.

Переговоры с сунами всегда кончались заключением мира. За подарки монголы возвращали всех мужчин, почти всех женщин и те вещи, которые, будучи схвачены в спешке грабежа, не были нужны в Степи, — шелка и ткани, статуэтки, картины и многое-многое другое.

Сделавшись ханом, Гутлук воспрепятствовал очередному набегу. К чему? Случайное обогащение не делало монгола счастливее. Да и обогащается ли тот, кто навязывает себе заботу о вещах, без которых можно обойтись? Спаситель Гутлука, святой предупреждал об опасности забвения заветов отцов. К чему монголам искать перемены? Что стало с киданями, завоевавшими весь север Поднебесной?

Под названием «ляо» они превратились в сунов. Они исчезли. Народилось шестое поколение после победы киданей, а кто назовет счастливыми потомков хана Елюя Дэгуана? Они похожи на женщин. Набравший рабов сам делается рабом. Богатый — слуга богатства, а не господин. Чем меньше человек имеет, тем он свободнее.

В сердце хана синих монголов не стучали тревоги степных троп. Неслышимый для оседлого, голос Степи поет Гутлуку песнь о покое, в котором живет движение. Весь мир дремля движется в седле вместе с монголом-кочевником. Дремлет и грезит монгол, слившись с Небом, плавно покачиваясь в седле вместе с мерцающей мириадами огней вселенной, живет одной жизнью с ветром, с камнем, с травой, единый с ними в покое, который есть совершенное движение.

В чтимых монголами храмах, спрятанных внутри холмов Туен-Хуанга, улыбаются и дремлют с полузакрытыми глазами каменные воины в каменных доспехах. Они охраняют Будду. Будда мирно спит на каменном ложе, погружившись в каменные перины. Полон великого движения сон Будды, его услаждают танцовщицы — они витают на стенах с бесстрастными лицами, беззвучно играя на пастьбух свирелях.

Ни с кем из Учителей не спорит Гутлук. Но мил ему только Будда. Будда — сон, и его неизъяснимый сон есть зеркало желаний.

Из трех сыновей Гутлук любил Тенгиза. Потому что Тенгиз был первым. И верным. И послушным. И часто предпочитал всему молчать рядом с отцом.

Потому что не было дикого коня, не усмирленного Тенгизом. Не было стрелка, равного Тенгизу. Никто не мог побороть его. Никто не был так вынослив.

Любовь — вот самое слабое место самого сильного сердца. Будда любил всех живых одинаково. Будда воплотился, Гутлук же был только рожден. Об этом он вспомнил в день, когда Тенгиз сказал:

— Отец, я ухожу.

Кто ответит сыну, если сын не просит, а приказывает? Сколько лет нужно растить сына, чтобы он научился оскорблять отца?

Двадцать пять лет минуло Тенгизу. Молчание есть сила зрелости. Гутлук молчал.

Руки человека выдают его. Глаза — открытые двери души. Лицо, как степь под ветром, говорит и глухому. И только глухой не знает о предательстве голоса.

— Разве не был я послушным, отец? Разве я когда-либо прервал твою речь, отец? Разве не я год за годом висел на твоих губах, как младенец у груди матери? — спрашивал Тенгиз.

Подтверждая, Гутлук на мгновенье опустил веки.

— Благодарю тебя, ты устаиваешь говорить со мной, как мужчина с мужчиной, — продолжал Тенгиз. — Благодарю тебя за знания, ты был щедр, таких отцовских даров не получал ни один монгол. Свобода! Только кочевники свободны. Все оседлые — рабы. Там, — Тенгиз указал на восток, — люди, гордящиеся своей Поднебесной. Лгут! Это мы живем под небом. Они — под крышами, до которых достает рука. Вместо разума у них в голове знаки, о злом смысле которых, об опасной бессмыслице которых ты не устал говорить. Сердца у них вялые, как зимнее пастбище, они трусливы и злобны от трусости. А на западе, за широкими степями, где живут наши братья кочевники, тоже страны людей под низкими крышами, с низкими сердцами. Отец! Оседлые — рабы. Кочевники — свободны. Оседлые должны быть пищей кочевников. Я хочу справедливости. Тот, кто не сдастся, будет унич-

тожен. Склонившиеся переменяют хана, как лошадь всадника.

— Зачем тебе это? — спросил Гутлук.

— Я так хочу. Я мужчина, обдумал, — ответил сын.

— Ты причинишь много зла.

— Что такое зло? — спросил Тенгиз и сам ответил: — Зло — боль, которую ощущаю я. Боль преследует меня. Я не имею желаемого. Добро — в завоевании мною власти над людьми. Я не хочу причинять боль для боли, как сун.

— Ты понесешь боль другим, — возразил отец.

— Я не чувствую чужой боли и не боюсь своей. Не будь тебя, я был бы слеп. Теперь я зряч.

— Добро — это покой, добро — наша Степь, добро — в созерцании себя, — убеждал Гутлук.

— Я не спорю. Покой — твоё добро. Созерцание — твоё добро. Я был в покое, я созерцал. Теперь я хочу дела. Разве я не мужчина?

Подтверждая, Гутлук опять на миг закрыл глаза. И опять смотрел на сына. Руки не выдавали Тенгиза, его руки спокойны, как каменные. И лицо Тенгиза — как лицо спящего Будды. А голос бесцветен, как если бы сын говорил о самом обычном. И глаза закрыты изнутри. Гутлук понял, что сын, если будет нужно, отбросит его, как откидывает кошму у входа в юрту.

Добро и зло, цель жизни и путь. Воистину, сын жил рядом с отцом, они вместе топтали тропу мысли. Сказанное Тенгизом родилось от мыслей Гутлука. Могло б и не родиться. Тогда Гутлук только предчувствовал, что разум — слуга затаенных стремлений и послушен им, как меч — руке. Сын внимал отцу для себя, отсекая одно, переплавляя другое. Добро и зло каждый понимает по-своему, и миром людей управляет сила желаний.

— Кто пойдет с тобой? — спросил Гутлук.

— Все. Почти все. Они скучают. Они признали ханом меня.

Бывало и так — бездействие хана утомляло монголов. Гутлук один раз добился повиновения, воспрепятствовав набегу. Сколько дней или лет он наслаждался покоем, не думая о своих? Долго. Он не считал, будучи счастливым. Тревога степных троп стучала в сердце Тенгиза, чужой и сильный мужчина жил рядом. Гутлук не чуял, не слышал. Глядя внутрь себя, он созерцал мир, весь мир — кроме сына. Смотря вдаль, отец разучается видеть в собственной юрте...

Бывало и так — преемник убивал предшественника, сын, обремененный ожиданием, тайно торопил отцовскую смерть. Другая судьба свершилась над Гутлуком. Он, принимая общее молчанье за повиновение, не требовал ничего, и о нем просто забыли.

Насколько лучше конец слабой власти Гутлука, чем отвратительное крушение владык! Тех, кто утомив всех похвалами и требованиями невозможного, наобещав невыполнимое, сделав скромных трусами, а смелых — злобными, погибает от страха.

Тенгиз прощался с отцом:

— Для синих монголов ты святой, хоть и не ходишь зимой босым и живешь среди нас. Мы чтим тебя. Прости, что я оскорбил тебя.

— Нет, не оскорбил. Иди. Идите все, и ты иди искать. Сумей быть счастлив исполнением желаний.

Да, да, сила правит миром. Когда Тенгиз победит, все скажут, что он был прав, и первыми к нему придут ученые суны и докажут ему, себе, всем, что путь его был путь добра, путь величайшего общего блага... «А что сказал святой? — спросил себя Гутлук, и странное сомнение остановило мысль: — Двойственность творения? Покой есть движение мысли?»

Гутлук перестал понимать. Тенгиз ушел искать покоя своей мысли в движении. Значит, и покой не един для людей?

Могло показаться — хан Тенгиз, сын Гутлука, не должен был поручать важное дело таким людям. Могло показаться — послы синих монголов нарочито грубы. Не по молодости — степная молодость столь же коротка, как цветение степных трав.

Веди себя послы иначе — вероятно, хан и старшие найманов еще поразмыслили бы над предложением своих соседей, синих. Трудно глядеть на себя со стороны и трудно взвешивать в раздражении. Оскорбленные наглостью, соседи синих монголов найманы с бранью выгнали послов Тенгиза. Выгнали после спора между собой — отпустить ли послов целыми или обкарнать им для позора носы и уши.

Выгнали. Выгнав, успокоились. А далее что делать? Поразмыслив, найманы решили оставить летние угодья и отойти на север, тем самым положив между собой и синими монголами палец Гоби, который пустыня высовывает на

восток. Больше трех дней требуется, чтобы пройти палец — бесплодную песчано-каменистую полосу.

Обремененные стадами и выючными верблюдами, найманы двинулись, медленно спеша и без всякого порядка. Кто сожалел о покинутых местах, утешаясь временностью разлуки, кто тешился переменой, желанной по своей неожиданности. Пыль, взбитая сотней тысяч конских, овечьих, коровьих копыт, застилала землю и небо. Серо-желтые облака ее были видны на день пути.

Утром третьего дня синие монголы набросились на найманов. Они могли бы напасть и на рассвете. Пренебрегая временем, обычным для внезапных нападений, они дали найманам сняться с привала. Синие гнали пастухов, избивая отставших, пытавшихся сопротивляться и с ходу сбили найманов в толпу. Найманы считались людьми храбрыми и гордыми. Благоразумие заставило их перекочевать после угроз хана Тенгиза, так как синие монголы заметно превосходили найманов числом. Превосходили и воинским строем, впервые увиденным найманами только сейчас, в час позднего утра и поздних сожалений.

После краткого сопротивления, утроившего ярость нападающих, найманы бросили бесполезное оружие. К Тенгизу привели найманского хана. Победитель спросил побежденного:

— Согласен ты сам стать синим монголом и приказать твоим перестать быть найманами?

Хан, возрастом годившийся Тенгизу в отцы, не подарил молодого хана длинной речью. Мотнув головой так, что кровь из рассеченной щеки окропила морду Тенгизова коня, найман плюнул и ответил:

— Нет! Да поразит тебя Небо!

Тенгиз согнул палец, и хан найманов рухнул с рассеченной головой. Кто-то из близких с криком упал на тело. Тенгиз опять согнул палец, и монгольское копье соединило в смерти обоих.

Через час найманов не стало. Смирившихся включили в десятки. Разбавив собой войско синих монголов, бывшие найманы рядом с новыми товарищами по тропе станут такими же. Кибитки, стада, женщины и старики были отосланы назад, на бывшие найманские, теперь же общие кочевья.

Хан Тенгиз двинулся к верховьям реки Керулен. Шли быстрыми переходами, привычно пользуясь запасными табунами. Высокой степью, прикрытой горными грядками, откуда свое начало берут реки Онон и Керулен, владели

татары. Среди них, как выяснилось впоследствии, замыслы хана Тенгиза увлекли некоторых, сумевших заранее наберечь тайных сторонников. Открытое предложение Тенгиза было обсуждено на бурной сходке. Спор между татарами вылился в схватку: были убиты хан татар, его старший сын и несколько десятков противников союза. Младший сын хана, отказавшись от татарской отдельности во имя объединения всех людей монгольской крови и обычаев, увлек остальных. Хан Тенгиз создал цепь войска из десятков и сотен, в которых каждый отвечал за всех и все отвечали за одного. Как и найманы, так теперь татары растворились по одному, по два в первых десятках. Тенгиз говорил: нет более деления на племена, все равно монголы, все равно кочевники, все одинаково свободны душой, все одинаково послушны без размышления: в десятках — десятнику, в сотнях — сотнику, в тысяче — тысячнику. И все одинаково — цепь, и каждый в цепи равноценен, ибо самая сильная цепь не сильнее каждого кольца.

Увеличив войско чуть больше чем вдвое против числа, с которым начал поход, — легко знать, когда строй весь одинаков, — хан Тенгиз пошел на юго-восток. К сунскому городу Калче, о чем знал он один. По пути, занявшему время от одной молодой луны до другой — сейчас Тенгиз не торопился, — сдались без сопротивления еще три племени кочевников родного языка. Склонились они без спора, и кровь не пролилась.

Монголы шли вне обычных путей и не ближе одного перехода от торной тропы, древней торговой дороги, по которой Поднебесная общалась с Забайкальем и Прибайкальем, богатыми мехами, золотом, скотом.

Используя скрытость — залог ужаса, хан Тенгиз упал на Калчу, подобно камню, выроненному небом над вершинами воздушных стен земли.

Калча, что значит — «ворота», называемые также Калган, была сильным торговым и перевалочным местом перед Стеной. К востоку от Калчи, за Стеной, начинались исконные владения Поднебесной. Перед зимой к Калче приближались кочевники со стадами, и здесь происходила торговля лошадьми, верблюдами, крупным и мелким скотом, кожами, салом на пространстве, для простого обозрения которого сунскому купцу приходилось проводить в разъездах шесть дней.

Монголы обложили Калчу, угрожая штурмом и, для начала, уничтожением всего, расположенного за стенами. Через несколько дней переговоров Тенгиз соизволил при-

нять выкуп. Полученное серебро монголы тут же в Калче превратили в железо, железные изделия и оружие. Обещая необычайно высокую оплату и награду за усердие, хан Тенгиз вербовал кузнецов, оружейников и шорников. Монголы, ограничившись угрозами, никого в Калче не обидели. Несколько сотен калчинских ремесленников соблазнились выгодой. Правитель Калчи обязал ремесленников вызнать все о монголах и не стал им препятствовать. Несколько оружейников правитель вызвал к себе в ямынь и беседовал с каждым порознь, секретно.

Хан Тенгиз исчез из-под Калчи так же незаметно, как появился. Правитель, послав донесение о буйстве монголов, сообщал, что он сумел окружить кочевников соглашениями и принять некие особенные меры. Проницательно говоря о хане Тенгизе, как исключительном по свирепости вожде, правитель намекал, что опасный монгол скоро будет «грызть землю»...

По извилистым степным тропам, через перевалы, через броды, через пальцы Гоби птицами полетели слухи. Порхало сделавшееся сразу знаменитым имя — Тенгиз, Тенгиз, Тенгиз. И то же имя опускалось и давило горой, отягощенное несколькими тьмами всадников — десятками тысяч, которыми будто бы уже начальствовал, которых будто бы вел прямо на слушавших вести хан Тенгиз. Тенгиз! Само имя звучало, как удар: Тен-гиз!

Но где он, где? В Калчу не пришли в свое время несколько караванов, ожидаемых из Кинь-Луны, он же Курен или Урга. Хан Тенгиз грабит на дороге? Опять северные дикари, «степные черви», разоряют подданных Поднебесной!

В Суань-Хуа, большом городе за воротами в Стене южнее Калчи, и в самой Калче некоторые купцы, особенно обеспокоенные, в складчину нанимали бывалых людей. наряджая их для разведки.

Базарные предсказатели судьбы гадали на книгах, на гадальных табличках, изрекая темные и угрожающие общему спокойствию пророчества. Другие истолковывали черты, из которых слагались выбранные наудачу цзыры, и почему-то попадались наиболее зловещие.

Правитель Калчи, уважая науку предсказания, был вынужден своей высокой должностью вмешаться и восстановить спокойствие. Один из гадателей был схвачен, и голова его была выставлена с надписью: «По злобе и корысти невежественно искажал предсказания для нарушения мира».

После этого жители Калчи осмеливались говорить о монголах лишь с глазу на глаз. Предсказатели попрятались и гадали втайне за удвоенную плату. А правитель Калчи получил от тайного союза воров, покровителя гадалыщиков, письмо, составленное с большим искусством. Намеки в письме не давали возможности кого-либо преследовать, даже если бы авторы письма были обнаружены. Вместе с тем явствовало, что дальнейшие преследования гадалыщиков заставят правителя «грызть землю» — выражение общеупотребительное в Поднебесной. В ту же ночь дверь ямына в Калче была осквернена действием, естественным только для младенцев. Правитель разумно закрыл глаза на гадалыщиков.

Тревожно стало и у западного конца Стены, в городах Су-Чжоу и Туен-Хуанге, о которых уже упоминалось. Су-Чжоу мог бы именоваться Воротами Поднебесной, но, кроме этого, ничем особенно не выделялся. Туен-Хуанг для людей, отправляющихся из Поднебесной на запад, был Воротами Гоби, пустыни, называвшейся также Шамо. Туен-Хуанг был город особенный. Если не единственный, то один из немногих.

Холмы Туен-Хуанга сложены камнем, легко поддающимся кирке. И достаточно крепким, чтобы выбитые в нем своды не боялись обвалов. Там сухо. Как и в некоторых других местах, удобных для подземелий, в Туен-Хуанге начали строить под землей. Может быть, начинатели подземного Туен-Хуанга, не перенимая чужого, действовали по подсказке здравого разума или помнили о древних людях, обитателях пещер. Вернее, умение строить под землей было принесено из Индии — очень многие подземелья сразу же стали храмами Будды и жилищами его служителей, и подземные владенья Будды быстро разветвились, быстро украсились сочетанием мечты индуса с точной работой, на которую всегда был способен житель Поднебесной.

Туен-Хуанг был первым местом встречи юга, запада и востока.

Поднебесная, нетерпимая к нарушителям государственного покоя, благосклонно относилась ко всем вероучениям, целью которых было спасение человеческих душ, но не преобразование основ государства. Рядом с буддистами строили подземные храмы христиане, последователи Нестория, гонимые на западе. Мистические даосы — волшебники и заклинатели — и другие, даже арабы, исповадовавшие ислам, могли найти в

гостеприимных подземельях место для молитвы и убежище.

Начало Туен-Хуанга неизвестно. В нем веками до рождения Тенгиза толпились паломники, прибывавшие для поклонения святыням.

В смутные времена среди них могли скрываться — и, конечно, скрывались — лазутчики, они же распространители злонамеренных слухов с целью заранее ослабить Поднебсную.

Многие в Туен-Хуанге уже видели тревожные сны. Буддисты и даосы, последователи Лао Цзы, сжигали в пламени пахучих свечей молитвы верующих, написанные на бумажках, бумажные деньги — вернее, подражание бумажным деньгам Поднебсной — и фигурки жертвенных животных из той же бумаги. Так к Небу возносились и молитвы, и дары: образные, а не обманные!

В Туен-Хуанге, как и в Калче смыслы снов и гадания не утешали сновидцев и толкователей.

Осведомленный обо всем, правитель Туен-Хуанга господин Хао Цзай был вынужден вывесить таблицы: какие-либо опасности отрицались, благонамеренных успокаивали, злоумышленникам угрожали. Приказ господина Хао Цзая был доведен до сведения неграмотных с барабанным боем и ударами в гонг.

Правитель Туен-Хуанга искренне успокаивал людей: как ученый мыслитель, он понимал бренность существования, и так не столь счастливого, чтобы обременять его преждевременными страхами.

Гадатели по табличкам, знакам, приметам, снотолкователи, священнослужители всех догм по человеческой своей сущности искренне верили в гадания и толкования. Не по их вине предсказания оказывались неблагоприятными. Те священнослужители, кто по скромности считал недостойным ухищрения низшего существа — человека — разгадать волю Неба, все же не могли безучастно внимать пророчествам.

Решительно все, как всегда, бессознательно судя о прошлом по воспоминаниям несмышленого детства, были склонны считать свои детские годы годами спокойствия, а зрелые годы разумного видения жизни — особенно тревожными.

Вспоминали: в прошлые годы волнения и схватки между кочевниками могли казаться ничтожными, ныне колебались устои. Не так уж давно хидани, северные варвары, овладевшие было всем севером Поднебсной, основали го-

сударство Великое Ляо. До сих пор династия Сун, владеющая южной и средней — наибольшими частями Поднебесной, платит ежегодную дань Ляо. Суны духом слабы, ослабели душой и ляо. Ляо и суны устраивают церемонии, называя подарками дань, платимую кочевникам. А монгольская Степь, недавно бывшая подвластной Ляо, сейчас только именуется такой сановниками. На самом деле любой Тенгиз может вершить в Монголии все, что захочет. Поднебесная переделала Ляо. Ляо и суны стали неотличимы, на словах они любят мирную жизнь. Но сумеют ли они защититься и охранить мир?

Купцы по необходимости своих дел следят за происходящим. Купцы знакомы с народом ниуджи. Ниуджи живут в самой северной части Ляо, за рекой Ляохе. Они так же свободны от всякой власти, кроме своей, как монголы. Но земли не так разьединены горами и пустынями, как монгольские. Нуиджи более многочисленны, более сплоченны, чем монголы.

Стене исполняется двенадцатая сотня лет. Она простит еще столько же. Каждая стена, даже Великая, подобна любому запору: коль его не охраняют, злоумышленник сломает самый крепкий замок. Для охраны Стены нужно войско. Где оно?

Поднебесная полна рассказов о военачальниках-богатырях. Изучив войну по книгам, они побеждали, пугая врага учеными построениями войска и показом хитрых маневров. Богатырем не станешь, десятками лет иссыхая над книгами. Врага бьют в открытом поле силой на силу. Сказки — все эти рассказы. Купцы тоже умеют складывать сказки.

И купцы знают, что рассуждение без примеров не убеждает. А! За примером ходить недалеко. Те же кидани! Северные дикари не испугались хитрых перестроений сунских войск и книжных мудростей ученых полководцев. Ни грома пороха в железных трубах. Эти трубы опаснее солдату, который обязан совать к затравке уголек или фитиль, чем врагу, в которого направлено жерло.

Увы, доброго не жди!

А не сложил ли уже голову в Степи этот Тен-гиз, или Дан-гис? Иные так хотели знать, что поддавались, как глупые рыбы, на удочку обманщиков, якобы только что приехавших из монгольской Степи, и награждали за выдумки... Снижались торговые обороты. Как всегда, имевшие деньги придерживали их. Серебро и слитки легче унести или зарыть, чем другое имущество.

В донесении о «небольшой неприятности», постигшей Калчу от Тенгиза, правитель города, изысканно расставляя художественно выписанные знаки, среди употреблявшихся ранее несколько раз применил новый знак-цзыр.

Созданный на идеях старых знаков — иначе новый цзыр был бы непонятен — и все же новый, этот цзыр наглядно свидетельствовал, что злоба «степных червей» проявляется из самой их природы и, подобно стихии, возникает самостоятельно, существуя неотъемлемо от указанных «двуногих червей», как неотъемлемы влажность от воды и жгучесть от огня.

Новый знак-цзыр, художественно связанный с известным знаком «грызть землю», самим своим существованием утверждал невиновность правителя Калчи в постигшей город неприятности: бедственность стихийно происходит от степных дикарей.

Правитель провинции, читая послание, мысленно благодарил правителя Калчи за доставленное наслаждение. Без зависти, с благородной гордостью ученого, радующегося успеху собрата, начальник провинции созерцал красивый цзыр. Он понял главное: как кисточка, тушь и бумага нужны ученому, как воину — стрела, кошке — когти, так новый знак нужен каждому сановнику. Он поясняет, объясняет и оправдывает — без оправданий!

Для ученого хорошо начерченные цзыры подобны лицам. Одни наделены мужественностью, другие женственны, третьи прелестны по-детски — и так до бесконечности, как формы цветов и оттенки красок. Новый цзыр волновал память правителя провинции, как воспоминание о давней любви. Какой, когда, с кем? Нужно искать.

Правитель провинции не случайно отложил дела и занялся научными поисками в дни смятения на границе. Приблизительно три десятилетия тому назад он, едва получив ученую степень, присутствовал в столице на диспуте между учеными Поднебесной и высокоученым гостем из Тибета. Гость высказывал мысль, что знаки-цзыры будто бы останавливают развитие мысли, лишая человека возможности выразить себя. Будто бы цзыры непроницаемо отграничивают Поднебесную от вселенной. Будто бы из-за цзыров в Поднебесной иначе, чем везде, смотрят на жизнь и смерть, на любовь мужчины и женщины, на государство, на самую цель жизни!

Высокоученый тибетец призывал к новому. Нового нет и не может быть; все сказано в знаках-цзырах. Нет даже новых знаков! Ибо знаки, рождаясь из знаков, остаются знаками. Так говорил тибетец, не понимая, что на таком и покоится благо.

Через семь дней правитель провинции нашел искомое в рукописи времен правления Сына Неба Ву Ти¹. Память не обманула. Собрат по науке из Калчи не создал новый цзыр. Вернее, идея такого цзыра уже существовала двенадцать сотен лет тому назад. Калчинский собрат сумел усовершенствовать старый цзыр художественным исполнением, что усугубило смысл. И несомненно, это было сделано бессознательно!

Так лишний раз подтвердилось, что мудрость уже была заключена в старых книгах, что нового нет, новое лишь кажется новым. Собрат из Калчи не выдает чужое за свое. Сущность дела куда значительнее: встречаясь с одним и тем же, люди одинаково относятся к встреченному, пусть их, как в данном деле, разделяет двенадцать столетий. Жаль, нет здесь тибетца, дабы сразить его еще одним доказательством.

Подобное куда важнее, чем тревоги на границах. Нужно укреплять науку, в ней больше силы, чем в крепостных стенах. Наукой, а не стенами длилась, длится и будет длиться жизненность Поднебесной.

Донося в столицу, правитель провинции воспользовался новым, вернее, возрожденным цзыром. Не забыв упомянуть о заслуге правителя Калчи, правитель провинции намеркнул на древнее сочинение, где была зачата душа цзыра. Так, не унижая собрата, правитель провинции доказал глубину и собственных знаний, как умеют и любят делать настоящие ученые.

По приказу правителя провинции были изготовлены и повсюду разосланы особенно красиво написанные таблицы. В них наглядно для понимающего цзыры разъяснялись стихийная зловредность и стихийная ничтожность северных дикарей, а также величие и прочность Поднебесной.

В дальнейшем калчинский цзыр помогал сановникам высших провинций, которые по необходимости служения государству были вынуждены терпеть общение с дикими народами.

¹ Сын Неба Ву Ти правил во II веке до н. э.

Ученые правители внутренних провинций пытались создать свои новые цзыры для сообщений высшей власти о болезнях, грабежах, неурожаях, разрушении плотин на реках и других подобных неприятностях. Их научные поиски в той или иной степени венчались успехом, порой предложенные цзыры выглядели достаточно убедительными, чтобы облегчить ответственность правителей, поэтому вошли в «золотой склад» науки, но с меньшим блеском, чем великолепный калчинский цзыр.

Зато еще раз было доказано, во утверждение величия науки, что каждый знак-цзыр не выдумка, а открытие. Открыть же можно лишь уже существующее во вселенной. Следовательно, калчинский ученый, как и его собрат, живший двенадцать веков тому назад, могут быть уподоблены рудокопам, нашедшим в земле серебряную жилу. Затем некоторые ученые в увлечении с необдуманной поспешностью и в чрезмерно доступной форме сделали следующий опасный вывод: пограничные бедствия действительно происходят от стихийных свойств дикарских народов. Действительно, по уничтожении этих народов возникнут мир и благоденствие. Это доказано калчинским цзыром. Но неурожай? Болезни? Мятежи? Грабежи, воровство и прочие внутренние беды? Может быть, они не так уж исходят из свойств подданных Поднебесной? Такие крайне рискованные вопросы были вызваны явным несовершенством по сравнению со знаменитым калчинским цзыром всех новых цзыров, предложенных для внутренних дел с целью облегчить труды правящих сановников. И диспуты между учеными сановниками были немедленно прекращены по «явной своей бесполезности».

Меньше всего о значении знаков-цзыров думал человек, давший толчок научному творчеству Поднебесной. Хан Тенгиз отошел от Калчи в места, удобные для отдыха, чтобы там обучать и готовить к дальнейшему быстро выросшее войско. Тут среди ожидаемых и неожиданных забот хану встретилось безлико-опасное — нож тайного убийцы. Так случалось, случается и будет случаться с людьми, взявшими власть для цели, которую не только льстецы, но сами они признают высокой: приходится убивать своих, чтобы оберечься от своих же.

На одного синего монгола, начавшего поход под значком хана Тенгиза, приходилось двое из включенных в племя насильно или присоединившихся добровольно. Ка-

залось, опасность могла угрожать от чужих, так судят люди недалекие. Хану донесли о заговоре, составленном своими. Всадники из шести семей задумали вернуться в родовые угодья, им достаточно уже полученной доли, хоть для них эта доля — ничтожество. Не решаясь уйти открыто — по закону, объявленному Тенгизом, беглецы подлежали казни, — недовольные распускали языки, еще не понимая опасности болтовни. Они порицали хана Тенгиза за слишком широко разинутую пасть. Недовольные похвалялись: можно и укоротить на голову молодого хана. Монгол рождается и живет свободным. Хан Гутлук не позволял ходить в набеги, но зато не мешал всем жить, как хотят. Так передавали хану, и хан знал: передают правду. Хан воздержался от немедленных действий.

Чадный дым вился над кузницами, не умолкал дробный перестук молотков. Нанятые мастера денно и нощно изготавливали оружие, латы, шлемы. Шорники слепли над сбруей из-за высокой платы и в надежде на обещанную награду, помогая однотонной песней просмоленным до костей пальцам.

Хан Тенгиз подобрал себе десяток телохранителей. В редкие минуты безделья он беседовал с братьями и с двумя сотниками, проявившими способность к разведке между своими. Пропитанная салом черная кошма ханской юрты еле прикрывала советников. Кто недовольные? Почему недовольны? Новички в деле сыска постепенно добирались до настоящей причины. Забастовали богатые. У этих дома осталось больше скота, чем у многих, у них было наиболее ценное — лучшие лошади.

Богатство — так назывался кончик нити: потянув за него, Тенгиз размотал клубок, в котором пряталось нужное хану-правителю — смысл. Богатый легче насыщается, быстрее устает, скорее стремится к покою. Сытые ленивы — то-то они и упрекают Тенгиза за слишком широко разинутый, как у голодного, рот.

Так, лежа на бараньей шубе, молодой хан постигал науку власти. Молча старая душой рядом с отцом, Тенгиз воздвигал свое будущее в подобию лестницы. Слишком высоко парила мысль Гутлука, и на ступенях своей лестницы Тенгиз помещал способы управления, искусство боя, сражения, освоение захваченного. Пришлось порасширить эти ступени, чтобы на каждой нашлось место для отнюдь не почетной охраны — для тайного надзора за тайными мыслями, для войны со своими же...

Спину хана и юрту хана уже охраняли небрежные по виду, как почетная стража, но бдительные сторожа. К хану пускали еще всех, а не по выбору, и без осмотра. Хан еще не носил под кожаным кафтаном гибкую кольчугу сунской работы, которую ему достали младшие братья. Повсюду Тенгиз беседовал и с простыми всадниками, и с десятниками. Он хотел знать и ощущать всех, пока войско не разрослось. Ничто не остановит его в малом, но нужном, дабы совершилось большое.

К указанному ханом сроку мастера-оружейники и кузнецы израсходовали железо, а шорники — кожу. Тенгиз приказал заплатить обещанное. Мастера удалились, благословляя хана. Хан дал им провожатых, иначе, по глупости оседлых, эти не найдут дороги и погибнут, для них монгольская степь — пустыня.

С легкостью великого, который сам себя освобождает от данного обещания, в Калче Тенгиз решил перебить мастеров, когда они закончат работу. Не из жадности, а от презрения к гибким хребтам оседлых, из отвращения к заискивающим голосам, к приниженности оседлых, которые, дрожа, все же польстились на заработок. Сейчас он щадил их отнюдь не из милости: попросту он понял полезность, ремесленника для монгола. Показав пример, хан приказал войску разумно оставлять жизнь умельцам.

Монголы кое-как умели работать, но презирали работу рук. Принимаясь за дело под плетью крайней необходимости, они подчинялись ей, как болезни, и работали, как больные, медленно, через силу.

Спартанцы — те, о которых помнят, — исчезли больше чем за тысячу лет до рожденья Тенгиза. Ликург, научивший Спарту презирать и роскошь, и труд ради войны, стал мифом давным-давно. История и поэзия облачили монголов и спартанцев в одежды двух разных миров. О том как будто постаралась и природа — внешне, тогда как между теми и другими существовало внутреннее братство.

На опыте с ремесленниками Тенгиз познал, что разумная перемена решения, что измена себе есть признак силы, а не слабости. Слабые от лени умя и из страха цепляются за принятое однажды. Размышляя о пределах, Тенгиз нуждался в Гутлуке. Умея незаметно предложить отцу своей плоти и духа какую-либо мысль, Тенгиз терпеливо выжидал. Не скоро, но Гутлук возвращал ту же мысль, преображенную золотом разума.

Святые отвергают дела внешнего мира, боясь, как видно, своей силы. Для Тенгиза отец был как гора. Превос-

ходство отца возвышало сына — он будет иным, но и таким же.

Кусок кошмы, закрывавшей вход в юрту, был отброшен. Хан, согнувшись, вышел. Трое сторожей не шелохнулись. Опираясь на копья, они будто дремали стоя, но каменная неподвижность тел выдавала бодрствование. Тенгиз долго стоял, долго ждал. Звезды начинали гаснуть, а босые ступни окоченели. Хан обулся. Юноша, родственник и слуга, поднес миску квашеного молока, холодного, чуть пенящегося, и положил в деревянное корытце — тэбши — окорок вареной баранины с воткнутом в холодное мясо длинным сточенным ножом.

Свет овладевал миром медленно-медленно, как прилив Океана, который без спеха поднимался вместе с солнцем на длинные отмели восточного берега Поднебесной. Солнце еще не одолело подножий горной гряды, защищавшей монгольскую стоянку.

Здесь, на западном берегу Поднебесной, приливы подчинены другой силе. Лагерь — люди и лошади уже жили в сумерках нового дня, наполняя его движеньем и шумом: люди часто слишком торопятся, а лошади всегда чутки к людскому волнению. Ветер еще безучастно спал, давая всем некий срок тишины, называемый утром, когда далеко слышны слабые голоса живых и даже самый слабый из них — человеческий, какую бы власть над другими ни воплощал его хозяин.

Перед юртой хана выставили длинный шест. К нему пахучим сыромятным ремнем привязали копьё с белым шелковым лоскутом знамени над девятью пучками черных волос из хвоста яка.

Вернувшись, хан лег на баранью шубу. Срезая мясо, он громко жевал и глядел наружу из темной юрты, как дикий зверь из пещеры. Он не был ни диким, ни зверем. Просто еще не пришло время поэтов, которые на чистейшем языке корана будут писать поэмы-манифесты для монгольских ханов и — от своего имени — поэмы о величии ханов. Поэты еще не успели присосаться, как рыбы-прилипалы к акулам, к монгольским сапогам. Великое Небо сберегло от липкой лести Тенгиза, сына Гутлука.

Подходя в точном порядке, монголы становились тугими сотнями, обжимая плотным строем тысяч юрту хана. Хорош такой строй, коль ему подчиняются люди, умеющие жить просто, как проста сама жизнь — пока сам человек ничего не придумал, — которые молоды в молодости, в зрелости — зрелы, как чувствуют они сами, а случившееся

с ними случается в первый раз — для них. Хорошо, когда хан чутко освобождает строй, вытягивая в десятники, в сотни других, памятливых, которых и собственная и чужая жизнь наделяет богатством опыта. Пусть, как всякое, опасно и это богатство: умные ненадежны деятельностью живой мысли. Молодые ханы смелы, еще тонок их вкус. До времени им, как пресное жирное блюдо, претит зловонная преданность самодовольных тупиц.

Посеяв в монгольских головах мысли о пути кочевника, человека несравненной свободы, хан назвал имена заговорщиков на свою жизнь и произнес приговор.

Все было готово, исполнители знали, кого хватать, сколько рук помогут тебе скрутить обреченных. Их вытащили, неудачливых хвастунов, и хан приказал, навсегда возвысив себя над расправой:

— Монгольская степь не будет пить кровь монгола, пролитую монгольской рукой!

Уже были затянуты в кожаные мешки враги хана — мешки припасли. Тяжелые удары дубин обрушились на живые мешки, и мешки стали мертвыми, как коровы, из шкур которых их сшили.

Лица монголов, совершавших казнь, и лица всех остальных были одинаковы. Так, немного в сторону и чуть вверх, глядит монгол, когда он режет барана по свосму обычаю: связав ноги, валит он скотину на правый бок, вспарывает брюхо и, засунув руку по локоть, нащупывая сердце, останавливает бисние кусочка мяса.

Молодой хан еще не знал, что его враги обязаны сами строить тюрьмы, рыть себе могилы и, ложась в них, славить его имя. Поэтому яма была приготовлена, как и все остальное, заранее.

Глубокая яма. И камни навалили, чтоб зверь не потревожил монгольские кости. Тогда монгол никому, даже своим, еще не мстил после смерти.

Ветер, дождавшись завершения мелких людских дел, прынул буйной стаей с гор в долину. Сейчас голос хана был бы неслышим.

Тропа восток—запад—восток, на которой знаменитый город Туен-Хуанг слыл воротами Гоби, была протоптана в дни, которые казались близкими к дням сотворения мира. Да и теперь то время кажется чудовищно удаленным, вопреки познаниям в астрономии и в истории Земли.

Наверное, тогда Будда еще не бродил по Индии, разделенной на множество жестоко враждующих владений, мечтая найти путь мира между людьми через примирение человека с самим собой..

Тогда в долине Нила творцы каменных книг, изобретатели собственных знаков записи не слов, а идей, стремились к созданию власти, которая, по их убеждению, должна была стать вечной. Им казалось, что править должны обладатели знаний, которые позволят сосчитать звезды, предсказать появление комет, подъема Нила. А также — и это главное — нужно изучить свойства веществ настолько, чтобы сохранять от тления тела умерших: тогда души умерших, оставаясь вблизи места сохранения земных оболочек, удешевят срок жизни государства, если не сделают его вечным. Забота же о живых была так настоятельна, что врач, чей больной умер, представлял перед судом равных себе; смерть неизбежна, но все ли сделал врач для продления жизни пациента?

И уже в ту пору один из дальних отростков тропы, начинавшейся в Поднебесной, обрывался на восточном берегу Средиземного моря, у каменной стенки портов Тира и Сидона, темноволосые моряки которых, впоследствии названные финикийцами, хозяйничали на море, через многие века ставшем Срединным Римским морем.

В ту же пору предки белокурых ионийцев и дорийцев, еще не осмеливаясь выходить в море дальше расстояния, преодолеваемого средним пловцом, пробирались от мыса к мысу на север, через узкие, как реки, проливы, и кто-то из них решился на не сравнимый ни с чем подвиг: перешагнуть через Евксинский Понт. Его сын, а может быть, и правнук сумел подружиться с русоволосыми сильными людьми, которые владели землей по реке Борисфену. Размышляя, что предложить русоволосым за их полновесное зерно, за сало, за кожи, за воск и мед, за оружие закаленного железа, за красивые меха неизвестных на юге зверей, этот сын или правнук увидел у новых друзей вещи, которые Тир и Сидон получали с удаленного Востока. Удивительно! Один из отростков все той же тропы кончался на Борисфене!

Так длинна и так стара была тропа восток—запад—восток, и так нуждались в ней все.

Ходили по тропе и армии. Когда бывали походы и чем они завершались?

Потребность знать прошлое, как видно, присуща самой природе человека. Лишь изредка — и никогда в прямой

форме — кто-то возражал против этой потребности, а утверждениями ее можно наполнить многие тома. И все же почему мать начинает такими словами любимую сказку, и почему они звучали и звучат лучше музыки: давным-давно, за тридевять земель, в тридесятom царстве?..

Расставшись с всеведеньем сказок, я спрашиваю: а что известно о прошлом? Очень мало. То, что случайно поразило поэта или случайно упомянуто в чьих-то записях. Однако же поэт должен быть большим, иначе рассказанное им не уляжется в памяти, не будет сотни раз пересказано, переписано. Ибо малое творчество умирает раньше творцов.

Не простым писцом обязан быть и историк, чтобы его записи нашли преданных хранителей, усердных переписчиков. У незащищенных записей — беспощадные враги: войны, пожары, крысы, мыши, черви, плесень, даже воздух, даже солнечный свет.

Талант пристрастен по своей природе. Где же истина, которую люди искали, ищут и будут искать без всякой корысти: так они утверждают, и спорить здесь непристойно. Мы все нуждаемся хотя бы в призраке правды, как в пище насущной.

На западном конце тропы Египет бывал завоеван пришлыми народами. Восстанавливая себя после изгнания завоевателей, Египет уничтожал памятники, стирал и переписывал каменные летописи. Римские историки почти не упоминают о тропе, хотя она порой своеобразно досаждала Риму. Выборные сановники — цензоры, устанавливая бюджет республики, преследовали любителей роскоши — носителей шелковых одежд, которые разоряли республику. Риму нечего было дать Поднебесной за шелк, и тропа, как напас, высасывала римское золото.

Лет за четыреста до Тенгиза арабы, овладев Ферганой, прошли по тропе на восток через перевал Терекдаван и заняли город Турфан. Современные этому событию ученые Поднебесной умолчали о разрыве тропы. Поднебесная терпелива, она молча ждала, пока время скажет свое, и дождалась: ведь она — Середина!

Говорили: коль вымостить тропу всеми товарами, что по ней провезли, получился бы вал от Стены на востоке и до Самарканда на западе высотой в десять человеческих ростов. Оспаривали — в пятьдесят ростов! В сто! Кто же сосчитал? Все — и никто. Всё может быть. Терпение, время и необходимость возводят горы и сносят горы.

Хан Тенгиз вывел войско на тропу в конце ночи и пошел на восток с тем, чтобы подойти к Туен-Хуангу до полудня. Ему не было дела ни до тех, кто ходил по тропе до него, ни до остающихся сзади. Ни впереди, ни позади нет ничего, все начинается здесь, здесь, здесь. Он повиновался своей судьбе, или звезде, или чему-то еще, очень для него простому, такому же простому, как просты были сами завоеватели, еще не обязанные прятать меч, нож и мертвую петлю под словами о праве, общей пользе, служении людям и прочем.

Не стай волков, не табуном зубров, не соколами и не воронами надвигались монголы на прекрасный по-своему и для всех богатый Туен-Хуанг. На неказистых лошадях, большеголовых, седлистых и малорослых, сидели люди тоже нескрупные, но сильные и выносливые — всадники коню под стать.

Лошади хоть и далеко отошли от диких своих родственников, но не попадали в беду, коль им приходилось отбиться от хозяйского табуна. Вернуться к вольности могла любая, что и случалось. На пастбищах монгольские лошади, отражая волков, учились бить передними ногами, рвать зубами. Злой монгольский конь для чужого человека был опаснее барса. Не зная ухода, монгольские лошади всю жизнь проводили под небом, открытым всем бурям.

Не знал ухода и сам монгол. Мыли его однажды, после рожденья, — хватало до смерти. Помогали ему, как коню, открытое небо и свежий ветер. Выжившие были крепки, расплачиваясь за отвращение Неба к мытью бугристой зачистую кожей. Домашние заботы были свалены на женщин, и в юрте женщине отводилось худшее место — у входа. Но если женщина старалась овладеть оружием наравне с мужчиной — наездниками были все, — ей никто не препятствовал. Сильная умом и волей женщина могла оказаться главой семьи, иная мать правила племенем через сына-хана или мужа.

В десятках и сотнях Тенгизова войска на Туен-Хуанг шли и женщины. Только монгольский глаз мог распознать их. Никто из монголов не думал, будто такой товарищ окажется помехой в походе и в схватке. Необычного не было, было привычное.

В Туен-Хуанге хана Тенгиза ждали давно. Правитель города Хао Цзай, погруженный в науку, отдавал немногие свободные часы суждению о городских делах, разбору жа-

лоб, наблюдению за взиманием налогов с проходивших через Туен-Хуанг торговцев — все осложнялось и замедлялось неизбежно-необходимым церемониалом. Юэ Бао, начальник гарнизона, как умел, готовился к войне. От лазутчиков, спующих по монгольской Степи под видом мелких торговцев, Юэ Бао знал о движении синих монголов, о сокрушении Тенгизом найманов, присоединении татар и трех других племен еще до налета на Калчу.

Юэ Бао умел «видеть» — качество, необходимое для каждого военачальника. Иначе обстояло с выводами, решением и действием.

Поднебесная много и постоянно воевала. На границах, за своими пределами, внутри. Оборонялась. Наступала, захватывая все, что можно схватить. Отступала, обессилив и роняя завоеванное. Истощалась во внутренних войнах. А наука, плотно прикрывшись броней цзыров, утверждала: Поднебесная есть страна мира, страна покоя, в которой высшее назначение — труд, труд и труд. Труд-созидатель! И Поднебесная расплачивалась за ложь цзыров. Солдат не ценился. Солдата презирали.

Иногда какой-либо ученый задумывался над войной: как во всем, и здесь должны быть свои законы и, конечно, правила. Появлялись сочинения о способах войны и как выигрывать сражения, плод размышлений ученого, который, никогда не видав войны, увлекался своими открытиями. Искренняя убежденность автора придавала вес сочинению, особенно среди людей, привыкших чтить науку.

Другой ученый обращался к событиям былых войн. Талантливое изложение способствовало широкой известности таких книг; события в них развивались к чести Поднебесной, что всегда привлекает любящих родину людей. Они распространялись в сокращенных списках, в отрывках, пересказах, и быстро очень многое превращалось в народное сказание. Позднейшие авторы, вдохновляясь сказаниями, не улавливали искусственности построения: такая же искусственность была присуща им самим, они получили такое же образование, их мысль была подчинена той же системе связей, тому же мировоззрению. Многократное отражение, многократное преломление действительности, искажая ее, вызывало опасное смещение понятий. А однажды установленная догма тем самым усиливала свое мертвящее действие.

Управляющий каким-либо большим хозяйством вынужден выслушивать много донесений и каждый день

встречаться с чем-либо новым. Может случиться, что осознание всего нового и всех донесений окажется выше человеческих способностей управляющего. Защищая свое достоинство перед самим собой, он начнет отбирать посильное, отбрасывая то, что не может вместить. Отброшено якобы ненужное, лишнее, недостойное внимания. А так как от него ждут приказаний, управляющий будет их отдавать, чем внесет новые осложнения. Донесенья будут расти в числе, в сложности. Управляющий подвергнет их тому же отбору. Сам того не желая, он переместит и себя, и подчиненных из действительности в «отобранный», кажущийся мир, и вся система его управления подвергнется крушению — когда-то!..

Ученые правители Поднебесной создали легенду об ученых советниках — руководителях полководцев. Все зависело от глубокомысленных маневров, хитрых, умных выдумок. Много убедительных примеров красивой игры ума. В легенде, принимавшейся всеми за истину, не было места ни для действительности, ни для подлинного орудия войны — рядового солдата.

Поднебесная испытала несчетно много больших и малых войн. Неудачи перемежались столь же случайными будто бы успехами: и сражения, и войны выигрываются и проигрываются вопреки командованию, вопреки военной организации. Поднебесная стойко выдерживала любое военное крушение волей своего всегда громадного по числу и всегда трудолюбивого и умного в труде населения. На глазах этого населения армии действовали слишком часто отнюдь не по правилам, отнюдь не героически, не то что в годы, о которых умно и убедительно повествовали книги и порожденные книгами предания. Общепризнанное презрение к солдату всех степеней было, надо думать, результатом несоответствия видимого своему воображаемому небывалому образцу.

Сколь-нибудь стоящий человек всегда находил себе занятие, все виды труда были почетны. Бездельник нанимался в войско, клеймя себя и позоря семью. В хрониках нередко такие записи: «столько-то тысяч бездельников были посланы туда-то на войну, где и нашли заслуженную смерть». Если дружно, настойчиво твердить кому-то, что он негодяй, таким он и станет.

Для военных не существовало проверки знаний, на командные должности солдаты пробирались из рядов, подталкивая один другого, и по личному усмотрению ученых сановников: нужно же кому-то командовать и «бездельни-

ками». Начальник гарнизона Туен-Хуанга Юэ Бао был издеиелм системы.

Ученый Хао Цзай, правитель города, видел в Юэ Бао темную, низшую личность. «Этот Юэ Бао», способный кое-как прочесть небольшое количество знаков-цзыров простейших понятий, куда менее заслуживал звание человека, чем ученик ремесленника либо беднейший земледелец. Те были для Хао Цзая и полезными и необходимыми сочленами многоступенчатого общества Поднебесной.

Хао Цзай называл Юэ Бао «главным солдатом», то есть худшим представителем презренного сословия. С таким же остроумием правитель Туен-Хуанга уподоблял начальника гарнизона некоему органу тела. На самом деле, существование некоего органа есть следствие несовершенства человеческого тела. Так и всяких Юэ Бао терпят лишь по причине пока еще недостаточно хорошего устройства общества.

Приказав раз и навсегда следить за всеми воротами в городских стенах, набить порохом все боевые трубы — до самого горла! — и заставить «бездельников» не расставаться с оружием, правитель отпустил «главного солдата» размышлять, что ему делать.

Говорили, что некогда Туен-Хуанг обладал крепкими стенами и все же попадал в руки кочевников. Об этом Юэ Бао слышал от монахов буддийских святыищ. Во время завоевания киданями северной части Поднебесной и последующих смут городские стены сколько-то раз разрушались и восстанавливались. Действительно, нынешние стены были сложены из разнообразных остатков, связанных глиной, местами — целиком глиняные, с деревянными укрытиями для стрелков. Башни в свое время возводились из тесаного камня и кирпича, на глиняном растворе, с еловыми бревнами, заложенными в кладку для связи, как в Стене. Восстановленные наспех, башни были разной высоты, и на некоторые из них боялись подниматься, так как ступени разрушались и камни выпадали сами. Обветшавшее дерево на укрытиях для стрелков крошилось от простого прикосновения руки.

За время своей службы в Туен-Хуанге Юэ Бао несколько раз, стоя по церемониалу на коленях, «униженно обращал внимание Превосходительного Господина» на плохое состояние укреплений. Какие-то деньги на работы имелись — Туен-Хуанг есть окраинная крепость, — но куда их девал Господин? Это не касалось Юэ Бао. Почтение к ученым он всосал с молоком матери, а жизнь научила его

не задевать величие сановников и мириться с их волей — им виднее.

Юэ Бао располагал пятью с половиной тысячами «бездельников» и командовал ими с помощью полусотни начальников низших рангов. Кое-что Юэ Бао удерживал себе из солдатского жалованья, а за счет денег на кормление солдат, на содержание солдатских домов и на прочие военные дела подкармливался и сам начальник гарнизона, и низшие начальники.

Для Юэ Бао солдаты не были безличным сбродом, как для правителя. В обращении с солдатами приходилось быть ловким, а иногда и храбрым. В строю находили прибежище неоплатные должники, беглые рабы, преступники, ускользнувшие от кары, разбойники, уставшие от бродячей жизни и ежедневного риска, заносчивые неудачники, любители гашиша, опиума, не говоря уже о пьяницах. Люди самого разного возраста, от юнцов и до стариков, скрывавших свой возраст. Некоторые имели семьи. Такие прирабатывали чем придется и заставляли работать жен, включительно до сдачи их в аренду другим солдатам на день, или до новой луны, или на другой срок по договору. Юэ Бао, как высший начальник, имел право смертной казни на месте, к чему и прибегал в случае надобности, располагая для таких дел особыми исполнителями.

Трепеща перед правителем города, как мышь перед сохой, Юэ Бао согнал солдат на работу. Поощряемые бамбуковыми палками и угрозами, но не страхом перед кочевниками, солдаты таскали глину и воду, поднимали обвалившиеся участки стен, сооружали глинобитные укрытия на стенах в местах, где окончательно рассыпались деревянные заплоты. Дерево в Туен-Хуанг доставляли издалека, бревна и доски стоили дорого. Юэ Бао не собирался вкладывать собственные деньги в совершенно бесполезное дело. Страшный Хао Цзай не придет проверять, а его солдаты, Юэ Бао боялся только начальства. Страх перед монголами подождет своего часа. Монголы — в степи, будущее в руках судьбы, а гнев Хао Цзая опалит сразу, как порох.

Порох тратили на хлопушки для праздника Нового года и на торжественные приемы. Для двух десятков боевых труб зарядов еще хватало. Грохот, похожий на гром, мог испугать степняков. Но если они не испугаются? Боевые трубы очень хороши для сигналов. Некоторые пробуют класть поверх пороха камни и куски железа. Юэ Бао рас-

порядился так и сделать, хотя, по опыту, и камни, и железо летят недалеко и попадают лишь в того, кому звезды назначили такую участь. Юэ Бао предпочитал рычажные камнеметы. Эти действительно грозные машины тоже обветшали, канаты сгнили, жилые пружины от времени вытянулись и засохли до жесткости дерева.

О желательности починить машины Юэ Бао докладывал Хао Цзяю без успеха, поэтому ни о чем не тревожился. «Главный солдат», вопреки презрению высокоученого господина, не только боялся, но понимал и, как умел, чтит Хао Цзяя. Правитель Туен-Хуанга памятлив и не будет казнить подчиненных, упустивших что-либо не по своей вине.

Поспешите монголы — и они встретили бы гарнизон Туен-Хуанга в возможном для сунских солдат напряжении. Но монголов все не было. Ожидание очень быстро утомило солдат, наскучило и Юэ Бао. После десяти дней оживления все положились на богов удачи. Работы производились еле-еле. Юэ Бао доверил подчиненным проверять, закрыты ли на ночь все ворота. Наблюдатели на башнях устроились по-домашнему, развлекаясь игрой в кости, курением опиума и сном.

Хао Цзай составил план нового сочинения — «К причинам»: были ли те или иные действия, приемы, поступки завоевателя обдуманы заранее? Или они исходили из природы завоевателя и тех, кого он вел? Возможно ли для смертного увидеть волю высших сил в завоевании? Если возможно, то как отделить волю высших сил от воли завоевателя? Трудности: после успеха ученые из подданных завоевателя доказывали разумность действий, вынуждая побежденных соглашаться. При неудаче происходило обратное. Поэтому сообщения ложны.

На этом кисточка Хао Цзяя остановилась...

Остановка не была случайной. Наконец-то Хао Цзай постиг: если нельзя познать неподвижное прошлое, то как объять настоящее — оно движется?! Но без понимания сущего нельзя управлять государством. Итак, нужно остановить движение, оставив все вещи в покое. Никаких перемен, как на острове. Ибо ныне науке известно все. Следует совершенствовать существующее. Такова должна быть цель. И все иное — прах.

Пользуясь открытыми пространствами полустепи, полупустыни, хан Тенгиз расчленил конницу на дальних подступах к Туен-Хуангу. Всадники шагом двигались в укрытых местах, сберегая лошадей.

Через хребты песчаных дюн, подернутых жесткой, подсушенной летним солнцем травой, сотни пронеслись вскачь и, свалившись в ложбину, переходили в шаг. Они появлялись, и исчезали, и вновь появлялись будто бы отовсюду, обманывая глаз.

Наконец странное зрелище осветило страшной догадкой ленивое зрение наблюдателей на самой высокой и самой прочной башне городской стены. Сторожевые подняли крик. Один из солдат забрался на острую крышу. С этого сооружения мирного вида, назначенного укрывать защитников от дождя, солдат указывал на юг, стараясь привлечь общее внимание. И тут же он принялся размахивать руками во все стороны в знак того, что опасность угрожает отовсюду.

Двое его товарищей возились около боевой трубы, которая выставляла закопченное ржавое жерло в небо через прорез в крыше. Почуввав горький дымок тряпичного фитиля, солдат слез вниз, чтобы принять участие в споре: пора поджигать или нет?

Все трое относились к таинственной для них черной смеси с почтением и страхом. Грохот взрыва очаровывал величием, красотой, сладким ужасом. Поднеси к дырочке у нижнего заклепанного конца горящий фитиль или уголек — и ты станешь творцом грома и молнии.

Столь же хорошо знали о возможной расплате за соперничество с Небом. Боевые трубы иногда срывались, сокрушая ремни, канаты, сооружение, к которому они были прикреплены, и — походя — самих участников чуда.

Самый молодой солдат, как самый глупый, настаивал на выстреле. Самый старый, как умный, зажимал рукой затравочную дыру, настаивая: нужно выждать, всадники могли померещиться, может быть, это просто путешественники, да и труба опасна, как все знают.

Солдат, побывавший на крыше, человек средних лет и доверявший своим глазам, не стал уличать старика в трусости перед стрельбой. Он предложил привязать фитиль, а всем спуститься вниз.

Немного поспорив для «сохранения лица», старик согласился. Ждать пришлось довольно долго. Как часто бывало, неравномерная смесь принялась шипеть, как вода на раскаленной плите. Гнев пробужденного огнем черного дракона длился бесконечно для солдат, робко жавшихся внизу.

Наконец раздался оглушительный взрыв. Приказ правителя набить трубы порохом до дула был, конечно, лишь

образным выражением. По простому небрежению труба получила чрезмерный заряд. Башня сверкнула, выбрасывая густой черный дым. Крышу снесло, и верх рухнул на головы неосторожных, которые раздразнили великую силу.

К этому времени в крепости трещали барабаны, гудели гонги. Из нескольких труб грохнули выстрелы, более удачные для целостности самих труб и стрелков. Никто из самых ленивых, сонных солдат не мог бы сослаться, что не слышал тревоги, как заметил себе Юэ Бао для возможного доклада Хао Цзяо.

Правитель заседал в ямыне — правительственном дворце, завершая суд над тремя преступниками, уличенными в ночном грабеже и убийстве. Обвиненные в надетых на шею тяжелых досках — кангах, сжимавших также и кисти рук, выслушивали приговор на коленях. Из уважения к суду и высокому сану судьи все присутствовавшие тоже пребывали на коленях.

Посланный Юэ Бао младший начальник, человек старый и сильно ожиревший, почтительно полз от порога, чтобы доложить правителю о появлении «степных червей». Остановив невежу и невежду движением руки, Хао Цзай закончил торжественную формулу приговора.

Хао Цзай все слышал. Его быстрый ум сразу связал все в одно целое. И свел, по привычке мыслителя, к первому положению, двойному: либо дикие хотят сорвать выкуп, как произошло в Калче, либо захотят взять город, дабы взять все. Каждая часть двойного, в свою очередь, предлагает две новые части. Следовало сначала исключить одно из двух первых.

Но ничто не может прервать течение суда, кроме пожара самого здания, и правитель вынес смертный приговор. За совершенные преступления полагалась мучительная казнь, с предварительным объявлением о дне, публичная для воспитующего устрашения. Ввиду угрозы войны правитель воспользовался своим правом помилования: приказал казнить немедленно перед ямынем простым отсечением головы. В предстоящем беспорядке осужденные преступники вообще могли избежать наказания. Хао Цзай проявил предусмотрительность, которую вряд ли кто успел оценить, но Хао Цзай не нуждался ни в лести, ни в одобрении.

Холмы Тысячи Пещер лежали вне городской стены. За пределами укреплений находились и сотни караван-сараев,

складов и самых различных жилищ, от крепко поставленных заезжих и торговых домов до беспорядочных сборищ лачуг и лачужек с населением, постоянно обременявшим власть заботами. Тому пример — только что законченное судебное разбирательство, отнюдь не радующее судью. Подобные гадостные занятия утомляли душу правителя Туен-Хуанга. Мудрые правила человеческого общежития были установлены Кун-Цзы пятнадцать веков тому назад! Каков же тогда был мир, коль столько усилий оставили так много грязи. История ничего не сообщала о распространении преступности, что не обманывало Хао Цзя. Сам историк, он знал, что дурное следует гасить молчанием.

В вольном поселении между холмами Тысячи Пещер и стеной Туен-Хуанга обитали грузчики, погонщики, которые нанимались в караваны взамен тех, кто не хотел далеко уходить за пределы Поднебесной или не желал идти в нее с караваном, пришедшим с запада. Ютились здесь и самые различные ремесленники, например, скульпторы забавных изделий из мягкого камня, грубых, но развлекающих воображение, и подобные им живописцы. Гнездились поставщики, продававшие женщин на час или на всю дорогу, торговцы детьми, обученными для любителей. Не все занятия жителей вольного городка были одинаково почтены. Власть, как известно, вынуждена мириться, допускать, чуть ли не поощрять то, от чего мыслитель приходит в негодование: лучше позволить совершать нечто, без чего люди еще не могут обойтись, открыто и под наблюдением, чем путем тщетного запрета погрузить в темноту, где дурное распухнет особенно ядовитыми цветами.

Среди людей, занимавшихся перечисленными и прочими допущенными делами, легко устраивались те, которые прикрывались ремеслами и занятиями, на самом же деле — воры, грабители, скупщики краденого, торговцы и перепродавцы товаров, не оплаченных пошлиной. Здесь в проулках и закоулках всегда бывало многолюдно.

Тревога — особенно гром боевых труб — вызвала панику. Не надеясь на зыбкие стены собственных жилищ, одни бросались к городу, другие — к холмам Тысячи Пещер. Подбежавшие к городу наткнулись на закрытые ворота. Их крики и просьбы не повлияли на запоры. Кое-где солдаты, хозяева положения, торговались, обещая спустить веревку. Кто-то прятался в тайники, устроенные в городке для разных целей.

Перевалив через холмы Тысячи Пещер, монголы ворвались в вольный городок. Не заскакивая в ограды, они ру-

били и кололи с выбором, скорее тешились, чем истребляли. Заполонив, вероятно, больше тысячи человек, монголы приказывали брать бревна, доски, лопаты, ломать дома, чтобы запастись орудиями. Здесь монгольскую речь знали многие. Не понимавших или мешкающих монголы рубили на месте. С удивительной для защитников Туен-Хуанга быстротой на них ринулась толпа, ошестиненная дреколями.

Место было выбрано с очевидной предусмотрительностью — здесь когда-то стена подверглась полному разрушению, и Юэ Бао забил брешь глинобитным валом.

Боевые трубы изредка извергали огонь, дым и гром, заглушая крики и шум. Голоса «черных драконов» обладали только призрачным могуществом звука. Снаряды, может быть, и выбрасывались выстрелами, но если они и приносили ущерб нападавшим, то никем не замеченный.

Монголы прикрыли подневольных рабочих, не давая своими стрелами защитникам стены высовываться из укрытий. Скоро и в этом не стало необходимости. От сухой глины, в которую под ударами рассыпалась стена, поднялась непроглядная пыль. Выждав, монголы нажали на толпу. Спасаясь от монгольских клинков и разъяренных суматохой лошадей, несчастные собственной грудью закончили разрушение.

Пленники ринулись вперед. Бегство от монголов было нападением на защитников города. Плотные ряды солдат встретили толпу густым лесом пик, выровненных самим Юэ Бао по шнуру. Если кто из несчастных жителей и пытался остановиться, как пловец, влекомый течением, то его уносили невольные разрушители стены, ослепшие от ужаса и пыли, дико рвавшиеся только вперед, как беглецы в дыме степного пожара.

Монголы визгливо выли, горяча себя и лошадей. Лошадь видит в пыли во много раз лучше человека. Через облака истолченной глины на штурм шли не монголы, а монгольские лошади. Привычные к бездорожью, они умело выбирали, куда опереться чутким копытом.

Разделенные преградами образования, должностей, заслуг, имущества, все жители Поднебесной равно презирали дикарей. Пусть нищий торговец, загнанный нуждой в Степь, раболепно изгибался перед дикими. То был вынужденный и сознательный прием общения с грубой, безмозглой силой. Внутренне торговец из Поднебесной сохранял такое же сознание своего превосходства, как и сановник, обманувший послов дикарей.

Солдаты Юэ Бао в однообразных шлемах с выгнутыми вверх краями, в самых разных доспехах, опираясь один на другого и подпираемые сзади, стойко ждали. У пленников не было иного выбора, как ринуться на солдат, солдатам тоже некуда было деваться. Навалившаяся толпа потрясла и строй, и воображение солдат. Одни невольно подняли пики, другие опустили. Подобное не предусматривалось, и некоторые, растерявшись, дали вырвать оружие из своих рук. Обеспамятев, многие пленники напарывались на пики.

Хао Цзай напрасно презирал «главного солдата». Юэ Бао успел стянуть и построить для защиты опасного места свои главные силы. Они приходили в беспорядок также и по причине чрезмерной плотности строя. Но и в этом Юэ Бао был неповинен. Он следовал установленной традиции.

Поднебесная не располагала солдатами, способными к одиночному или групповому состязанию с конницей, и не могла их создать — не по вине «бездельников». У солдат были свои правила, и нарушение их могло быть таким же губительным, как нарушение основ науки сановников.

Несколько монгольских сотен толкали пленников на солдат. Другие сотни, прорвавшись вправо и влево, уже скакали по улицам Тусн-Хуанга, били всех попадавших — все были чужие.

Удар в тыл главным силам Юэ Бао, при всей своей неизбежности, увеличил беспорядок. Командующий гарнизоном подготовил было опасную для нападающих хитрость. Четыре боевых трубы были поставлены против разрушаемой стены и скрыты за строем. По команде передние ряды расступятся, и огненный вихрь сметет нападающих. Из-за тесноты маневр никак не удавался, перед черными пастями боевых «драконов» делалось все теснее, вопреки усилиям самого Юэ Бао.

Стиснутые в давке до невозможности пошевелиться, солдаты, не в силах нанести удар, выпускали из рук бесполезное оружие. Пики, которые никто не держал, колыхались над задыхающейся толпой, как камыш над озером, а монголы косили со всех сторон живые колосья.

На нескольких башнях, как гром среди ясного неба, еще рычали «черные драконы». Приставленные к ним солдаты добросовестно расходовали порох до конца, так как монголы, не любившие слезать с седла, не собирались карабкаться на башни по узеньким, ненадежным лестницам.

Соппротивление погасло в ту частую в сражениях роковую минуту, когда солдаты начинают думать о спасении собственной жизни, от утомления и растерянности не сознавая, что в их положении это стремление отнюдь не лучший способ остаться в живых.

Монголы убивали и убивали, холодно, терпеливо, обливаясь потом от усердия. Ловко свешиваясь с седел, добивали упавших. Две женщины, неотличимые от мужчин, загнав в глухой тупик не менее сотни побежденных, махали клинками до изнеможения, отдыхали и опять рубили, пока не покончили с последним. Без вести исчез Юэ Бао. Принято считать, что история несправедлива к побежденным. Вероятно, так и оно и есть, особенно если побежденные чрезмерно возвеличиваются либо чрезмерно унижаются. Человеческая история не только история человеческих страстей, но и зеркало самих рассказчиков. Так ли, иначе ли, но Юэ Бао, чья жизнь менее всего была добродетельной с точки зрения самых доброжелательных судей, заслуживает как солдат самой лучшей эпитафии: сделал все, что мог.

Покончив с улицами, монголы ворвались в дома, деловито убивая, деловито насилуя. Было известно, что богатые иногда глотают драгоценности, поэтому некоторые монголы вскрывали животы убитых.

В ямыне хан Тенгиз, сын Гутлука, уселся в позолоченное кресло правителя, за два или три часа до этого произнесшего свой последний приговор. Хао Цзай был знаком и с Гутлуком, и с Тенгизом. Гутлук не желал ездить в столицу за ежегодными подарками Сына Неба монголам. Церемонию перенесли в Туен-Хуанг, и Тенгиз всегда сопровождал отца.

Молодой хан приказал Хао Цзаю сесть против себя на стуле без спинки, предназначенном для почетных посетителей правителя. Тяжелая шелковая одежда Хао Цзая была испачкана, изорвана тяжелыми руками монголов. Случайное появление хана спасло правителя от судьбы других богатых людей Туен-Хуанга.

Ученый был спокоен. Он холодно отказался послать правителю города Су-Чжоу совет покориться монголам, дабы спасти город и себя.

— Твое желание разумно, понятно и, может быть, человечно, — с вежливой терпеливостью пояснял Хао Цзай. — Но ты требуешь от меня бесполезного. Советы

пленников доказывают либо трусость этих пленников, либо их измену. Ученый правитель Су-Чжоу даже не посмеется надо мной.

— Итак, ты отказываешь мне, — согласился Тенгиз. — А нет ли у тебя просьбы? Может быть, я не откажу тебе?

— У меня нет желаний, — возразил Хао Цзай, складывая руки перед грудью. — Я не сохранил доверенный мне город, — пояснил он.

— Ты не мог его удержать, — сказал Тенгиз. Молодой хан долго молчал о главном, не имея равного себе собеседника, и ему хотелось говорить с человеком, в котором он ощущал нечто, роднящее этого суна с Гутлуком. — Когда монголы хотят, они могут многое, никто перед ними не устоит. Монголы покорят и Восток и Запад.

— Может быть, может быть, — соглашался Хао Цзай, — может быть, монголы покорят Запад. Но Поднебесную — никогда.

— Почему?

— Если ты обещаешь мне исполнить нечто, я объясню тебе.

— Что исполнить? Ты хочешь торговаться?!

— Нет, нет, — поспешил сказать Хао Цзай, предупреждая гнев этого особенного степного дикаря, который хотел рассуждать. — Нет, не настаивай, это будет мелочь для тебя. Обещай, мне легче будет говорить...

— Пусть так. Говори, — согласился Тенгиз.

— Поднебесная — множество. Нас бесконечно много. Нет другого племени, равного нам числом и единством. Поэтому ни один народ не может нас понять. Тебе, сыну малого народа, нас не постичь. Нужно происходить от многих поколений, родившихся в Поднебесной, чтобы ее понимать. Знание доступно только подготовленному к знанию.

Хао Цзай остановился. Он владел монгольской речью. Но трудно переводить знаки-цзыры в звуки. Однако нужно сделать это, дабы посеять сомнения в душе врага, который необдуманно расстегнул доспех в надежде на забаву.

— Это все? — прервал Тенгиз затянувшуюся паузу.

— Нет, нет, не все, — поторопился Хао Цзай, почувствовав досаду в Тенгизе. Дикарь не так дик, он отдается, как хищная птица умному ловцу. — Не все, — продолжал Хао Цзай. — Ты будешь, будешь побежден. Если не сам, то в твоих потомках. Монголы уйдут на дно Поднебесной, как камни на дно Океана. Поднебесная останется, как была. Она подобна кругу, замкнутому в неизменности. В неизменности — настоящая сила. Никаких перемен в обычаях

ях, в семьях, на земле, на небе. Пусть нас упрекают, будто мы гасим сильных и умных. Таков круг, такова вечность. Народ, разрушитель своего круга, погибнет, пустившись в путь, тому много примеров. Все новые люди и мысли рождаются в Поднебесной, как соль в Океане, он же не изменится. Окрась Янцзы — вода унесет краску, река останется желтой. Воюют не для войны, а для мира. Кончались битвы победой или поражением, Поднебесная всегда побеждала и будет побеждать. Тебе, сыну малого народа, — Хао Цзай едва не сказал — дикарю, — тебе не понять этого, нет, не понять... — Хао Цзай повторял, сам стараясь понять, не утомил ли он дикаря, вошло ли сомнение в душу Тенгиза? И, удовлетворенный, Хао Цзай дал своему голосу перейти в шепот, погаснуть.

— И это все? — опять переспросил Тенгиз, опять выдавая себя.

— Почти, почти все, — подтвердил Хао Цзай. — В Поднебесной иначе относятся к смерти, чем в других странах. И — к жизни. И мужчина у нас иначе любит женщину, а женщина — мужчину. Сам смысл существования мы понимаем иначе. И этого тебе тоже не познать, никогда не познать...

Хао Цзай устал от небывалых усилий, от забот жизни, чрезмерно затянувшейся, как внезапно оказалось. Никогда ему не приходилось пытаться выразить в словах высказываемое только немymi знаками-цзырами. Он совершил подвиг, стремясь к последней заслуге перед Поднебесной, подвиг, который останется неизвестным. Но удался ли он? С горечью Хао Цзай думал о близорукой покладистости столичных сановников, которые согласились перенести церемонии подарков в Туен-Хуанг. Этот хан дикарской не видел своими глазами громады Поднебесной. Будь иначе... Зная тщетность подобных сожалений, Хао Цзай не избегал общей судьбы.

Голос Тенгиза вернул Хао Цзая из страны мысли на землю.

— Ты самонадеянно считаешь свою мудрость недоступной, — говорил молодой хан. — Я понимаю тебя, вопреки твоему многословию. Вы, суны, глядя внутрь себя, находите не мир, который, по словам наших святых, больше видимого глазами, а только самих себя. Вы, суны, как песчаные змеи в пустыне, думаете, что во вселенной нет ничего, кроме сухого песка.

— Нет, нет, не обольщайся, — настаивал Хао Цзай. — Познание не может выразиться в произносимых словах. Ни

твоя, ни моя речь не способна на это. Произносятся слова, я теряюсь, и моя мысль слабеет. Постигание доступно лишь человеку, в молчании созерцающему знаки-цзыры.

В ямыне тяжело пахло горелой бумагой и тлеющей кожей. Как всегда, огонь с грозным и жестоким весельем спешил по стопам победителя.

Хан Тенгиз думал: нет, он не даст себе утонуть в сунском хитроумии. Гутлук научил сына ощущать заманчивую опасность мыслей, в каждой прячется бездейственное сомнение. Монгол пойдет верхом, по-монгольски. А что делать с правителем? Тенгиз сдержит слово.

— Я обещал тебе что-то, — сказал Тенгиз. — Я исполню. Чего ты просишь?

— Смерти, — ответил Хао Цзай.

Его книги горят вместе с рукописями, честь правителя потеряна, близкие погибли. Он утешил себя, отомстив дикарю истиной. Сунская стрела не пройдет мимо цели. Все завершилось. Ни к чему, кроме отказа от исчерпавшейся жизни, не мог стремиться бывший правитель Туен-Хуанга, загубленного «степными червями». Хао Цзай, опустил глаза, ждал, вытянув шею и опираясь руками в колени, на удобном стуле без спинки.

Тенгиз сделал знак. Дробно семеня косолапыми ногами, целясь на ходу, подкатился низкорослый монгол. Приподнявшись на носки — с седла было бы удобнее, — он чисто, как на состязаниях в рубке барана, скосил голову бывшего правителя.

Су-Чжоу, плотный, как сыр, твердый, как орех в каменной скорлупе, один из приграничных, но старых, коренных городов Поднебесной, защищался крепкими стенами, не как Туен-Хуанг.

Монголы надвигались медленно, как поднимается вода на полях, удаленных от водопада, который хлещет из прорванной дамбы.

Войско великого хана Тенгиза после взятия Туен-Хуанга перестало быть легким и быстрым в движениях конных сотен, соединенных в тысячи. Величество как бы само собой утяжелило сына Гутлука после первой победы. Чтобы победа не изменила и дальше, великий хан сам обременил войско тяжелым обозом. На верблюдах, вьючных и упряжных, на телегах, повозках везли обильные запасы и припасы, везли захваченные в Туен-Хуанге боевые кам-

неметы, разобранные на части, везли бревна, доски, уголь, железо, инструменты, дрова.

Туен-Хуанг остался, как громадное кладбище, хотя Тенгиз к вечеру победы остановил разрушение и убийства. Монголы занялись разыскиванием ремесленников по приказу хана, выполняемому с охотой — полезность таких людей, пусть и сунов, была понятна. На ходу создавались и новые потребности, и способы их удовлетворения. Холмы Тысячи Пещер монголы посетили не как победители, а как паломники для преклонения перед святынями. Они дивились невиданным богатствам, притронуться к которым воспрещено. Поучения святых были не напрасны.

Под Су-Чжоу нашествие остановилось. Окрестности были опустошены самим населением по приказу правителя города, подкрепленному отрядами из солдат гарнизона. В обозе монгольского войска было достаточно продовольствия: предусмотрительность великого хана победила сунские уловки, как говорили монголы. Они осторожно разведывали подступы, решаясь подходить вплотную к стенам только ночью. Су-Чжоу, кроме боевых труб, над которыми монголы быстро научились смеяться, располагал исправными машинами. Меткость камнеметов и стрелометов была невелика, но борьба с летящими камнями и стрелами длинной чуть ли не в человеческий рост казалась бессмысленной. Против машины нужна машина.

Пленные ремесленники работали не покладая рук. Старые камнеметы, привезенные из Туен-Хуанга, были исправлены. Изготавливались новые. Не забыли об укрытиях — щитах. Машины ставились на катки, чтобы в нужное время подтащить их поближе к стенам Су-Чжоу. Сооружались тараны. Приготовления близились к концу, когда один из летучих отрядов донес о приближении большого сунского войска. Через два перехода суны достигнут Су-Чжоу.

Армия, собранная правителем провинции для подавления беспорядков за счет ослабления городских гарнизонов и частично по новому набору, включала почти двадцать пять тысяч пехоты и около шести тысяч конницы.

Уместно еще раз напомнить, что солдат нанимался за ежедневную плату, никак не прсвывшавшую заработок мужчины на самых простых работах. Он имел право на шляпу из рисовой соломы с широкими полями, на обувь и мог получить кое-какую одежду в случае похода. Право на шляпу объяснялось палящим солнцем, а без ног солдат —

не солдат. До остального ему не было дела. Он брал любое оружие, какое попало, — пику, копье, меч, нож, лук. Если оружия не давали — это дело начальников; солдату же тем лучше, легче нести службу. Доспехи, обычно сшитые из толстой и толсто простеганной ткани, таскать в тюке за спиной и носить на себе было весьма обременительно, хотя, при своей простоте, они были довольно надежной защитой.

От высших командующих и до новичка вся армия прочно опиралась на веру в судьбу. Если в брак вступали, сличая гороскопы жениха и невесты, заказанные родителями местному знатоку сочетаний звезд, то тем более нуждались в гороскопе и солдат и, конечно, солдатский начальник.

Еще более прочно армия Поднебесной опиралась на то особенное отношение к жизни и смерти, о котором Хао Цзай справедливо говорил хану Тенгизу: другим народам нас не понять.

Но, как и у других, как везде, вера в судьбу, подвигавшая сунов на смелые дела, слишком часто сковывала их решительность. Боясь искусить судьбу, нечто прихотливо-коварное, суны предпочитали воздерживаться, не рисковали начинать, выжидали, пока события, развернувшись сами в полную силу, не решат за них. Всякое решение свыше, извне облегчало: можно начинать бой, можно двигаться в поход... Однако и в действии, будто бы неудержимом, проявлялись те же черты пловца, который перед броском в воду с возвышенья не хочет измерить глубину, а перед длинным заплывом склонен больше полагаться на волю теченья, чем на собственные силы.

Ощущение вечности, соединенное с ощущением ничтожества своего вмешательства, и боязнь нарушить неизвестное равновесие — все это подлежит осуждению, не так ли? Нет ничего проще сокружительного обличенья былых обитателей Поднебесной в нежелании задуматься над основами обороны страны. Здесь все просит обвинительного приговора, который и выносили сотни раз к общему удовольствию судей и присутствующих. Единственный защитник никогда не выслушивался — очевидная стойкость самой Поднебесной...

Великий хан решил не принимать боя под Су-Чжоу. Оставив и лагерь, и подготовку к штурму под охраной, достаточной, чтобы удержать гарнизон Су-Чжоу от желания выйти из крепости, Тенгиз пошел навстречу сунам с восемью тысячами своей конницы.

Сунский военачальник не сумел получить о монголах иных сведений, кроме того, что они приблизились к Су-Чжоу. Опасаясь подвижности монголов, военачальник поместил обоз, боевые машины и боевые трубы в середине почти тридцатитысячной колонны пехоты. Около шести тысяч конницы, разделенной на два отряда, прикрывали пехоту с головы и тыла. Внушительная масса войска была закрыта пыльным туманом, через который тускло и сумеречно светил медно-желтый диск солнца. Струи воздуха над горячей землей, завиваясь в смерчи, ходили как призраки, одетые пылью.

Тенгиз бросил своих на сунов в середине дня, избрав местом сражения широкую, ровную долину. Как и предвидел сунский военачальник, монголы напали разом и с тыла, и с головы.

Сунские конники сидели на старых или слабых лошадях, купленных у земледельцев либо конфискованных у них же за неуплату военного налога. Эти лошади засыпали на шаг, требуя постоянного понуждения, и не переходили в рысь и вскачь без усиленной работы плетью. Сунские всадники и не справились бы с иными лошадьми. Верховая езда никогда не была развита в Поднебесной, а одного умения не падать с коня на рыси недостаточно, чтобы считаться конным бойцом.

Монголы разгромили сунских конников первым ударом. Отброшенная на пехоту, конница смешалась с ней, препятствуя изготавиться к бою, и монгольским сотням сразу открылись дороги, которыми они и воспользовались. Боевые машины и боевые трубы не смогли принять участие в обороне армии. Командующий с двумя-тремя десятками высших начальников не захотел сдаться. Кучка этих людей в отличных по прочности латах долго отбивалась, как камень в пене прибоя, пока все не были взяты арканами и копьями с крючьями. Раздраженные монголы мучительно прикончили пленников.

Рыбы нехищные сбиваются в плотные, многослойные стаи для того, может быть, чтобы, жертвуя хищникам неудачниками, чье место снаружи, сохранить род. Иначе бывает в разгромленном войске. Монголы врубались в толпу, густую, как косяк трески, которая сбилась около бессильных боевых машин. Здесь жизнь была сохранена нескольким тысячам, в которых монголы нуждались для своих целей, но только случай дал возможность временно выжить каждой из единиц, сложившихся в эти тысячи.

Пытавшиеся убежать погибли, вероятно, все. Для монголов было забавной игрой ловить сунских конников на их жалких лошадях. Монголы добивали раненых, на скаку рубили и мертвых. Как из воинственной старательности, так и по лихости. Все виды езды и действий с седла были любимейшим развлечением степных наездников.

Долина, где погибла армия провинции, мало чем отличается от многих других азиатских долин, по которым проходила древнейшая «шелковая» тропа восток—запад—восток. И здесь горные хребты кажутся обманчиво-близкими. Веснами маки, поворачивая чашечки за солнцем, делают землю красной для того, кто смотрит по солнцу, и зеленой — против. Летом колючая ползучка прокалывает изношенную подошву сапога, а как только после знойного дня солнце касается гор, долину заволакивает легкий туман — это пыль, которую от еще горячей земли увлекают токи воздуха к мгновенно охладевшему, сухому, как земля, небу. Днем та же пыль, увлекаемая струями раскаленного воздуха, ходит низкими смерчами, такими же медленными, такими же живыми, как в день побоища, но теперь, встретив их, трудно не подумать о теньях тех, кто тяжело жил, умер в страхе и отчаянии и превратился в пыль.

В течение времени, вечного для современников и короткого для потомков, эта долина звалась Местом Слез или Полем Крови, как многие другие в разные годы и в разных странах.

Великий хан Тенгиз вернулся под Су-Чжоу с новыми боевыми машинами, с новой добычей и с толпами рабов, которые будут работать, прежде чем их израсходуют в штурме. Приготовления заканчивались. Испытывались исправленные старые машины, построенные вновь и взятые на Поле Крови. Монголы развлекались, забрасывая через стены Су-Чжоу отрубленные головы убитых за нерадивость и умерших пленников, а также горшки с нечистотами.

«Мужчину испытывают богатством, властью и несчастьем», — говорят кочевники. Несколько пленных суннов, натерпевшись страха смерти, голода и монгольской плети, вспомнили, что в мире все преходяще, а все происходящее — обратимо. Служили Сыну Неба. Служили киданям — Великому Ляо. Почему нельзя служить монголам? Но чтобы возвыситься из раба в слуги, надобно нечто принести господину как выкуп. Что предложить? С

ненавистью озираясь на крепкие стѣны Су-Чжоу, монголы все более злобились: им смели сопротивляться, их волю не принимали. Город-оскорбитель будет наказан, жестоко наказан. Снисходя к покорному, монголы жестоко мстили за самозащиту. Опытные купцы, подвергаясь нападению монголов, встречали грабителей склоня головы. Лишаясь имущества, они сохраняли жизнь. Более того, смирение награждалось, монголы зачастую оставляли ограбленным необходимое, чтобы те могли добраться до ближайшего города.

Даже к зверю монгол относился иначе, чем другие охотники. Однажды, преследуя в предгорьях диких баранов, Тенгиз столкнулся с медведем. С двумя стрелами в брюхе, разъяренный медведь напал на Тенгиза, сломал копье и, уже издыхая, помял охотника. Придя в себя, Тенгиз запретил товарищам брать шкуру и мясо дерзкого зверя. Оправившись, монгол разыскал падаль и разбил камнем обглоданный череп — из мести и в наказание.

Тенгиз, мечтая рядом с отцом, сам дошел до слов, пригодных для знамени завоевания: оседлые — рабы, кочевники — свободны, поэтому оседлые должны быть пищей кочевника. Казалось, должен был последовать вывод об особенной расе, с высшим ее призванием, с ее высшими правами на господство. Такого обобщенья не получилось, монголы действовали так, будто им все позволено, стоя на пороге зрелости и не переступая его. Теория высшего народа не сотворилась, и Тенгиз принял без размышлений естественную для него покорность сунских механиков.

Главарь механиков Фынь Мань был человеком сложной судьбы. Фынь Мань мог удостоиться ученого звания, стать сановником, не поступи он глупо в решающие дни. Минуло двадцать лет ученья — это еще очень короткий срок, — и тридцатилетний Фынь Мань был допущен к государственным испытаниям. После проверки объемистое сочинение Фынь Маня было сожжено, а сам он ославлен, как вор, покусившийся обокрасть радушных хозяев.

Отверженный Фынь Мань действительно был виновен. Испытуемые доказывали свою ученость отнюдь не буквальным повторением заученного, но рассуждениями по поводу текстов: есть разница между поверхностным усвоением на память и настоящим познанием. Фынь Мань позволил себе выйти за границы дозволенного, оспорив одну-две принятые истины.

Неуважение к общепризнанному неприятно для всех. Некоторую игру мысли ученые суны могли позволить

столь же ученому собрату. Свободомыслие ученика вызвало гневный протест дальновидных ученых: по какому праву ничтожество, равно ничем себя не утвердившее в науке, осмеливается? Что будет дальше? И с наслаждением добродетели, уличившей порок, ученые выгнали наглого.

Родись Фынь Мань в семье, с трудом добывающей нарис себе, истощая силы содержанием будущего ученого, он был бы скромнее, не для вида — что ненадежно, — но всею душой. Фынь Мань, сын ученого, не рисковал преждевременной могилой сановного отца. Досыта кормясь крохами родительского стола, Фынь Мань питался и семейной мудростью, получая наставления годами и приказы перед длинным месяцем государственных испытаний. Безусловная покорность отцу есть одна из основ Поднебесной. Позор сына был также нарушением сыновнего долга. Преступник был проклят и выброшен на улицу пинками старательных слуг. Как случается часто, сын не понимал, а отец не мог допустить мысли о том, что пошлость старшего снабдила младшего ростками мерзкого вольнодумия.

Не умея что-либо делать руками и ничего не зная о жизни, тридцатилетний Фынь Мань, растерявшийся и голодный, пустился просить милостыню. Через два-три дня он едва не лишился жизни: в книгах ничего не было о союзе нищих, права которого Фынь Мань неосторожно нарушил.

Несчастливого подобрал вор, прельщенный лоском, еще видным из-под нараставшей коросты грязи. Воры тоже объединялись тайным сообществом. Чтобы получить права сочлена, следовало пройти науку и выдержать испытания. Неловкий Фынь Мань был отвергнут и здесь.

Объявленный набор солдат спас жизнь Фынь Маня, которой угрожали сразу голод, длинное шило, которым союз нищих расправлялся с нарушителями монополии, и плаха, куда Фынь Маня толкнули бы либо неопытность в нарушении законов, либо сами воры по тем же соображениям, по каким нищие пускали в ход шило, а также по дополнительным: судьи становятся излишне деятельными, когда число нераскрытых преступлений превышает какую-то норму...

В солдатах неудачливый ученый, а также неспособный вор и стал Фынь Манем, скрывшись от отца: тот мог подать некий знак, узнав, что сын вконец опозорил родовое имя.

И здесь Фынь Мань оказался неудачником. Глядя на мир из-за широкой отцовской спины, он воображал, будто

все низшие, невежественные почитают ученых. Так оно и было. Но низшие нуждались в осязательных приметах учености, поэтому и товарищи, и начальствующие сумели укротить самозванца. Уподобленный псу, Фынь Мань лизал солдатские миски, упражняясь в истинно собачьем подобо-страстии.

Самой легкой считалась служба в коннице — конника возила лошадь, а не собственные ноги, как в пехоте. Самой трудной — около боевых машин, где приходилось работать, да еще рискуя либо погнучить увечье, либо жизнью и в мирные дни. Через три года Фынь Маня перевели к машинам. Тут емугодились не науки — ни сами машины, ни обслуживающие их люди не занимаются философскими рассуждениями, — но память. Изучение цыров развивает способность запоминать и мысленно видеть даже самые сложные сочетания рычагов, тяжей, блоков, в чем Фынь Мань убедился, к собственному удивлению и к удовольствию начальников.

Из ста тысяч сусликов не слепишь и одного верблюда, а из всех ящериц Поднебесной — самого маленького дракона. Среди невежественных начальников и товарищей Фынь Мань оказался единственным верблюдом или драконом. Обучившись многому, он постиг драгоценность скромности. Вскоре — года через четыре — Фынь Мань получил высокое звание младшего помощника четвертого заместителя начальника боевых машин войска провинции. Машины нравились Фынь Маню. Он занимался незаметными для начальников усовершенствованиями и сочинял для себя способы защиты городов и нападения на них. Но втайне, ибо начальники обидчивы, и самое большое оскорбление для них — умные подчиненные.

Один из таких способов Фынь Мань предложил великому монгольскому хану: повалить стену через подкоп. Как? Через подземный ход из-под подошвы стены уносят землю, а стены снизу подпирают столбами. Столбы поджигают сухой щепой, залитой маслом. А будет ли дерево гореть под землей? Будет, дым потянет через другой ход.

Тенгиз велел хорошо кормить Фынь Маня, а к работам приставить охрану. Фынь Маню позволено было набрать из пленников сколько будет нужно. При успехе великий хан обещал полезным сунам награду и постоянную службу.

Тенгиз навещал работы — дело, не виданное им. Суны сновали с удивительной для монголов ухваткой — как муравьи. Слабосильные, они часто сменялись, отдыхали, хватая воздух разинутыми ртами, почти голые, тощие — все

ребра наружу, и все же облитые потом: И опять ползли, скребли, сверлили, грызли, и усмиренная земля лилась непрерывной почти струей из подкопов, начатых сразу в четырех местах. Переползая один через другого, там, в глубине, суны, наверное, переплетались, как змеи. Подкопы глотали доски, короткие и длинные бревна, выбрасывая землю и будто бы насмерть замученных сунов, задыхающихся, облепленных жидкой грязью из пыли и пота.

На третий день великий хан привел с собой младших братьев, приказав явиться начальникам тысяч и сотен. Входы в подкопы были заслонены от Су-Чжоу камнеметами. Фынь Мань, желая все предусмотреть, завесил камнеметы сшитыми шкурами коров, лошадей, верблюдов. Шкуры поливали водой — осажденные пытались поджечь машины горящими стрелами. Чтоб не выдать замысел, выброшенную землю отвозили ночами подальше.

Монголы теснились молча, не выдавая изумленья перед ловкостью сунов. Каждый, сидя в седле, перерубил бы один всех этих сунов в чистом поле. Но того, что здесь делали суны, монгол не умел и не хотел уметь.

Через четыре дня великий хан смог дойти под землей до подошвы стены и своей рукой дать пощечину ненавистному камню. Масляные светильни горели под землей ясно, как в юрте, и пламя отклонялось от тяги. Проход был узенький. Тенгиз шел согнувшись, доставая руками до земли. Тогда же Тенгизу открылись препятствия: в Поднебесной много городов, больших, чем Су-Чжоу. Какие взять сначала, куда идти потом и каково множество подданных Сына Неба, которым пугал Хао Цзай, бывший правителем Туен-Хуанга? Против сунов будут нужны суны же...

Взяв в ханскую юрту Фынь Маня, великий хан приказал ему говорить. Тот, больше дивясь, чем ликуя, взлету своей странной судьбы, старался дать монголу, что мог. Что оставалось Фынь Маню? Прилепиться к новому господину, заслужить жизнь, еще раз сбросить старую кожу. Было и еще нечто, тревожившее Фынь Маня часто, но не более, чем гвоздь в сапоге: колет, когда наступишь, но можно терпеть. Вскоре после начала солдатской жизни Фынь Маня его отец, сановный ученый Чан Фэй, получив повышение на государственной службе, был назначен правителем Су-Чжоу. Сидя на телеге с запасными канатами для камнеметов, Фынь Мань ехал в Су-Чжоу, не опасаясь встречи с отцом. Вельможный правитель никогда не узнает сына в обличье солдата. Фынь Мань, давно презрев добродетель, забыл об отце. Сейчас он его ненавидел. За все.

Великий хан Тенгиз еще не думал, будто к нему могут прилипнуть нити сунской паутины. Говорят, слова острее стрел, летят они медленно, но остаются внутри. Тенгиз действовал, помнил. Вероятно, наибольшая часть завоеваний и переворотов не была бы начата, понимая затеявшие их люди все дальнейшее.

Считая своих, Тенгиз вспоминал о других монголах, бездельно кочующих в степи. Он может подчинить их, они тоже пойдут по новой тропе. Кто знал, сколько монголов? Тенгиз думал о сотне тысяч всадников. Будущее принадлежало ему. Монголам.

Камнеметы, поставленные в ряд против северной стены Су-Чжоу, били все вместе в верхушки башен, в стены, разрушая зубцы и укрытия защитников. Машинами управляли пленные суны-механики под командой монголов. Су-Чжоу отвечал своими машинами, стараясь повредить камнеметы осаждающих. Против одного камнемета осажденных били десять монгольских. Под городом хватало места для машин. Строители городских укреплений соорудили площадки для машин только на башнях. Вскоре монголы сбили их. К вечеру сами башни были повреждены, как и укрытия на стене. Поддавалась и сама стена. Камни облицовки вываливались рядами, обнажая сердцевину — рыхлую смесь из камней неправильной формы, ненадежно связанных глиной. В сумерки монгольские пленники беспрестанно собирали отскочившие от стены каменные ядра, которые завтра продолжат дело разрушения.

Великий хан был доволен своим днем, а монголы — своим ханом: он может все. Даже не будь Фын Маня, ханского суна — так его звали монголы, — Тенгиз разрушил бы стены Су-Чжоу в нескольких местах, скрывая от осажденных место решительного удара. Изготовленные тараны издали нацеливались на ворота, высовывая кованые лбы из-под шатровых укрытий. Если завтра ханский сун не повалит южную стену, падение Су-Чжоу замедлится немногим.

Вельможный правитель Су-Чжоу ученый Чан Фэй видел сон. Его, неизвестно кем и за что заключенного в трюме джонки, уносила река. За прорубленным в бревнах оконцем, куда не проходила голова,плыли странно пустынные берега, безлюдные, дикие, и во сне Чан Фэй му-

чился сомнениями: где он, где Поднебесная с ее заселенными реками? Гористые берега сменялись равнинными. Джонку поворачивало, качало, крутило в водоворотах. Берег уходил все дальше. Вода успокоилась в беспредельности. Чан Фэй понял — его унесло в открытое море.

Сердце остановилось, и он проснулся, задыхаясь, дышая мягкой перине, заменившей сырые доски джонки. Томясь от волнения, от тоски, правитель подошел к окну. Звезды сказали — идет третья часть ночи. Виденья, посещающие спящих в эти часы, посланы в помощь. Они сбываются, и смысл их полезно разгадать, чтобы помочь совершению предначертаний судьбы.

На рассвете правитель, упреждая разрушительную работу монгольских машин, предложил переговоры. Великий хан согласился принять послов, если их главой будет сам правитель: сон сбывался...

С первого дня стоянки под Су-Чжоу сунские пленники соорудили хану высокий шатер, который мог вместить две сотни людей и в дальнем углу которого поставили походную Тенгизову юрту. Стены и крыши шатра затянули шелками, взятыми в Туен-Хуанге. Новая роскошь получила старомонгольскую печать — жирные следы рук, вытираемых после еды, испестрили шелка на высоту человеческого роста.

Тенгиз встретил посольство, сидя в золоченом кресле правителя Туен-Хуанга. Два младших брата хана сидели на земле, на подушках. Тысячники и многие сотники разместились вправо и влево, как руки хана.

Сзади будто дремали телохранители. Среди них присел на корточки Фынь Мань. Этой ночью, может быть, в час, когда Чан Фэй виделся пророческий сон, Тенгиз осмотрел законченные подкопы и оценил способности суна. Хан стал выше людей, которые требуют завершающего успеха. Фынь Мань доказал свою полезность. Хан назначил его начальником над всеми умелыми сунами и разрешил надеть монгольское платье: кожаный кафтан, кожаные штаны и сапоги с острыми носками, удобные для верховой езды.

Суны вошли один за другим, медленно, мелкими шагами. Перед шатром шаманы окурили их дымом. Шурша жестким шелком длинных платьев, в туфлях на очень высоких многослойных подошвах, они кланялись хану, прижимая к груди скрещенные ладони.

Чан Фэй вежливо, без назойливости смотрел на Тенгиза. Такого монгола он не встречал. Длинные черные волосы хана, отброшенные назад, были прикрыты обычной

изношенной шапкой. На просторном лбу широкие, приподнятые к вискам брови брошены, как развернутые крылья. Между бровями, чуть выше их, небольшая, но ясная выпуклость напоминала о третьем глазе Будды, — по убеждению индов, это признак выдающегося человека. Короткая острая борода делала резче тупой треугольник лица. Темно-серые пристальные глаза не моргали, как и приличествовало обладателю Глаза Будды.

«Такой хан и нарядившись в лохмотья не спрячется в толпе», — подумал Чан Фэй с облегчением. Он молчал, легко и свободно, — получалось не так трудно, — по этикету ожидая приказа высшего, то есть сильнейшего. Этого человека нужно ублажать мягкой покорностью...

Поднялась рука хана, тоже особенная: узкая, с длинными пальцами, образец для ваятеля, который пожелает сочетать выражение силы с красотой. Рука тоже в чем-то помогала правителю Су-Чжоу.

— Ты поздно пришел, — сказал великий хан.

Фынь Мань, переменявший кожу, стоя на коленях, просунул голову под рукой хана. Он будет толмачить, узнает его отец или не узнает, все равно.

— Великий, я не мог прийти раньше, — возразил правитель Су-Чжоу.

Фынь Мань отодвинулся. Этот человек, по возрасту старый, но еще сильный телом, говорил по-монгольски! Фынь Мань не подозревал способностей отца. А что он знал когда-либо об этом холодно-злом и чужом человеке? Ничего.

— Почему не мог? — спросил Тенгиз.

— Ты повелитель, ты сам идешь, сам делаешь по своей воле, — уверенно, но скромно оправдывал себя Чан Фэй. — Я, ничтожный слуга Сына Неба, только исполняю строгие приказы неумолимых законов. Не смею оскорблять тебя, великий, увертками. Ты разбил армию, которая могла помешать тебе. К чему тебе еще этот ничтожный город, он не прибавит много к венцу твоей славы. Прими выкуп, какой захочешь.

— Нет! — закричал Тенгиз, с наслаждением давая себе волю. — Нет! Я сам возьму все. Я научу сунов, как сопротивляться монголам. А ты будешь глядеть вместе со мной, как я сломя Су-Чжоу, а монголы обратят вас, оседлых, в свою пищу.

Фынь Мань, поняв, что пришел его час, выскочил вперед и поймал немой приказ хана. И побежал выполнять. Неловко прыгая в тяжелых сапогах, он споткнул-

ся, упал — и опять пустился вскачь, как подкованный козел.

Кто-то из тысячников расхохотался. Смех подхватили. Выходя из ханского шатра, монголы держались за бока. Смеялся и Тенгиз над своим суном. Чан Фэй, подавленный неудачей, — неужто сон обманул? — странно думал про монголов: как дети. Страшные дети!

Чан Фэй не понимал, почему здесь, с южной стороны, чего-то ждут и монголы, и толпы пленников. В час утренней тишины было слышно, как на севере, у другой стены, глухо, с треском бьют камни в поврежденную вчера стену. Доносило и крики. Беспольный гром боевой трубы покрывал звуки только на мгновение.

Наверное, там уже осыпалась сердцевина стены. Камнеметы монголов ломают внутреннюю облицовку, как вчера сломали внешнюю. Вчера в ямыне Чан Фэй, потеряв привычное спокойствие, — может быть, он играл перед подчиненными, — проклинал строителей, в последний раз восстанавливавших стены. Проклинал тогдашнего правителя и приказал внести в опись событий осады указание на обман: стены, будто бы сложенные из камня, оказались набитыми глиной. Казну обокрали, а он, ничтожный и неученый Чан Фэй, был обманут, ему дали править городом с бумажными стенами.

Поистине, драконы-покровители и герои-тигры Поднебесной скрылись с таинственными для смертных целями. Империей управляют жадные сановники. Став стеной вокруг Сына Неба, трусливые, как мыши, коварные, как лисы, они говорят его именем. Нет выше добродетели, чем подчинение власти. Срединная подобна сосуду, собранному из мельчайших чешуек. Добродетели — клей, пока клей держит, не все ли равно, чьи ноги топчут покой Сына Неба. Он — не человек, он понятие, как знак-цзыр... Такими размышленьями Чан Фэй готовил себя к смерти. Покой безбрежного моря, дарованный во сне, был извещением о близком покое смерти. Сны лгут, как явь...

Из земли сочился черный дым. Едва заметный вначале, он густел, ползучий, приподнимался. «Высшие люди, совершенствуясь, совершенствуют низших, и вся Поднебесная идет к совершенству. Когда низшие впадают в заблуждение, все грязное поднимается, как этот дым», — горевал Чан Фэй о своей неудачной судьбе.

Дымы поднимались, светлели. Горячий воздух выбрасывал пепел. Фынь Мань, закопченный, как углежог, выполз из подземного хода и подошел к великому хану. На

шее ханского суна болталась мертвая петля, и конец веревки он готов был вручить палачу. Нет сомнения в удаче, но разве Судьба не капризна? Хитрый механик заклинал коварный Случай, в обдуманной смиренности перед ханом он искал лекарства против тяжелой болезни неудач.

Дым стал почти невидимым, только горячий воздух трепетал над вытяжными ходами. Выгорело масло, выгорели дрова. В кучах рдеющих синим пламенем углей в раскаленном подземелье дотлевали короткие, толстые столбы.

Стена будто бы шевельнулась. Еще немного. Падение стен — небывалое зрелище, глаз отказывается верить. Но вот, проседая и отрываясь, выпучился, накренился и рухнул наружу сразу целый кусок протяжением в четверть ли. Рядом, зияя неправильным обломом, стена еще держалась. Дрогнув, разламываясь в воздухе, обвалилась и она.

Су-Чжоу открылся таким, каким его никто не видал. С узкими улицами, которые убежали бы — не перекрывай их повороты — среди острых крыш, стай крыш, столпившихся плотно, как семья грибов, но таких разных, будто строители нарочно сговаривались не повторяться. И — метанье людей, которые падали из окон, рвались из дверей, бежали куда-то внутрь, за повороты улиц, волны спин, обращенных к зиянию пролома.

Фынь Мань пал на колени и, пытаясь встретить взгляд господина, снял петлю с шеи: вовремя. Ханский сун еще не понимал, что кто-нибудь из монголов мог потянуть за веревку, как мальчишка, для забавы. Не понимал он и забвенья, в которое его по праву отбросил великий монгол, как вещь временно ненужную.

Тенгиз смотрел, ждал, пока пленники не расчистили проходы, пока спешенное войско не начало вдавливаться сотня за сотней в побежденный Су-Чжоу. Потом пошел к шатру. Всадники охраны заскакивали вперед, окружая шатер, и погнали сунов вслед великому хану.

Два брата хана держались около старшего, когда Тенгиз вывел синих монголов за черту племенных земель. Выросло войско. Три десятка своих всадников, Тенгизова рода, спали около хана, ели рядом с ним, не отлучались ни в походе, ни в бою. Такие же десятки появились у ханских братьев, поставленных в тысячники. То была еще не охрана, но помощники, вестовые, посыльные — без таких не обойтись и сотнику, — они же естественные хранители тела хана или другого начальника, надежные, почетные люди.

Будни войны, будни походов и лагеря создавали новые формы. Ни охраняемый, ни охрана еще не размышляли о возможных опасностях. Будущее пока оставляли в покое, ничье дальновидно-настороженное воображение еще не творило опасных призраков, не одевало их плотью. Никто не подозревал, что подобные призраки можно так смешать с миром живых людей, что сами творцы не поймут, где друг, а где враг. Великому хану Тенгизу было очень далеко идти до тех неизбежных лет, когда забота о теле повелителя лишит свободы и его самого, и весь его народ.

Поэтому Тенгиз мог вольно, без оглядки, как в седле, упасть в позолоченное кресло, не думая, что охрана плоха, что убийца, без труда проскользнув под шелковой стенкой, воткнет нож в беззащитную ханскую спину.

Поэтому, раскинув ноги — в кресле хуже сидеть, чем в седле, — Тенгиз еще не думал о заговорщиках, не взвешивал слов, поступков и возможных намерений возможных соперников, хотя у ханов много соперников и самые опасные — самые близкие. О заговорах Тенгиз будет думать, когда ему донесут, не раньше. Он дремал, будто Гутлук в степи, грезя, творя в полусне полумысли, полуобразы, произнося безмолвные речи, видя лица, не виданные наяву, свободно слушая не сказуемое словами. Он жил, как вольный хан, еще не униженный страхом.

Суны жались за спиной Чан Фэя. Великий хан открыл глаза, и правитель Су-Чжоу ощутил на своей спине дрожащие пальцы: его толкали. Он невольно шагнул вперед.

— Ты знал правителя Туен-Хуанга? — спросил Тенгиз.

— Да, великий, — склонился Чан Фэй. — Он был славен своей ученостью. Хао Цзай мог творить новые знаки-цзыры. Я сожалею о его смерти. Он обладал великими знаниями.

— Ты сожалеешь? О других ты тоже сожалеешь?

— Люди не равны, великий. Хао Цзай был ценнее других. О нем я обязан сожалеть больше, чем о других.

— Во сколько же раз твое сожаленье больше? В два раза? В девять? — настаивал Тенгиз. И почему ты обязан сожалеть? Кто тебя обязал? — добивался сын Гутлука.

Правитель Су-Чжоу не нашел слов: объяснять очевидное произносимой речью труднее всего, а цзыров-знаков хан не знает...

— А ты тоже все знаешь, как он?

Чан Фэй рискнул поднять глаза, хотя ему было трудно встречаться взглядом с монголом. Не насмехается ли странный дикарь? Нет...

— О себе, великий хан, нельзя говорить похвально. Оставь знания себе, а похвалу — другим, учат наши старые книги.

— Ты хочешь служить мне? — спросить страшный монгол.

Струйки пота скользнули по бокам Чан Фэя. Мир качнулся, вернулся на место, но перестал быть прежним. Выбор? Желание? Правитель сломленного Су-Чжоу, не словавший сам, ждал смерти — без навязчивого страха, без навязчивой мысли: и менее стойкий человек не нашел бы места для страха. События развивались стремительно, как в одной из многих трагедий на сцене театра: дикий завоеватель и ученый, мужественный сановник, чьи добродетели торжествуют посмертно.

Чан Фэй, назначая предусмотренные законом пытки и мучительные казни, сам присутствовал при поучительных для других уроках по обязанности. Как все, он свыкся со страданиями и насильственной смертью, как с обстоятельствами естественными, справедливыми и нужными. Зрелище страданий его не страшило; как многие, он испытывал некое приятное ощущение, конечно непредвзвешенное. Живописцы и скульпторы Поднебесной с точностью воспроизводили пытки, казни, плоды их труда были допущенными предметами торговли. Особенным спросом пользовались изображения некоторых изощрений: закон отдавал палачу все тело преступника, не оставляя ничего тайного.

Ничто не преграждало дорогу смерти, преступник успокаивался ее прикосновением так же, как человек добродетельный.

Наука дала Чан Фэю ключ, он мог постигать значение событий. Наибольшим из них за годы его правления в Су-Чжоу был недавно открытый правителем Калчи цзыр, связавший степных дикарей и бедствия. Тут же последовавшие прискорбные несчастья — разорение Туен-Хуанга, гибель провинциальной армии; осада и гибель Су-Чжоу — необычайно смягчались: суны, особенно же сановники, были ни в чем не повинны, как заранее доказал правитель Калчи. Калчинский цзыр снимал вину и с Чан Фэя. Поистине, только дикари могли предпочесть разрушение Су-Чжоу. Ведь выкуп дал бы им больше, чем результаты беспорядочного грабежа.

Для Чан Фэя мало что существовало за границами цзыров. Как-то ему довелось прочесть рассуждение о сущ-

ности человеческого «я», составленное гималайским ученым. По общему мнению, перевод этого случайного сочинения — автор не ссылаясь на других и на сунские цзыри — сам собой доказал праздность мысли тибетца. Цзыри, примененные в переводах санскритских книг, раскрыли привязанность ученых индов к сказкам. Встречи с учеными тибетцами, которых дикари считают святыми, не убеждали в полезности углубления в сущность человеческой личности. Удивительные будто бы способности святых быть неуязвимыми для мороза, подолгу обходиться без пищи и угадывать мысли легко объяснялись утомительной системой упражнений. Бесплезный труд — результат многолетних усилий ничего не давал: куда проще носить теплое платье в холод и визнавать чужие намерения хитростью или подкупом.

Монгол несколькими словами разбил медные ворота заученных воззрений. Чан Фэй, обливаясь потом, чувствовал — ему сейчас изменят ноги, как крабу, выброшенному на песок под жгучие лучи солнца. Он задыхался. Сделав шаг назад, Чан Фэй упал бы, не подхвати его руки советников, этих ученых более низких степеней, которых он заставил быть его свитой.

— Советуйте, советуйте, — умирающим голосом шептал Чан Фэй.

— Соглашайся, соглашайся, — нашептывали советники.

Чан Фэй не слушал, Чан Фэй не слышал, Чан Фэй не понимал.

— Как Сюэ Лян, как Сюэ Лян... — усердно в самое ухо кто-то вколачивал знакомое имя.

Сюэ Лян? А! Добродетельный Сюэ Лян! Семнадцать веков тому назад на юге Поднебесной Сюэ Лян покорился вторгшимся дикарям, став в дальнейшем с помощью драконов и тигров причиной гибели завоевателей. Силы вернулись к Чан Фэю: пример нашелся! Шагнув раз, другой, Чан Фэй опустился на колени перед ханом:

— Повинуемся и принимаем волю великого.

Но почему-то мир опять покачнулся, почему-то Чан Фэй не мог сомкнуть медные ворота, за которыми жил. Прежде жил.

Насилие, грабеж, убийство. Убийство, насилие, грабеж. Монголы мстили Су-Чжоу. Толпы сжнов, обезумевшие от страха, разрушали стены, башни, ломали дома. Стиснутые, смятые, избиваемые, они погибали под обвалами, которые вызывали сами, погибали под монгольским железом, под

копытами монгольских коней, под остроносым сапогом монгола.

Но кто-то прятался под обломками, в подвалах, в закоулках, кто-то выживал случайно, кто-то старался выжить, кто-то обязан был выжить.

Нужно, непременно нужно кому-то выжить, чтобы вновь — в который-то раз! — отстроить древний Су-Чжоу, сколько-то раз разрушенный и столько же раз возведенный опять, — и лучше, чем предыдущий, — возведенный для нового разрушения. Нужно, чтобы город восстал вновь и вновь, чтобы вновь и вновь решался неразрешимый вопрос: кто лучше, что нужнее? Выжить, притаившись, как мышь, либо погибнуть героем? Чтобы маленький человек — для смерти нет больших — совсем один выбирал либо одно, либо другое. Так как не было третьего, не было места, где удалось бы переждать, ничего не решая. Ибо и тот, кто, возмущаясь общей слепотой или пользуясь властью, заранее приготовил себе надежную щель с такими запасами, с такими сводами и в столь совершенном секрете, что мог там отсидеться годами, разве такой тоже не выбрал? Выбрал, выбрал и еще утешался: в роду любого героя всяко бывало, иначе не было б рода.

Окованный стенами от рождения, Су-Чжоу всегда давил собственные улицы, сужая их выступами, нависал этажами, теснил площади, превращая их в площадки, дворы — в дворики, чердаки — в жилища, подвалы — в склады. На заходе солнца убитый город вытеснил и завоевателей. Пожары возникали от очагов, брошенных хозяевами, от монгольской потехи: огонь довершит.

В сумерки пожар осветил буйство одних людей, пособничая им для гибели других. Описания совершавшегося тягостны, не нужны, не новы. И — не стары...

Великий хан решил завтра же начать отход в монгольскую степь, к подножиям монгольских гор, на тощие пастбища, на сумрачные зимовки, решил уйти в места, краше которых для монгола пока еще нет ничего на свете. Весной он легко подчинит себе всех монголов, не придется ему по необходимости избивать своих же, требуя покорности. Нужно собрать всех. С теми, кто есть, рано покорять Поднебесную.

Не когда-либо раньше, но только сегодня Тенгиз понял, как поступать дальше. Поняв, решил. Решив, отбросил, не ловя ни вчерашний день, ни истекшую минуту. Иначе не было бы Тенгиза, сына Гутлука, ни других таких же.

Мы измеряем события собою — другой меры нет — и настойчиво снабжаем людей действия задолго обдуманнми решениями, сознательно преодоленными препятствиями, говорим об исторических рубежах и считаем ступени. Если действительность нуждается во лжи, как свет нуждается в тени, чтобы проявить себя и стать видимым, то поиски средств и старания искателей средств не должны вызывать ни восторга, ни осуждения, как любая неизбежность.

Невиданный костер размером в целый город освещал разгульный лагерь монголов. Впервые за время похода всякий порядок был нарушен. Стоянка войска едва ли охранялась. Да и что могло угрожать?! И в двух неделях перехода от пылающего Су-Чжоу не было иных сил, кроме монгольской.

Владея настоящим, определив будущее, великий хан наслаждался особенными блюдами и напитками. Бывший правитель Су-Чжоу с помощью других сунов служал новому владыке; монголам не было дела до того, откуда добыты припасы, в какие городские склады сумели проникнуть хитрые суны, не изжарившись сами.

Как всякий монгол, Тенгиз мог подолгу обходиться без пищи и мог после долгого перерыва безнаказанно съесть неправдоподобно много. Не спеша вчетвером или втроем, орудуя одними ножами, монголы незаметно оставляли от целого барана кучку обглоданных костей. Еще и сейчас в местах стоянок кочевников на берегах озер земля набита сплошными слоями костей.

Шелковые пологи ханского шатра были приподняты, как кошмы летней юрты. Ночь стояла безветренная. Масляные лампы светили без помехи. Совсем рядом, в полутора тысячах шагов, догорал Су-Чжоу, делая еще великолепней тихую ночь конца лета игрой многоцветных языков пламени, догорал — не мог догореть. Еще и еще что-то рушилось, еще и еще в местах обвалов взлетали фонтаны искр.

Устав, пламя упало, зарываясь в развалинах, и вдруг вздымалось. Может быть, масло, закипев в подвале от жары, превращало подземное хранилище в лампу, достойную духов зла, может быть, пожар находил склад драгоценного лака, дощечки дорогого дерева для шкатулок и ящичков, которыми славилась Поднебесная...

Восхищаясь особенно мощным факелом, Тенгиз встал, указывая пальцем. Он не хохотал грубо, отрывисто, как утром, потешаясь неловкостью своего суна Фынь Маня.

Сейчас он залился смехом, как ребенок, и стал совсем молодым. Совсем по-юному он хотел, чтобы все глядели, радуясь с ним, совсем как юноша приказывал радоваться. Не к чему и некому было допытываться, попросту забавляется ли великий хан доселе невиданным зрелищем, либо, казня непокорство Су-Чжоу примерной огненной казнью, тешится местью. Вернее было бы первое. Жизнь прекрасна удачей, а месть утоленная превращается в радость.

Разгорячившись, Тенгиз сбросил тяжелый кафтан, рубаху, сапоги, штаны и стоял, наслаждаясь прохладой, блестя потной кожей, как начищенная медь, с раздутым животом, но бодрый, крепкий, как бронзовый. Суны, почтительно подползая к хану, предложили халат желтого шелка, расшитый изображениями черных драконов. Тенгиз, приняв услугу, приказал подать сапоги: босой монгол — не монгол.

Ханские братья, подражая старшему, тоже разделись догола, избавились от излишнего тысячника и сотники, и все, очень похожие один на другого крепкой статью смуглых тел, стояли, требуя халатов и себе. Суны, роясь в грудах мягкой добычи, попевали за всеми желаниями: умный, быстрый слуга становится господином своего господина.

Размахивая руками, наступая в блюда, расставленные повсюду, но крепко держась на ногах, великий хан выбрался наружу. Уселся свободно, как дитя или как зверь, которому нет дела до чьих-либо глаз.

Тем временем два-три монгола, достав свои костяные дудки, встретили возвращение хана пронзительной мелодией пастушеской песни. Откинув голову, Тенгиз запел, как поет монгол в степи, в прекрасной пустыне, научившись у ветра да у волка. Другие вступили, каждый старался взять выше и тоньше. Суны, сидя на пятках, слушали — мотив был понятен. Робко они вошли в хор господ. И скоро, распылив рты в широких улыбках, дали своим голосам полную волю.

Все отдались песне, а песня взяла каждого и подняла его в нечто более высокое, чем будни, на время в шатре Тенгиза сравнила монгола с суном. Они родственники, поэтому и растворялись в Поднебесной ее азиатские завоеватели.

Чужой не судья в песне другого народа. Но и чужой, кому доводилось слышать вой ветра и волчий вой с седла, либо на степной стоянке, или в камышах безлюдных озер,

не отнесется с презрением к песне кочевника, хотя она и может быть ему неприятна.

Легко перейти границу между двумя народами, даже если эта граница — Океан, и дружески протянуть руку. Трапезу разделить труднее: каждый привык к своему, и любимое блюдо соседа бывает противно.

Но как быть с другими границами? Почему непроницаема стена искусства? Легко сказать — я не понимаю. Нет ничего опаснее непонятного.

Тускнел, будто уставая, огненный дракон — временный правитель Су-Чжоу. Утомив горло, монголы затихли и ленивее, а все же в бхоту, принялись кормить отдохнувшие животы.

Ночь медлила, звезды стояли на месте. Хлопотливые суну возились с блюдами, с котлами, кувшинами, мисками. Наводя порядок, они расчистили место перед Тенгизом, расстелили ковер. Бывший правитель Чан Фэй вывел на ковер трех женщин, снял с них темные покрывала и, склонившись перед великим ханом, отступил, оставив женщин, как бабочек, покинувших пыльный кокон.

Этих пленниц Тенгиз взял в Туен-Хуанге и, ни разу не вспомнив, таскал за собой. Чан Фэй опознал храмовых танцовщиц. Случайная несвоевременная прихоть — они покинули свое жилище в Тысяче Пещер для какой-то покупки — отдала их в руки монголов.

Чан Фэй разыскал в мешках с добычей подходящие драгоценности, сам убирал танцовщиц и подбодрил несчастных, запуганных женщин шариками из смеси макового сока с соком индийской конопли. Бывший правитель изредка пользовался этим сильным средством. Напрасно Чан Фэй рассчитывал если не на благодарность, то хотя бы на удивление великого хана. Тенгиз принял бы как должное покорность самого Сына Неба и в эту разгульную ночь, и завтра, на поле сраженья.

Обитательницы Неба апсары награждают своей благосклонностью владык и героев. В земных храмах о нежных небожительницах напоминает высокое искусство танцовщиц. Тенгиз вспомнил: таких женщин он видел нарисованными на стенах пещер Туен-Хуанга по соседству с каменным спящим Буддой. Полет, хоть без крыльев.

Такие же. Тонкие босые ступни. Темные шаровары из легкой ткани, стянутые на поясе шнурком. Браслеты над локтями, тяжелое ожерелье, причудливый убор на волосах.

Так же опустив глаза, будто стыдясь наготы груди, танцовщицы держали тонкие флейты. Такие же, но — живые!

Скользя тонкими пальцами по дырочкам флейт, они свистели нежно и согласно. Песня без слов, слабая, как тонко звенящий писк камышового листика на ветру, была, как и дикий будто бы вой монгола, голосом Великой Азии. Звук флейты слаб. Но былинка, стонущая под ураганом, отдается вся целиком. Разве этого мало! Разве не э т о Величие!

Флейты пели. На холмах ветер играл с метелками полыни, всадники лились через холмы, как воды переполненных озер, пригнувшись в седлах, как барсы. Тенгиз стал и ветром, и степью, и всадником, неотличимым от всех, и ханом, который, собрав всех кочевников, вел их съезд всех оседлых: на востоке — до Океана и на западе — до той же границы.

Флейты пели, опираясь сжатыми кулаками на голые колени скрещенных ног, Тенгиз следил за чудесным явлением, и все, немые как рыбы, тянулись, но давая волю только глазам.

Медленный танец возникал в легких, будто тайных изгибах тела, в осторожных движениях ног. И что-то длилось вместе со звуками флейт, внутри звуков, около них, совершенно единое, неразлучное, как запах и дыхание.

Внезапно одна из трех, высоко подняв правую ногу, коснулась узкой ступней бедра левой и, приподнявшись на носке, застыла. Замерли обе другие танцовщицы. Флейты умолкли. Перед Тенгизом был рисунок на стене пещеры. В нем был смысл... Это чары, не нужно искать: познание погубит прекрасное.

Танцовщицы ожили — опять они играли на флейтах, опять исполняли священный танец. Не для хана. Не из страха. Для себя — они любили танец и флейту.

Они исполняли обряд. Из тех, что созданы индами, чтобы общаться с богами.

Рожденный вдохновеньем, священный танец созрел и отлился в законченность изреченного Слова. Он стал высоким искусством. Произносимый движениями, он сделался Глаголом среди других Глаголов ритуала. Он утвердился, как равный, среди молитв, возгласов, огней, порядка процессий, звона, пения, курений, священных растений и животных и даже изображений богов.

Захватив чувства монголов, храмовый танец дал невеждам опору для непонятной им, но властной мечты. Такой же темной, как сами монголы...

Ханский сун Фынь Мань, начальник боевых машин в звании советника, как равный устроился в ханском шатре среди монгольских начальников. А! Когда дверь великого хана будет открываться избранным, и тогда Фынь Мань переступит высокий порог, если смерть пощадит его среди случайностей осад и сражений.

Не глядя на танцовщиц, Фынь Мань, который оставался в монгольской одежде, подкрался к бывшему правителю Су-Чжоу. Молча подталкивая перед собой отца, сын выбрался из шатра. Старший пятился, младший наступал. Они прошли через цепь стражи. Всадники спали в седлах. Расставив ноги, спали и лошади. Здесь не степь, здесь не было стада, за которым лошадь несет сны хозяина-пастуха.

В сотне шагов от шатра Фынь Мань приступил к мести:

— Здравствуй, великий ученый, монгольский повар и поставщик женщин. Каким способом новоявленный Сюэ Лян спасет Поднебесную, вознеся свое имя в список героев?

Чан Фэй не ответил. Фынь Мань, уверяя себя, что отец притворяется, издевался:

— Ты! Законодатель древних законов! Где твоя верность государству? Хао Цзай выбрал смерть. А ты надеваешь на монгола цвета Сына Неба? Ты хитер. Ты собираешься остаться правителем пепла?

Чан Фэй молчал. День был длинен без меры, а ночь бесконечна. Его тошнило, в левом боку толкалась колющая боль, внутренности грызли крысы. Согнувшись, Чан Фэй тщетно пытался облегчить себя рвотой. Фынь Мань концом ножа приподнял подбородок Чан Фэя.

— Гляди мне в лицо! — Неужто отец не узнал его? Неужто все сказанное было напрасным?

Борясь, Чан Фэй внушал себе: «Я нашел щит Сюэ Ляна, нашел, держу крепко, монгол не отнимет, не отнимет, не отнимет... Что, для чего, для чего?» — сбиваясь, Чан Фэй терял нить.

Между отцом и сыном просунулась лошадиная морда. Проснувшийся сторож хана осадил коня: это не драка, запрещенная в войске. Свой хочет расправиться с суном, пусть режет.

Фынь Мань оттащил отца ближе к пожарищу, на свет. Стащив с головы монгольскую шапку, он лез на Чан Фэя, называл себя, грозил, но не добился ни слова.

Как волк барана, он приволок Чан Фэя в шатер. Тут он чертил на своей ладони цзыры, с их помощью рассказывая о своих похождениях, цзырами же поносил отца, виновника бедствий. Советники Чан Фэя лезли, как мухи на падаля, пытаясь что-то понять, и Фынь Мань отбивался локтями.

Что-то дошло до бывшего правителя. Он пытался ответить, но руки его тряслись и цзыри были непонятны. Не понял Фынь Мань и крушения отца.

Ненавистный, непроницаемый, бесчувственно-холодный, сильный, невозмутимо-спокойный отец — враг. Точно такой же выдумал некогда подчинение родителям, как высшую добродетель детей, что бы ни совершали родители.

«И все же он узнал меня, он только притворяется, — убеждал себя Фынь Мань. — Он только прячется под хитрым обличем немощи. Знаю, дать ему власть, и он сдерет с меня кожу...»

На немом языке цзыров Фынь Мань обещал отцу разоблачение перед ханом — и забился за спины монгольских начальников. Он слишком много ел, его подташнивало. Он скорчился и плакал одними глазами, и слезы лились по неподвижному лицу, как бывало бесконечно давно, в детстве, которого не было.

Фынь Маню было хуже, куда хуже, чем в жалкие дни голодной беспомощности после отрешения от родительского очага. Хуже, чем в первые — длинные-длинные — годы солдатских унижений за миску грязного риса и кусок тухлой рыбы, когда одна за другой ломались кости души.

Были глупые мечты загнанного пса о мести начальникам, товарищам и главному врагу — отцу. Были! Потом он забыл, успокоился, устроился, он ехал в телеге среди боевых машин, забавляясь: в Су-Чжоу, может быть, он увидит правителя издали, но сановник никогда не узнает сына...

Он дал мести воскреснуть, и месть обманула, ибо верно кто-то писал в старых книгах: мстящий безумен. Все ложь, бессмыслица, грязь, жизнь — клоака. Счастливы нерожденные...

Встревоженные советники Чан Фэя напрасно добивались приказа, как поступать перед лицом новой беды и грозного завтра. Чан Фэй мысленно искал знак, способный выразить день без завтра или ночь, за которой не последует утро. Черные цзыры сомкнули перед ним ряды, как армия перед боем. Чан Фэй метался, подобно солдату, потерявшему место в строю. Глухо и жестко, будто люди, цзы-

ры отвергли Чан Фэя. Ни один не захотел помочь, ни один!

Ученый высшей степени, непреклонный правитель, который держал Су-Чжоу и подчиненных жесткой, как из нефрита, рукой, бормотал обрывки изречений. В них и лучший гадалщик не прочел бы пророчества. Советники не смели понять, что в Чан Фэе еще бодрствовала память, но разум ушел, может быть, навсегда. Прижавшись друг к другу, как куропатки в морозную ночь, суны притихли. И они катились к пределу, за которым не поднимается солнце.

Ночь не кончалась, ночь не могла кончиться. Падали тяжелые головы. Скорчившись, подтянув колени и пряча между ними кисти рук, старый тысячник устраивался, как у себя, в уютной юрте, на толстой кошме из пахучей овечьей шерсти. Другие вытягивались, как укушенные, корчились, будто от ожога. И успокаивались.

От сунских напитков темная вода заливала глаза, шумело в ушах, звуки двоились, как двоились и образы.

Не как в монгольской степи, не как в юрте из пропитанной салом кошмы, здесь в шелковый ханский шатер на сунской земле вползали чужие сны. Мягколапые, грузные, черные, они вертели длинными верблюжьими шеями, жевали беззубыми челюстями:

Потух, будто сразу догорев, Су-Чжоу. Померкли звезды. Не стало твердой земли. Колдуны, подняв ханский шатер, потрясли его, и в бездонную темноту посыпались спящие. Нужно было проснуться, прогнать подлые сны, но не стало сил, и крик застрял в горле, твердый, как конский навоз на снегу.

— Подними глаза, — приказал великий хан. Танцовщица стояла перед ним на коленях, прижимая к впадине груди умолкшую флейту. — Подними глаза!

Не сердясь за непослушание, Тенгиз коснулся пальцами дрогнувших век и вглядывался в зрачок, ловя что-то скрытое во влажной глубине. Что ему нужно? Чего хотел этот, чужой и страшный, которого танцовщица не боялась?

Положив руки на плечи женщины, Тенгиз искал ее глаза, притягивая слабое тело. Длинные пальцы хана, способные согнуть клинок, охватили шею кольцом. Смертная хватка нарастала. Женщина вытянулась, не сопротивляясь. Опыренная соком мака и конопли, она удивленно глядела в глаза монголу, не понимая, что происходит. И вдруг сра-

зу поникла, уходя из жизни так же случайно, так же без воли, как явилась на свет.

Разжав пальцы, Тенгиз положил женщину на ковер, дождался, когда слабая жизнь вернулась в слабое тело, и погладил жесткой ладонью холодную щеку. Он не хотел убивать. Он и шутил, и сбрасывал чары колдовского танца. Сбросил? Да, но нечто осталось между ним и этой танцующей. Пусть...

Светало. Едва заставив ноги слушаться, Тенгиз встал, один непобежденный, единственный уцелевший в поле. Тела валялись — трупы, скошенные мечом разгула. Скорченные, как младенцы в утробе матери, бесстыдно разметающиеся, как Ной перед сыновьями, переплетенные, как враги, перервавшие друг другу горло. Ни один не приподнялся навстречу хану, никто не пошевелился. Даже услужливые суны не выдержали. Они сбились в плотный ком, как змеи весной, и чья-то рука с обвисшей кистью торчада, как змеиня голова на толстой шее.

В опустевших лампах дотлели фитили. Молчание лежало, как зимний снег в овраге — глубокий, ровный, без черточки следа, будто все замерло навсегда и никто никогда не очнется.

Пора солнцу! Где солнце? Уже светло. Свет без солнца давил плечи Тенгиза, легкий свет гнул монгола, который без усилия взбрасывал на плечо самого крупного барана.

Тяжело, не поднять... Тенгиз сопротивлялся. Ощущая присутствие высшей силы, он боролся с ней, как в других пустынях и горах некий человек боролся с жителем небес — не за добычу, не за власть, а просто из гордости.

Предали ноги. Тенгиз сел, чтобы не упасть. Опираясь на левую руку, хан приподнялся, схватил правой брата, лежавшего рядом.

— Встань, встань! — приказывал Тенгиз шепотом, думая, что кричит. — Встань!

Тяжело дыша от гнева и напряжения, Тенгиз приподнял спящего. Голова брата вяло отвалилась, будто шея лишилась костей. Тенгизу показалось, что брат не дышит. Разжав пальцы, хан дал телу повалиться на место. Хан хотел позвать — и не смог.

«Нет! Не хочу! Нет силы, которая сломит Тенгиза! Встань!» — приказывал хан сам себе. Нет, срок пришел. И на Тенгиза, как на других, садился грузный, черный сон, как других, он жевал Тенгиза беззубыми, мягкими челюстями, мял мягкими лапами, крал силу. Не ранил — без боли, без раны сосал кровь. Молча...

Танцовщица сидела рядом со спящим Тенгизом, чуть-чуть поглаживая виски монгола. Осторожно, концами пальцев она делала круговые движения. Ее научили не одному искусству танца. Овладев врачеванием руками, она умела изгонять головную боль и усыпляла страдающих бессонницей. Она хотела, чтобы этот страшный, могущественный человек проснулся свежим, здоровым.

Ему понравились танцы. Он едва не задушил ее. Она простила сразу. Могло быть и худшее. У него Глаз Будды, он особенный. Он просто слишком силен, но ведь шея цела и не болит.

С помощью сока мака и конопли она построила свое великое будущее: она и ее подруги будут танцевать и играть на флейтах только для него. Так будет, будет: ведь он уже затронут Глаголом-Словом танца, она знает. И он не будет жесток...

Женщину терзал особенный голод — сразу. Его вызывает сок конопли. Продолжая правой рукой — в правой сильнее излучения — делать круги над лбом Тенгиза, женщина запустила левую руку в глубокое блюдо с остатками какой-то пищи. Мясо и еще что-то острое. Она ела и ела, жадно, быстро, пока не опорожнила все. Она облизала руку, палец за пальцем, не спеша и тщательно, как кошка. Вскоре она незаметно заснула, опустившись на широкую, медную грудь хана.

Сегодня солнце будило монголов, а не монголы — солнце. Приподнимая опущенные полы ханского шатра, телохранители Тенгиза заглянули раз, заглянули второй и вошли, не слишком медля. Здесь слишком крепко спали, слишком крепко. Хан Тенгиз еще не был столь велик, чтобы его не решались будить и устраивали совещания перед закрытым шатром.

Принялись за крайних — никто не просыпался. На тревожные крики сбежался лагерь. В шатре никто не дышал, многие были уже холодны.

Сорвали шелковые пологи, чтобы дать больше света. Хлопотали лекари, приступая к Тенгизу. Под окаменелым телом женщины лежал бездыханным великий хан. От смерти нет лекарства.

— Мы думали, что он хан, а он — простой человек, — простодушно сказал всадник из чьего-то десятка.

Покинула жизнь или покинули жизнь и оба ханских брата. Из почти семидесяти человек, которые праздновали победу над Су-Чжоу в ханском шатре, удалось разбудить только пятерых.

Погибший Су-Чжоу отомстил каким-то ядом, которым угостились пирующие. Кто виновник? Суны, конечно. Но все суны, служившие гостям Тенгиза, вместе с тем, кого прозвали ханским, тоже умерли.

Тайна судьбы известна Небу...

Потеряв начальников и великого хана, монголы не превратились в толпу. Повинуясь привычке, они сомкнули роды и племена. Тенгизовы десятки, сотни и тысячи, сразу рассыпавшись, сразу же и собрались в старые племенные отряды. Синие монголы, вознесенные было Тенгизом на высоту главенствующего племени, стали одними из равных.

В то время почти никто не осознал величины потери, так как мало кто успел постигнуть замысел Тенгиза. Поход обернулся излишне долгим набегом. Спад напряжения казался усталостью. Дни укорачивались, пора возвращаться к себе, на зимовки, к долгому сонному покою.

Вспыхнули стычки из-за добычи. Мелкие стычки. Завоеватели превратились в разбойников, а жадность грабителей удовлетворяется малой кровью.

Пленники разбегались, прятались, кто как умел, в страхе перед всеобщим избиением. Но занятые мелочами грабители, боясь гнева неизвестных сил, думали лишь о том, как поскорее покинуть проклятое место.

Первыми Тенгиз покорил найманов. Они и ушли первыми. За ними поспешили татары и другие.

Только единоплеменники Тенгиза проявили способность к чему-то более высокому, чем забота о возвращении домой. Устроив облаву на разбегавшихся сунов, синие монголы заставили их собрать в одно место и сжечь все боевые машины.

Синие тронулись через пять дней, оставив в добычу хищным птицам и зверю непогребенные трупы чужих.

В хвосте обоза телег и вьючных животных десятка три верблюдов везли защитные тюки с телами умерших на ханском пиру. В двух переходах до Туен-Хуанга монголы остановились в пустынном месте. Несколько выбранных всадников погнали в сторону от торной тропы, к предгорьям, кучку пленных, которые вели верблюдов с телами хана и других начальников. Через два дня монгольские всадники вернулись одни.

Место погребения осталось тайным навсегда. Пустыня не только молчит. Она — что только и важно — хороший учитель молчания.

Суны не молчали. Гонцы, понуждая плетью лошадей, везли в столицу Поднебесной крикливо-напыщенные извещения сановников: в ужасе перед содеянным «степные черви» бегут, а их разбойничий хан «грызет землю», убитый своими же из раскаяния перед Сыном Неба.

В разоренном Туен-Хуанге возились уцелевшие жители. Похоронив убитых — по необходимости, а также из благочестия, — каждый в меру сил восстанавливал свой разрушенный угол, пользуясь разрушенным у соседей, погибших в день разгрома. Как всегда, кто-то наживался раскопками развалин, особенно коль удавалось добраться до имущества, припрятанного бывшими хозяевами при вестях о кочевниках либо еще раньше: с начала веков люди поневоле щедры на клады.

Возвращаясь в степи, монголы не могли и не хотели обходить Туен-Хуанг. Рассыпавшаяся армия Тенгиза прошла несколькими волнами и совершенно мирно. Наступательный порыв погас. С детским простодушием, будто бы ничего не было, монголы предлагали ненужные им вещи из поделенной добычи. Такого нашлось много. Те из жителей Туен-Хуанга, у которых были серебряные та-эли или пригодные монголам товары, совершили выгоднейшие обороты. Не первый раз война подсаживала на коня будущих богачей, для которых босвой рог превращался в рог изобилия.

Очень скоро Поднебесная, обильная людьми, как Океан водой, не замечая убыли, плеснув живой волной своего полноводья, наполнит до отказа и Су-Чжоу, и Туен-Хуанг, и вольные пригороды. Здесь ворота тропы. Пока Запад и Восток не найдут других путей для общения, везде на тропе вместо разрушенных будут воздвигаться новые стены, чтобы жителям новых домов было на что надеяться в ожидании новых войн и разорений.

Путешественники разных народов и сословий, успевшие укрыться от монголов в Тысяче Пещер, воспрянули духом. В начале вынужденного сообщества они, обмениваясь необходимыми словами, приглядывались: что за человек? Скромность мила и в родной семье. В пути же внимание к спутнику, соединенное с терпимостью да с вежливым умолчанием о собственных достоинствах, превращается в

добродетель. В Пещерах неизбежно образовались подобия товариществ. Связью служили, как бывает в трудных обстоятельствах, характеры людей — они в дни испытаний проявляются сами собой.

Слабые души льнули одна к другой, делясь страхами, и находили утешение у служителей разных религий, своих невольных и добровольных благодетелей.

Человек не камень. Дружились и сильные, чтобы поддержать себя суждением о том, что стоит выше мелочей жизни одного человека.

В обширной келье Бхарави, одного из старейших со-членов буддийской общины, беседовали четверо.

— Так было, так будет. Пока человек живет, он надеется, — говорил русобородый мужчина. — Надежда — прекраснейшее свойство души. Без надежды кто же отправится из дома, кто начнет дело, даже самое малое? У нас есть женское имя — Надежда. Бывает, обращаясь к князю, у нас говорят «надежда-князь». Не льстят этим, нет, но обязывают.

В пещерной келье было сухо. Сверху, из отверстия, пробитого в каменной плите — естественной крыше, падало достаточно света. Снаружи продох был искусно защищен от песка, и днем здесь не нуждались в лампах.

Русобородый, именем Андрей, возвращался из Поднебесной на Русь. О Руси знали как о сильной западной державе между Итилем — Волгой и родственными русским по крови чехами и поляками. На севере Русь выходила к холодным морям, на юге — к Евксинскому Понту, иначе Русскому морю.

Андрей побывал в Поднебесной для продажи мехов, надо думать, большой ценности, и возвращался с малым весом дорогих товаров да с двумя спутниками, тоже подданными русского князя, но по виду нерусского племени. Так знали со слов Андрея и большим не интересовались.

Равви Исаак, ученый еврей из древней Александрии, ныне арабского владения, ехал в Поднебесную. Он заставлял Андрея рассказывать о сунах, с терпением сильного человека мирясь с неизбежными повторениями.

— Все разоренное суны восстановят по-прежнему, — говорил Андрей. — Они въедливы, упрямо-настойчивы, цепки. В труде себя не щадят, неприхотливы.

— Драгоценные свойства, драгоценные. Заслуживают всяческого поощрения, — заметил равви Исаак.

— У сунов я жил недолго, — продолжал Андрей. — Едва год. Речи их чуть подучился. Грамота у них трудна

неимоверно. Даже со своим человеком нужно много соли съесть... Однако ж смотрел, видел. Вот, к примеру, как в Нанкинге сун начинает пробиваться в купцы. В поиске счастья пришел издалека, продав в родном месте все, что имел. Зажав малую толику денег, он пробирается в город. Питается подаянием, нет милостыни — ест траву, пробавляется бог весть чем, сунны способны есть все. И то сказать, жить у них дорого, с нашей Русью невозможно и сравнивать. В Нанкинге пришелец, ночуя под небом, перебивается любой работой, согласен на все, лишь бы как пропитаться. Таких, как он, там много. На самую трудную работу за безделицу заработка согласны сразу идесять, и сто человек, а хозяину нужен один. Пришлый голодает зло, но своих денег не тронет. Они для него — надежда. Так перебивается, пока не узнает города, пока не поймет, с чего начинать. Вот решился. У него лавочка-конура с товаром. Он в ней спит, скорчившись ужом. На рассвете открывает торговлю. Сидит голодный, пока не подсчитает, что есть барыш. Тогда купит лепешку, с которыми в рядах ходит такой же, как он. Если не заморит себя, если не пропадет от мора либо какой болезни, то через сколько-то лет начнет богатеть. Тут зальется жиром, станет важным и давит других, как его давили, без пощады. Ибо сам через все прошел, пусть другой терпит.

— Сильные люди, очень сильные, — сказал равви Исаак.

— Сильные, — согласился Андрей, — однако телом слабы и в работе берут терпением, выносливостью. Ремесленники у них хороши. Ткут дивные ткани, кожу выделывают, любую вещь украсят. Режут на камне, на кости, на меди так мелко, что едва видно глазом. Лак наносят слой за слоем с перерывами по многу дней, по два года проходит, пока не кончат. Землю любят, землепашец, не стыдясь, все нечистое несет в поле — без удобрения земля не родит, ибо покоя ей не дают, — и поля смердят, как нужное место. Земледелец работает цепко, не щадя себя. Видел, как на поле из реки носят воду. С двумя ведрами лезут на кручу. Тропинка пробита ногами. Трудно лезть и пустому. Сун же норовит капли не расплескать. Спрашиваю, почему не устроите поудобнее? Говорят — так и деда воду таскали. У них считается: чем древнее обычай, тем лучше. Я поклонился великому труду. Про себя же подумал: хоть бы дорожку-то прорыли. Нельзя... Труд они чтут. Сунский цесарь — Сын Неба каждый год сам с вели-

кой церемонией проводит дерсвянным древним плугом в поле борозду.

— Это очень доброе дело! — воскликнул равви Исаак. — От труда все богатство.

— Кто ж того не знает, — подтвердил Андрей. — Но почёт, я думаю, оказывают больше для вида. У сунов закон — почитать начальников, как дети родителей. Но терпят они от начальников столько, сколько другой не вынесет. Начальников у них бесчисленно много. Налогами их обирают, как курицу щиплют. Нигде подобного не увидишь, ни у арабов, ни у греков, ни у болгар. О Руси не говорю, ибо испристойно хвалиться. Нет, у сунов жизнь тяжкая. Ты, равви, правильно заметил, что они сильные. А случись мор — мрут, как осенние мухи. Да и простой болезни сун легко поддается, сгорает, будто лучина. Стариков у них я редко видел. Жестокости много. Сунов запугивают пытками, мучительными казнями. Почему?

— По закону Моисея тоже полагаются мучительные казни для устрашения злых и возмездия, — заметил равви Исаак.

Со всем пылом молодости русский посол, некогда сздивший в Данию за Гитой, невестой Мономаха, возразил бы Исааку: «В обычаях Руси, в законах Русской Правды нету пыток и казней!»

Усердие пуще разума... Во всех странах люди развлекаются рассказами путешественников. Для развлечения арабы в ученых книгах мешают быль с небылицей, суны, инды тешатся невероятным. Где-то оно существует, чудесное! Однако ж самые странные на вид звери, встречавшиеся Андрею на длинных его путях, своей бессловесностью и повадками выдавали свою общность со всеми зверями. Как не сказать — удивительны различия между народами в цвете кожи, в речи, в одежде, в обычае, даже в пище! Но все одинаково хвалятся своим и все равно недоверчивы к словам иноземцев. В чужой земле ты посол своей земли, по тебе будут судить о твоих. И Андрей ответил Исааку:

— Были великие учителя. Не было великих учеников.

Равви Исаак встрепенулс: русский будто бы намскнул, что нынешние иудеи не так уж верны закону? Не напомнить ли ему о христианах, вовсе неверных Христу?.. Но Бхарави с тибетцем, оценив ответ по достоинству, согласн кивнули Андрею. Остерсгшись свести беседу о большом к спору о малом, Исаак смолчал. Андрей продолжил:

— Скажу тебе, и сам ты скоро убедишься: сунам устрашение не в страх и мучительство от властей не в науку.

Шайки разбойничают на дорогах, нападают даже на селенья, такими же пытками вымучивают у жителей их достояние. Грабят, убивают и в больших городах. А воры, сговорившись между собой, собирают с честных людей собственные налоги-поборы. В Нанкинге я платил вора́м через хозяина, у которого жил. «Иначе, — говорит, — у тебя могут унести все имущество, а мне плохо будет и от воров, и от начальника, которому ты пожалуешься на покражу». И, будучи в Су-Чжоу, я платил вора́м, пока ждал каравана. Слышал я, будто бы воры начальникам дают от себя, чтобы те воров не ловили...

Равви Исаак вздохнул. Лихоимство власть имущих клеймило и страны у берегов Средиземного моря. Ему ли не знать! Его народ был вынужден откупаться и умел покупать чужих начальников. Хорошо было бы услышать о местах, где подобного нет.

— Много дурного, много зла, — сказал третий собеседник, немолодой тибетец в желтой одежде, с темным лицом. — Простите меня, дорожные братья, за повторение давно вам известного. Но что еще скажешь! Все борются со злом злом же, и от этого зло не слабеет. Не откажусь от возмездия, говорит обиженный. И, воздавая, превосходит ту меру своего страдания, за которое мстит. И замыкает круг. Однако же мир очень стар...

— Да, мир стар, — продолжал тибетец. — Ты, человек из далекой Руси, сочувствуя сунам, говорил о дурном управлении. Жадные правители готовят ложе из острых ножей если не себе, то своему роду. Суны будто бы смирны. Будто бы. Позволь, я расскажу тебе о страшных делах. Сообщение об ошибках чужих правителей есть один из лучших подарков, которые может сделать своим правителям вернувшийся из дальней дороги. Слушай же! Восемь или девять поколений тому назад товары прибрежных провинций Поднебесной плыли морем кругом Индии к персам, к арабам, а от них в земли дальнего Запада. Многие купцы-иноземцы осели в приморском Ган-Чжоу, откуда распространились до столицы Поднебесной. Они скупали товары и увозили их на своих кораблях. В Ган-Чжоу они построили себе внутренние городки, и жили арабы с арабами, иудеи с иудеями, христиане с христианами. Купец, ты знаешь, называется перепродажей сработанного другим и хочет купить подешевле. Я не осуждаю, но говорю: трудно соблюсти меру, лучше не искушаться...

— Мы молимся, чтобы не впасть в искушение, — сказал Андрей.

— Я уважаю твои молитвы, — ответил тибетец, — но слушай дальше. Суны самолюбивы, их глаза оскорблялись самоуверенностью иноземцев: то, что прощают или терпят от своих, втройне ненавистно в чужих. Ни сунским купцам, ни сунским ремесленникам не нравился жир торговых выгод, которым наливались иноземцы. И вот, на горе, пришли годы правления Сына Неба И Цзуна. Этот недостойный, мечта совершить нечто великое, неизвестно какое и непонятно зачем, бесконечно нуждался в деньгах для бессмысленной роскоши. Окруженный лстецами и дурными сановниками, он уподобился безумному, который, приказывая лить воду в сосуд без дна, не видел, что вода уходит и окрúга превращается в болото. И Цзун за деньги отдавал сбор налогов иноземцам. Иноземцы выдумывали новые налоги с пользой для себя и Сына Неба. Нашептывая не Сыну, но воистину Пасынку Неба и прельщая золотом, они установили цены на шелковые ткани, на нить, на коконы. Такие цены, что производящие не имели чем прокормиться. Но уйти не могли. По законам И Цзуна беглых ловили, наказывали увечьем или лишением жизни. Произошло восстание. Вождем был некий Гуан Чжао. Одни преувеличивают его значение, другие преуменьшают. Думаю, искра на крыше одного дома после долгой засухи сжигает весь город. Так и Гуан Чжао. В бедствиях восстаний уничтожается многое, создается же мало: такова неизбежность, когда правящие не исполняют обязанностей. Тогда, во время восстания, восемь или девять поколений тому назад, в Поднебесной повсюду избивали иноземных купцов — иудеев, арабов, христиан. В Ган-Чжоу таких убили почти двести тысяч, другие упоминают о пятидесяти тысячах. Не счет имеет значение, но то, что озлобленные долгим угнетением суны истребили всех иноземцев, всех до одного, и никто не получил пощады. Городки иноземцев были сожжены, имущество разграблено, хотя народы не богатеют грабежом... Среди убитых было очень много ни в чем не повинных. Они ответили за корыстность своих близких и за бесчеловечную жадность И Цзуна. Таков Закон, и я склоняюсь перед Законом, не понимая. Я только человек. Потом корабли иноземцев, осмелившихся приплывать, сжигались, а людей убивали. Неповинный шелк стал ненавистен жителям Поднебесной. В прибрежных провинциях люди повсюду вырубили тутовые деревья, и шелковые черви пропали от голода. С той поры в Поднебесной еще более невзлюбили иноземцев. Итак, мир очень стар. И люди мстят за боль болью...

— Мы знаем, — начал Бхарави, продолжая мысль тибетца, — что воздержавшийся от возмездия награжден более, чем если бы дал себе волю. Так говорил и учитель христиан. — Бхарави кивнул Андрею. — Ничто не исчезает. Преступник получает возмездие от Кармы, равновесие восстановлено. Несчастный Тенгиз, быть может, уже очнулся в теле паука или скорпиона. Загубленные им, быть может, вознаграждены перевоплощением в новорожденных детях, чья жизнь даст им возможность заслуги.

— Говорят, здешний правитель Хао Цзай был справедливым? — спросил Андрей.

Бхарави кивнул, подтверждая.

— А правитель Су-Чжоу Чан Фэй был высокомерным, жестоким и хищно стяжательствовал, не так ли?

Бхарави опять согласился. Андрей продолжал:

— Однако же оба они не сумели оборонить доверенные им города. Не знаю, как Чан Фэй погубил Су-Чжоу. Здесь же все случилось перед нашими глазами. Справедливый Хао Цзай не заботился о городских стенах, не дал жителям оружия, не выслал дальних дозоров. Суны презирают всех, кто не сун. Для них иноземец — нелюдь, монгол — червь. Степь краем подходит и к Руси. Кочевники — люди, они храбры. Я говорю о них не как зритель, а как воин и без злобы. Здешние степняки свирепее наших соседей.

— Андрей прав, — сказал равви Исаак, — и я нахожу, что правитель, потерявший город, потерял добродетель.

Бхарави поднял руку, как бы останавливая полет слов:

— Не спешите осуждать! Ты, Андрей, не так много жил в Поднебесной, чтобы понять, что суны могут и что им недоступно. Ты, равви, еще не был у сунов. Не уподобляйся человеку, пожелавшему узнать тяжесть горы песка взвешиванием щепотки за щепоткой на весах торговца золотом. После свершения события один, другой, третий легко указывают: надо было сделать то либо другое... Мало кто замечает, что текущий день непонятен, что рассуждение о прошлом не изменяет прошлого, а будущее остается неизвестным.

— Мы не оскорбляем ничьей веры и не стараемся обращаться в свою, — сказал тибетец. — Мы уважаем тебя, Андрей, и учение Христа. И тебя, равви, и закон Моисея. Мы, немощные и сами слепые, из любви ко всему живому предостерегаем вас: не отстраняйте бога — он един под всеми именами — от участия во всех больших и малых делах. Не вставляйте на этот путь, в конце его вы найдете от-

рицание Неба. Отвергнув Небо, люди потребуют от самих себя всезнания и всемогущества. Будут наказывать себя за незнание и немощность. Они озлобятся и сломаются под непосильной тяжестью. Монголы терпимы к чужой вере, ибо они чтут Великое Небо.

— Мой друг только напоминает, только напоминает, — мягко продолжал Бхарави. — Он напоминает о милости. Иначе люди будут требовать предвидения и наказывать за неумение предвидеть. Будут казнить за неурожай, хотя земледелец вовремя положил зерно в землю, но не случилось дождя. Будут награждать нерадивых, чьи поля обогатились самосевом с прошлой жатвы и орошены тучами, принесенными будто бы праздным ветром.

— Израиль не отступался от бога! — с силой сказал равви Исаак. — Если по воле бога родятся отрицающие его, не грудь Израиля вскормит их. Исполнилось десять веков от разрушения храма, от изгнания. Римляне-гонители создавали богов по своему образу и подобию. Где римляне? А Израиль живет! Греки гнали нас — бог лишил их счастья. Израиль будет жить, из плоти Израиля явится мессия. Через мессию Израиль овладеет вселенной, и тогда завершится путь всего сотворенного богом. Прекратится течение времени, и мертвые восстанут из гробов, и на Страшном Суде каждому воздастся должное. Для дел веры нужен разум, а не милость. Поэтому у нас один бог и один закон, и бог никогда не изменит закона. Ты, Андрей, справедливо говорил о надежде. Но надежда вселенной — это Мессия!

Бхарави и его тибетский гость кивали головами. Да, да, они понимали равви. Они слышали и об Израиле. И суны — приверженцы разума, а не милости, и Надежда Мира согласна называться по-разному.

— Что у нас есть, чем владеет Израиль? — спрашивал равви Исаак. — У нас нет земли, десять столетий мы скитаемся у чужих очагов. Мы не носим с собой бранных изображений бога — он вездесущ. Наш бог и наш закон — таково наше наследство, наша земля, наш очаг. И вот — народы появляются, исчезают, мы же, все потеряв, все сохранили.

Равви Исаак начал гордо, а закончил, вопреки содержанию, угасая. Свесив голову в черной шапочке, с длинными прядями волос на висках, равви Исаак спрятал в ладонях сухое, жесткое лицо. Андрей дружески коснулся плеча равви. Сильному человеку неприятно сочувствие в грусти даже от родных: в такие минуты ласка для него гор-

ше обиды. Но, понимая движение души Андрея, равви заставил себя не отстраниться.

Он молился о жене и детях, оставленных на волю иудейской общины. Его избрали, как знатока закона и языков, для далекого путешествия. Конечной целью был Нанкинг, где иудейская община будто бы нарушала правосудие. Были дела и в других общинах, по пути. Не спеша, уже два года равви Исаак пробирался из Александрии Нильской «дорогой шелка». Он гостил во многих общинах единоверцев-единоплеменников. О нем заботились, его передавали из рук в руки, он нес вести, поучая и учась сам. Он встречал добрых и злых, видел богатство одних общин, слабость и бедность других. Он не напрасно взывал к богатым иудеям, указывая им на обделенных. Сила в единении, иудей обязан помочь иудею. Но везде, везде Израиль живет в унижении. Везде Израиль вынуждается хитрить, обманывать, угождать, покупать, дарить, давать — чтобы чужие терпели его. Ибо везде Израиль живет на чужой земле, и над ним шумят чужие знамена, и нет среди чужих прямого пути, а кто не гнется, тот будет сломан.

Равви Исаак молился, поминая общину в Су-Чжоу. Их было немного, они погибли в чужой расправе, между чужими знаменами, затоптанные, как слабый источник под копытами взбесившегося стада...

Исаак вез денежное письмо для су-чжоуских единоверцев: деньги опасно возить. Теперь же ему не хватило бы на путь до Нанкинга. Русский выручил, сам предложив талли. Взамен Исаак дал письмо на кашгарскую общину, но русский не согласился получить заемный рост. Он благороден — Исаак судил не по услуге, так же как судил Бхарави и тибетца. Подобных Исаак встречал в пути не однажды. Встречи с ними утоляют голод души, с такими искренность не опасна.

Честь гостя — в руках хозяина, и чрезмерность внимания к гостю близка к унижению его.

Будто не замечая скорби равви Исаака, Бхарави и тибетец беседовали с Андреем.

— Скажи, как люди твоей земли общаются с Небом?

— Ответ на такое превосходит мои силы, — начал Андрей. — Я попытаюсь, но не будьте строги ко мне. — Он продолжал медленно, как посол, который излагает главное: — При прадедах русские князья приняли христианскую веру, и наши люди крестились толпами. В моем детстве священник научил меня верить в чудо озарения истиной, которая свыше пролилась на Русь...

— И это благо, — отозвался Бхарави, — вера в высшее возвышает меня, и души людей ищут чуда.

Соглашаясь, Андрей наклонил голову. Подумав, он продолжил:

— Мужая, я понял — к тем дням обветшала прежняя русская вера. Такое же было у римлян, у греков. И у них христианство заменило их прежнюю одряхлевшую веру. А к памяtnому для нас году крещения Руси многие русские уже были христианами. Да, деревья и злаки, где ни растут, все одинаково питаются водой из небесных туч. Этим примером я хочу вам сказать, что моя земля и до своего озаренья учением Христа не была темным, диким местом. Крестившись, мы сохранили былые законы и обычаи. В речи нашей, не кривя душой, мы поминаем имена старых богов, ибо мы не стыдимся прошлого. И у нас не преследуют тех, кто еще держится старой веры. У нас нет гонений на инаковерующих людей других народов, тогда как греки, латиняне, арабы жестоки к иноверным.

— Проповедующий насилием — враг самому себе, — заметил Бхарави, — такой губит свое учение.

— И я осуждаю таких, — сказал Андрей. — Но что еще мне сказать? Судить о сущности высшего я не могу. Бога я чту в чести, в любви, надежде, милосердии, разуме...

— Да, это его имена, — сказал тибетец. — Их много. Мудрец твоей веры, не помню его трудное имя, назвал бога Владыкой Тишины. Вспомним еще одно имя Неба — Покой — Мир Души. Покой есть движение, в нем Душа, оплодотворяясь Любовью, разрывает Круг вещей. Безмерно усилие бабочки, сотворяющей себя из личинки. Безмерно усилие личинки, сотворяющей из себя бабочку. Разум соблазняет человека непокоем, и человек бежит и бежит, но внутри Круга, — и он неподвижен.

Андрей взглянул на тибетца, отвел глаза, но темно-коричневое лицо будто осталось перед ним, цвета старого луба, в странных твердых морщинах. Без возраста, каменно-спокойное и такое грубо-чужое, что не назовешь и уродливым. А под ним — те же заботы, те же тревоги обо всем, обо всех. Живая душа, свой! Такие встречи на крутой лестнице дней — это пир, это высшая роскошь. Андрею захотелось встать, крикнуть: о вы, братья мои! И вдруг его потянуло на Русь, домой, так потянуло, как, может быть, никогда еще за долгие годы странствий.

Мгновение остановилось, щедро помедлив. Потом время вновь двинулось в будущее.

— Есть еще знание и незнание, — сказал Андрей. — Знай сильные духом, как редка их сила, они были бы куда храбрее. И умные тоже. Ведь редкость и ум. Стало быть, сомнение в себе тоже от бога?

— Это сказано справедливо, — одобрил Бхарави, а тибетец улыбался. Радуюсь удачно выраженной мысли, он сказал:

— Незнание нужно, как и сомнение. Они могут оградить человека от искушения насилия, как перила моста ограждают от падения тех, кто боится высоты.

— Есть и третье — хитрость, — продолжал Андрей. — Она не стеснена. Она способна нагло попирать и силу, и ум. Несправедливо это как будто. У нас говорят: «Бог знает...» Много нужно работы, чтобы построить дом, который один человек развалит за утро. Хитрость... Горькое презрение сильных и умных — мед перед ядом презрения хитреца.

— Это тоже правда, — согласился Бхарави.

— А ты знаешь, о каком яде я думаю сейчас? — спросил Андрей.

Трое невольно потянулись друг к другу, и Бхарави ответил за себя и за тибетского гостя:

— Знаем!

— О яде, который убил?

— Да, да, — подтвердил Бхарави и, читая мысли русского, продолжал: — Может быть, когда-либо откроется, кто остановил Тенгиза, сына Гутлука, соком грибов или чем-то еще. Но думаю, не откроется. К чему? Совершившееся — совершилось.

— Мы — точно братья, — сказал Андрей. — Ничто не изменится, если имя убийцы — Случай, Судьба, Небрежность... Таких слов много, и мы, не соглашаясь со злой волей, возлагаем надежду на божий суд. Так ли, иначе ли, но суны имеют в монголах опасных соседей. Что будет?

— Сейчас — ничего. Даже война нуждается в отдыхе. Скоро пойдут караваны. Ты без помехи уйдешь на запад, он, — Бхарави кивнул на Исаака, погруженного в молитву, — на восток. Пока — будет мир. Суны — множество, но им хватает пределов Великой Стены.

— А потом? — спрашивал Андрей. — Чего ждать потом?

— Потом... Суны и сильны, и слабы. Верховная власть развращена. Монголы ленивы, жестоки, как дети, любят

оружие и развлекаются войной. Может быть, найдется кто-то среди них же, только среди них, кто научит их находить счастье в мире. Но, не умея трудиться, они скучают, скучают... Им снятся походы.

Наверху смеркалось. Из продуха в каменной плите-крыше падал тусклый, слабый свет, и пещера-келья казалась погруженной в туман. За дверью был слышен шорох многих ног, издали, из храма Будды, доносился глухой звук меди.

— Не знаю, не знаю, — повторял Бхарави. — Ты заставил меня гадать о будущем. Это не нужно, не нужно... Время то стремится, то замедляется. Не знаю. Может быть, Брама спит и грезит, а мы, вселенная, все, что движется и что неподвижно, — только сны Браммы. Что я знаю? Может быть, есть нечто совсем иное, совсем. Нечто непостижимое для нас и находящееся вовне. Что могу я сказать? Я — тень. Я только сон...

На тропе восток—запад—восток встречались и расходились караваны. Один — на восход солнца, другой — на его закат. Самый умный следопыт не мог бы сказать, куда же ведет тропа, так как число встречных следов было одинаково.

Синие монголы развлекались бездельем, оружием, конской скачкой и рассказами об удачных делах войны. В сумерках пряный дым кизяка поднимался сереньким столбиком в холодеющем воздухе. Кто-то поминал Тенгиза. Того, кто стал великим ханом и кем-то был побежден на пиру после взятия сунского города Су-Чжоу.

Кто-нибудь из очевидцев в который-то раз повторял, по-детски дивясь виденному:

— И мы пришли. И он был уже без дыхания. И на нем лежала мертвая женщина. И тогда мы поняли — мы думали, что он хан, а он был человек. Как я, как ты...

Коль так, то чему удивлялся рассказчик? Что за беспокойство ему хотелось будить в себе и в других? И почему он нуждался в подтверждении смертности даже тех ханов, которые могли сделаться великими и не сделались ими по милости или из зависти Смерти?

Вместе с Тенгизом умерли другие сыновья Гутлука. В семье остался единственный мужчина, сын Тенгиза, мальчик Есугей. Дети не годятся в ханы синих монголов. Гутлук, забытый ради Тенгиза, схватил падающую власть стареющей цепкой рукой. Кто-то хотел возразить. Гутлук

избежал большой крови, пролив малую с усмирившей всех стремительной жестокостью.

Так Тенгиз после смерти выиграл еще одно сражение и после зла, принесенного многим десяткам тысяч людей, убил отцовский покой.

Гутлук не учил монголов миру, воздержанию от насилия и гнева. Видение мира ушли из его души. Учить труду он не мог, так как сам не знал труда.

Заранее хан Гутлук выбрал девочку Аслун невестой для внука. Ожидая, пока детям не исполнится шестнадцать, он наставлял их, готовя к большому.

Не замечая, отец Тенгиза повторял мысли сына, дополнял, исправлял. Он создавал наставление — ясу, как хану взять власть и как удержать, одевая железом монгольские сны.

Так, отвергнув покой, хан Гутлук утверждал осужденное им самим. Так как суны убили Тенгиза. Так как месть чутко дремлет в монгольской душе, просыпаясь по первому зову. И потому, что любовь — самое слабое место сердец сильных людей всех племен.

Дальновидно или недалековидно, но Поднебесная быстро простила кочевников. Соблюдая честь — все мы нуждаемся хотя бы в призраке чести, — ученые сановники скрыли от самих себя причину великодушия государства. Кочевники висели над тропой восток—запад—восток, а у Поднебесной не было войск, способных пойти в степи облавой, чтобы уничтожить опасных соседей. Живут сегодня, о завтрашнем дне заботятся завтра. Другие поступали так же и не имея утешения в цырахах.

По принятому ранее ритуалу возобновились церемонии подношения дани Сыну Неба. Монгольская «дань» обменивалась на «подарки» в Туен-Хуанге. Новый правитель многострадального города, как и его предшественник, понимал, что грандиозные картины внутренней Поднебесной полезны для воображения «степных червей». Гутлук опять отказался. Грубая маска лица хана со шрамами от какой-то болезни устрашала каменной решимостью. Правитель отступился.

Как и раньше, посещая Туен-Хуанг, Гутлук созерцал спящего Будду в храме Тысячи Пещер. Для глаз Бхарави не было грубых лиц. Гутлук изменился, изменился... Бхарави убеждался в непостижимости Кармы: вот человек, твердо вставший на путь Заслуги и бесцельно ушедший с пути. Размышляя о свободе воли, необходимости, праве выбора, предопределении, Бхарави не искал ответа.

Монголы говорили:

— Узнав о смерти сыновей, он прынул, как снежный барс из берлоги. Мы думали, он святой, а он оказался нашим ханом.

Взрослея, Аслун стала не слабее телом, чем Есугей, и опережала его быстротой мысли. Гутлук сделал хороший выбор: будет умная жена для совета, выносливый спутник в переходах — лучшей женщины не надо монголу.

Совершился брак Есугея. Первый сын Есугея умер вскоре после рождения. Старость спешит, но Гутлук умел ждать. И когда в юрте закричал на диво крепкий младенец, прадед приказал Аслун и Есугею:

— Этого вы сохраните. Его имя будет Темучин.

Вскоре Гутлук ушел искать в других местах покоя, которого он лишил себя на земле. Он отправился в длинный путь, закрыв землей лицо, на котором годы, ветры, морозы и само солнце не могли скрыть белые шрамы — вечную память монгола о подземной сунской тюрьме.

Говорят, что Сила и Насилие родились близнецами. И лишь в поздней зрелости их проявилось единственное между ними различие — бесплодие Насилия.

Но кто скажет, чем закончится Завтрашний День, когда он еще не родился?

Никто.

Литературно-художественное издание

ИВАНОВ Валентин Дмитриевич

РУСЬ ВЕЛИКАЯ

Роман

Книга II

Редактор С. В. Долгов

Художник А. В. Соловьев

Техн. редактор Т. И. Лескина

Корректор Л. В. Поводырева

Сдано в набор 24.06.93. Подписано в печать 30.07.93.

Формат 84×108/32. Гарнитура «Тип Таймс». Печать офсетная.

Бумага газетная. Усл. печ. л. 15,96. Уч.-изд. л. 18,09.

Тираж 75000. Заказ 1535.

Издательство «Вектор Бук Лимитед».
625002, г. Тюмень, ул. Осипенко, 81. .

Акционерное общество «Слово Тюмени».
625002, г. Тюмень, ул. Осипенко, 81.

Серия „СЛАВА РОССИИ,,

1. В. Иванов. РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ
(в 2-х томах)
2. В. Иванов. РУСЬ ВЕЛИКАЯ
(в 2-х т.)
3. А. Югов. АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
4. С. Бородин. ДМИТРИЙ ДОН-
СКОЙ
5. В. Костылев. ИВАН ГРОЗНЫЙ
(в 3-х т.)
6. Артем Веселый. ГУЛЯЙ, ВОЛГА
Н. Загоскин. ЮРИЙ МИЛОСЛАВ-
СКИЙ, ИЛИ РУССКИЕ В 1612
ГОДУ
7. А. Чапыгин. РАЗИН СТЕПАН
(в 2-х т.)
8. А. Толстой. ПЕТР I (в 2-х т.)
9. А. Лажечников. ЛЕДЯНОЙ ДОМ
10. Г. Данилевский. ПОТЕМКИН НА
ДУНАЕ
Е. Салиас. МИЛЛИОН
11. Д. Мордовцев. ДВЕНАДЦАТЫЙ
ГОД
12. С. Сергеев-Ценский. СЕВАСТО-
ПОЛЬСКАЯ СТРАДА (в 4-х т.)
13. А. Степанов. ПОРТ-АРТУР
(в 3-х т.)
14. К. Седых. ДАУРИЯ (в 2-х т.)

Серия „ГЛАВА РОССИИ,,

А. Толстой

ПЕТР ПЕРВЫЙ

Роман в 2-х томах

Роман русского писателя Алексея Толстого «Петр I» — ярчайшее произведение отечественной литературы 20 столетия. В центре его — грандиозная фигура царя-преобразователя Петра Первого, своими реформами круто повернувшего Россию, «встряхнувшего ее от векового сна». Яркая фигура и судьбы царя и его сподвижников переплетаются в романе с судьбами и характеристиками простых людей: кузнецов и крестьян, солдат и матросов, дворян и разбойников. Преодолевая сопротивление всего старого, отживающего, через кровь, пот и страдания, через поражения и победы Россия, ведомая Петром, все увереннее движется вперед.

